

Антология

20



Библиотека
современной
фантастики

Антология
скандинавской
фантастики

20
том

Niels E. Nielsen.
Из сборника
«Noget rigtig tosset»
København, 1964

Jon Bing,
Tor Åge Bringsvård.
Из сборника
«Rundt solen i ring»,
Oslo, 1967.

Karin Boye,
«Kallocain».
Stockholm, 1940.

Per Wahlöö,
«Mord på 31 : a våning».
Stockholm, 1964.

Составитель
Э. АРАБ-ОГЛЫ

Художник
Е. ГАЛИНСКИЙ

Редколлегия:
Э. АРАБ-ОГЛЫ
И. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА
И. ЕФРЕМОВ
С. ЖЕМАЙТИС
Ю. КАГАРЛИЦКИЙ
В. МИЛЮТЕНКО
А. СТРУГАЦКИЙ

*Нильса Нильсена
Юна Бинга
Тура Оге Брингсвярда*

Рассказы

ЗАПРЕТНЫЕ СКАЗКИ



или-были король и королева, они много лет мечтали получить ребенка. И вот у них появилась маленькая дочка...»

— Подождите, пожалуйста, 902, я хочу спросить! Откуда король и королева получили свою маленькую дочку? С такой же фабрики, как эта?

— Это маловероятно, 1001! По данным ментально-криминальной библиотеки, сказке «Шиповничек» около тысячи лет. Ее создали братья Якоб и Вильгельм Гrimm, годы жизни 1785—1863 и 1786—1859. А в то время не было размножительных фабрик, и не было таких, как я, роботов-нянек государственной серии БББ!

— Спасибо, 902, я поняла! Прощу вас, читайте дальше!

Ночь над безлюдной фламандской равниной, ночь над континентом III, июньская ночь и тяжелые звезды... И размножительная фабрика IV, километровый стальной небоскреб среди других километровых небоскребов. Город А-14, бывший Брюссель.

Ночь и тишина на фабрике IV. Десять тысяч кондиционированных и дезинфицированных помещений без окон. В них спят четыреста тысяч маленьких мальчиков и девочек. Но в каждом помещении бодрствует робот-нянек знаменитой серии БББ, исключительно совершенный робот, прикрепленный ко всем размножительным фабрикам.

Четыреста тысяч мальчиков и девочек послушно спа-

ли положенные восемь часов, а под подушками всю ночь, все 28 800 секунд микрофоны шептали гипнотические наставления. Недаром над входом в фабрику IV призываю светились пурпурные буквы:

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ! ЭФФЕКТИВНОСТЬ! ЭКОНОМИЯ!»

— «...одиннадцать ведуний одарили ребенка чудесными дарами: добродетелью, красотой и умом. Но тринадцатая ведунья, которую не пригласили, явилась сама и воскликнула громким голосом: «Королевна на пятнадцатом году уколоться о веретено и от этого помереть!» Но выступила тогда двенадцатая ведунья и сказала: «Нет, она не умрет, а только проспит сто лет!».

— А как это было, 902? Ведуны сделали королевне мозговую стерилизацию?

— Нет, 1001, тогда не знали электронейронной стерилизации мозга. Ведуны знали волшебство...

Четыреста тысяч детей мирно спали на фабрике IV. Еще до рождения из них делали будущих покорных подданных универсального автоматизированного государства. Даже во сне они выполняли закон «Производительность, эффективность, экономия!». Слово «неповиновение» было им неведомо.

Вернее сказать, 399 999 детей выполняли закон. Поэтому что ребенок 1001 серии XV, год производства 2830, одиннадцатилетняя девочка в помещении № 7789 не спала, хотя над городом А-14 давно спустилась тихая звездная ночь.

Это тем удивительнее, что помещение 7789 предназначалось для одной из самых важных серий. Здесь выраживали инструкторов для роботов-нянек, а деятельность этих инструкторов, по сути дела, составляла краеугольный камень существования универсального государства.

Ребенка 1001 ожидала пожизненная служба в Роботопедагогическом училище. Получив звание ментального инженера, она будет внедрять в мозг тысяч роботов директивы, чтобы эти совершеннейшие конструкции воспитывали из миллионов детей средних людей, лишенных всякой фантазии, готовили безупречно круглые колеси-

ки для неизменного механизма универсального государства, что простиралось от области П-87 (бывшая Аляска) до острова КЛ-3172 (бывший Таити).

— Ведуны знали волшебство...

Ребенок 1001 восхищенно повторил эти постыдно чарующие слова.

— Да, так написано в книге,— подтвердил тихий металлический голос у изголовья кровати.— Но я не знаю, как объяснить это слово. В моей памяти не записано никакого определения!

Металлический голос смолк. В лунно-желтых глазах-фотоэлементах поблескивал слабый ночной свет.

— Вот ближайшая известная мне аналогия: сила, родственная электромагнетизму! — снова заговорил робот.

— Расскажите еще про Шиповничек! — нетерпеливо произнес ребенок 1001, глядя на металлический силуэт.

— «...и королевна уколола веретеном палец, и упала без сознания. Но тут вышла двенадцатая ведунья, которая смягчила страшное пророчество, и прикоснулась своей волшебной палочкой ко всему-всему во дворце, даже к огню в очаге. И сон распространился по замку, уснул даже повар, который собирался дать затрецину поваренку...»

На стенах помещения 7789 висели директивы будущим преподавателям роботов: «Обучайте Р-нянек только утвержденным стандартным ответам!» И еще: «При плаче потомства Р-няньякам надлежит объявить: «Подданные универсального государства никогда не плачут, потому что они довольны на 100 процентов!»

В задачу робота БББ-902 входило наблюдать и обучать сорок детей в помещении 7789 с той минуты, когда зародышевые капсулы пройдут мозговую стерилизацию и пока уже готовые ментальные инженеры не покинут фабрику IV, чтобы приступить к службе в Роботопедагогическом училище, где программировалась серия БББ.

Двадцать миллионов тщательно продуманных директив было заложено ментальными инженерами в электронный мозг БББ-902. Поэтому он, как и все роботы серии БББ, считался непогрешимым.

Так почему же в эту июньскую ночь 2841 года робот стоял у кровати ребенка 1001 и рассказывал древнюю запретную сказку, которой он вовсе не должен был знать? И почему ребенок 1001 так жадно слушал, хотя обязательная мозговая стерилизация должна была сделать девочку совершенно невосприимчивой к растлевающим и постыдно чарующим словам сказки?

— «...и стала расти вокруг замка колючая терновая заросль, она выросла выше самого замка, и в этой заросли его стало совсем не видно. И одни считали, что это замок колдунов, другие говорили, что там живет людоед. Но по стране шла молва о прекрасной спящей королевне Шиповничек».

— А кто это такие — колдуны и людоеды? — пытал взволнованный детский голос в помещении 7789.

— Колдуны и людоеды...

Тихий металлический голос замялся. За стеной была летняя ночь, прекрасная, полная аромата трав и диких цветов, которые покрывали пустынные равнины за чертой огромных закрытых городов универсального государства. Но фабрика IV не имела окон, и воздушные фильтры поглощали все упоительные запахи, способные внести смятение в осколенный мозг.

— Колдуны и людоеды, по-видимому, нежелательные явления, вроде игрового инстинкта, от которого делают прививки, — ответил наконец БББ-902.

— А, понятно! — сказал взволнованный детский голос.

Чем объяснить, что робот БББ-902 не реагировал в тот день одиннадцать лет и девять месяцев назад, когда перед его немигающими фотоглазами капсула с зародышем № 1001 прошла через аппарат мозговой стерилизации, хотя мгновенный перебой в подаче тока помешал именно этой капсуле получить надлежащую дозу нейтронного облучения?

Робот БББ-902 обязан был тотчас снять капсулу 1001 с транспортера и бросить ее в кремационную печь. Ведь БББ-902 отлично знал, что из 1001 вырастет жалкое, ненормальное существо с живой фантазией и естественными эмоциями, вырастет уродец, способный самостоя-

тельно мыслить, и в безупречном механизме универсального государства появится этакое квадратное колесо.

И почему БББ-902 после очередного контроля, который каждый класс проходит раз в месяц, не доложил министру нормирования людей о своих наблюдениях? Ведь красная лампочка психорентгена недвусмысленно сигнализировала об опасности, отмечая пылкую фантазию всякий раз, когда перед аппаратом проходил ребенок 1001!

— «... от времени до времени наезжали туда разные королевичи и пытались пробраться через густую заросль в замок, чтобы спасти королевну Шиповничек...»

Тихо, монотонно бормотали свое микрофоны под подушками 399 999 детей на фабрике IV, и в мозгу детей, как пчелы в улье, копошились цифры, уравнения, факты...

Но микрофон под подушкой ребенка 1001 молчал. Голубая металлическая рука выключила его. Вместо этого 1001 слышала низкий голос, рожденный электромагнитными импульсами в тонких платиновых мембранах:

— «...по шинам держались крепко один за один, точно взявшись за руки, и юноши погибали мучительной смертью. И вот после многих долгих лет явился опять в ту страну один королевич. И услыхал он, что за колючей зарослью спит прекрасная королевна по имени Шиповничек, и спят с ней заодно король и королева и все придворные. Спят, не зная времени, не зная смерти, спят, не замечая тока лет...»

— Как мы спим здесь сегодня ночью!

Глаза ребенка 1001 сияли. Девочка не видела голых белых стен, не слышала бормотания тридцати девяти микрофонов под подушками. В ее фантазии фабрику IV обвили зеленые ветви терновника, спящие дети были заколдованными придворными, а желтоглазый робот БББ-902, единственный ее друг и приверженец, конечно же, был иностранным королевичем.

— Да, — захружидал платиновый голос в глухой тени у кровати, — так спали все в замке королевны Шиповничек!

Причину, почему робот 902 именно у кровати ребенка 1001 рассказывал давно забытые сказки, очевидно,

надо искать в одной из тех нечаянных случайностей, против которых бессилен подчас самый строгий контроль.

Если можно так сказать о столь замечательном и совершенном роботе, как БББ-902, он был, как и ребенок 1001, особым случаем. Неотвратимо, как две бабочки одного вида, как иголка и нитка, как цветок и солнечный луч, как мечтатель другого мечтателя, они обрели друг друга.

У первого случайно в одной из миллионов ячеек памяти оказалось записанным собрание древних сказок. Вторая поглощала эти сказки с такой жадностью, словно то был хлеб насущный.

Отправной точкой этих тайных ночных бдений в помещении 7789 оказалась психологическая библиотека Роботопедагогического училища, где БББ-902, как и все роботы-няньки, получал свой набор директив по автоматическому воспитанию детей. Тринадцать лет назад, в день, похожий на все прочие безымянные дни универсального государства, произошло фатальное и, увы, никем не замеченное несчастье, могущее стать не менее бедственным, чем ком снега, с которого начинается лавина...

Кто-то из ментальных инженеров в спешке нарушил правила, отправив БББ-902 в архив за таблицей с данными о читательных пильолях. Считалось нежелательным поручать что-либо роботам до конца учения, чтобы не внести в чувствительные электромагнитные поля помехи, так называемые блуждающие токи, действие которых не поддается предсказанию.

Но ментальный инженер торопился. Настолько, что назвал роботу 902 неправильный номер архивной полки, номер, которым не пользовались много столетий.

902 был послушным и исполнительным. Долго он искал указанный номер в тихих, безлюдных подвалах. Проходил километр за километром в необъятных просторах библиотечного архива и в конце концов обнаружил среди паутины и пыльных фолиантов крепко запертую, ржавую стальную дверь.

Робот серии БББ отличается замечательной эффективностью и готов сделать все для блага людей. Искусственные стальные пальцы 902 легко и ловко справились с замком. Загорелась одинокая сонная лампочка, и в ее свете он увидел несколько полок с древними книгами

и летописями. И так как ни на полках, ни на книгах здесь не было номеров, робот, верный своей логике, приился читать все подряд в поисках заказанной таблицы...

— «...а к тому времени, когда явился этот королевич, как раз минуло сто лет. Подошел он к колючей заросли, поглядел, видит, вместо терновника тысячи прекрасных ялых цветов. Колючки сами раздвинулись перед ним, и он легко прошел через изгородь. Всюду здесь царила удивительная мертвая тишина. Люди лежали и спали, спали лошади, собаки, голуби. Но это была не могильная тишина, потому что у спящих людей розовели щеки...»

— Их только заворожили, — пропшептал ребенок 1001. — Чтобы не умереть, они должны спать, говорила ведунья. И вот...

— «И вот... — продолжал глухой металлический голос в тихом помещении, где тридцать девять детей приобретали во сне стандартные знания, — и вот королевич вошел в замок, где на стене спали мухи, где ничего не происходило и время текло, не оставляя следа. Подошел он к башне, в которой спала Шиповничек...»

— Чтобы пробудить ее от долгого-долгого сна!

Глаза ребенка 1001 сияли как звездочки во мраке фабрики, где не видели еще ни одной звезды, где во всех помещениях спали, спали, спали...

— «Он подошел! — шептал робот с золотистыми глазами. — И кругом...»

Откуда роботу БББ-902 было знать, что пожелавшие фолианты — засекреченный учебный материал, который цензоры в незапамятные времена спрятали в самой дальней, тщательно запертой каморке?

Что эти старые книги с затейливыми буквами, с изображениями фей и колдуний считались психологическим ядом, способным причинить непоправимый ущерб тщательно стерилизованной мыслительной деятельности в универсальном государстве?

Позитронный мозг роботов серии БББ славится потрясающей эффективностью, это подлинный технический шедевр. Его непрерывно работающие узлы, миллионы магнитных ячеек запоминают невообразимое количество слов в невероятно короткий срок.

Но только таких слов, цифр и фактов, которые одобрены ментальными инженерами; да и есть ли другие? Так что инженерам не приходило в голову ставить на роботах серии БББ фильтры против нежелательных сведений, например... например, древних сказок. Сотни лишенных фантазии поколений не знали даже слова «сказка».

И случилось неотвратимое несчастье — меньше чем за три минуты все сказки, до последнего знака препинания, были записаны в памяти БББ-902. Бесчисленные причудливо звучащие слова, будто пестрые бабочки, будто яркие цветы, будто сверкающие искорки, проносились по электронным нервным цепям. Работая с чудовищной продуктивностью, он беззвучно впитывал десятки чудесных историй. Полчища странных созданий вторглись в свободные позитронные ячейки в глубине мозга, за элементами, заполненными школьной программой. Колдуны с бородавкой на носу ковыляли следом за феями с алмазными волшебными палочками. Были тут и тролли о восьми головах, говорящие псы, коты в сапогах и даже люди далекой простодушной поры, когда умели ненавидеть и любить, плакать и смеяться, мечтать и тосковать под семицветной радугой фантазии.

После многих веков забвения глухой угол в архивных подземельях словно превратился в сказочный хрустальный замок. Робот серии БББ бесшумно и быстро проходил по волшебной стране за высокими горами, за зелеными долами, где нет ничего несбыточного, где все может случиться...

— «...и пошел он дальше, и все было так тихо, что слышно было ему даже его собственное дыхание. И на конец королевич отворил дверь светелки, где спала Шиповничек. Она была так прекрасна, что он не мог оторвать от нее глаз. И он нагнулся к ней и поцеловал ее. И случилось чудо, о котором говорила добрая ведунья...»

— Чудо! — улыбнулся ребенок 1001. — В сказке всегда под конец добрая ведунья выручает, никто не может ей помешать. Скажите, 902, ведуны умирают? Вдруг она до сих пор живет?

— По данным, записанным мной в указанном отделении архива, — прожужжал ровный платиновый голос, — ведуны и прочие персонажи так называемых сказок как будто наделены бессмертием. Так что эта возможность не исключена, 1001!

— Чудесно! — прошептал ребенок 1001. — И что было дальше?

Никто, и уж тем более ни один лишенный фантазии ментальный инженер, не может сказать, что произошло в сложном электронном мозгу БББ-902 в забытом отделении архива. Теоретически логические импульсы этих роботов должны бесповоротно следовать раз навсегда заложенной схеме. Но ведь это чрезвычайно чувствительная конструкция. И если в мозг робота попадет импульс, основанный на вольной фантазии, а не на логике и рациональном разуме, в командных цепях могут произойти тончайшие сдвиги. Правда, за тысячи лет существования серии БББ этого еще никогда не случалось.

После многочасового поиска на сотнях тысячах полов 902 принес из архива заказанную таблицу. Но ментальный инженер успел забыть о своем поручении и уйти, потому что дело происходило накануне выходного дня. 902 молча положил таблицу на его конторку и вернулся в класс, к двадцати пяти другим безукоризненным серебристо-голубым роботам непревзойденной серии БББ. И так как роботы не заговаривают по своему почину с людьми, а ни одному ментальному инженеру никогда не пришло бы в голову (где к тому же не оставалось ни капельки фантазии) спросить робота, не заразился ли он случайно древними сказками, БББ-902 в свой срок приступил к службе на размножительной фабрике IV.

Шли дни, шли годы... И не происходило ничего, что могло бы через электрические органы чувств 902 пробудить сокровенные импульсы в недрах его схемы, где, словно жар-птицы и прелестные бабочки, водила хоровод сказочная стая. Так было до того мига одиннадцать лет и девять месяцев назад, когда едва заметное колебание тока прервало луч мозгового стерилизатора и зародышевая капсула 1001 прошла необлученной.

И 902 в этот миг не сделал положенного, не выбрал ребенка 1001! Очевидно, какой-то молниеносный импульс из святая святых — ячеек, где заложена феноменальная память роботов БББ, помешал сработать центру основных инструкций в его мозгу.

А может быть, сияющий персонаж с волшебной палочкой — фея из забытого подвала явилась в хитроумном мозгу 902, взмахнула рукой и сотворила чудо. И один из роботов серии БББ проникся тайным интересом к ребенку 1001, год производства 2830, и один ребенок из миллионной продукции этого года прошел через отдел контроля, сохранив свою фантазию.

— «...Шиповничек открыла глаза и восхищенно посмотрела на королевича. И как только она проснулась, проснулись также все остальные — король, и королева, и все придворные. Подняли голуби на крыше свои головки, мухи на стене поползли дальше, огонь запыпал, и повар дал поваренку затрещину, которой тот ждал сто лет...»

— Они проснулись! — радостно воскликнул ребенок 1001, но воскликнул так тихо, что никто, кроме 902, этого не слышал.

Потому что девочка хорошо знала, что сказки запрещены, что золотые ворота вымысла навсегда закроются для нее, если власти что-нибудь проведают. Только двое должны знать эту чудесную тайну: она и 902...

— И они снова все ожили! — Она взволнованно прикоснулась к холодной стальной руке БББ-902. — Храбрый королевич одним поцелуем снял заклятие. Верно, 902?

Голубое лицо наклонилось над изголовьем как бы в раздумье. Лунно-желтые глаза встретились с голубыми глазами ребенка. И тихий платиновый голос ответил:

— Да, 1001, похоже на то. Заклятие злых ведуний может быть снято поцелуем, если явится королевич, чтобы исполнить волю добрых ведуний!

Никому из остальных тридцати девяти детей этого класса робот 902 не рассказывал сказок. Безошибочная электронная логика предупреждала его: эти лишенные фантазии существа не поймут, что такое ведуны и волшебство. Они только оробеют и проговорятся, эти дети серых будней.

Но ребенку 1001 тайный сказочный клад робота был впору, как перчатка руке, нитка игле.

А власти так твердо полагались на безупречных ро-

ботов серии БББ, что никому не приходила в голову мысль проверять их работу на фабриках. Тем более что потомству лучше без помех проходить точное машинное обучение. Дни должны ровно течь один за другим, однообразные, как бусинки.

Вот почему никто не знал, что каждый вечер, когда все остальные дети уже спали, у кровати ребенка 1001 задерживалась голубая тень. И низкий платиновый голос шепотом рассказывал про Храброго портняжку, про Ослиную шкуру, про Гадкого утенка, про Золушку и Белоснежку, и два голубых глаза сияли, словно золотистые плоды на таинственном древе познания.

Ребенок 1001 пил из чистого родника сказок, смеялся и плакал и проносил свои тысячи тайн сквозь холодный, стерильный мир универсального государства. А так как ее фантазия и чувства сохранились, девочка была умная, много умнее нормы своего времени.

Она понимала, что не должна открывать секрет робота 902 никому из тех, кто лишен способности смеяться и плакать и витать в голубых далях фантазии.

БББ-902 стал для нее волшебником не хуже тех, о которых говорилось в сказках. Ведь из его электронных ячеек выходили семеро гномов, и Белоснежка пела о своих чаяниях, и мать согревала на сердце терновый куст, пока на замерзших ветках не распускались красные розы.

В положенный срок ребенок 1001 покинул фабрику IV и принялся обучать роботов-нянек в том самом училище, где прошел свой курс БББ-902. И время от времени девочка посыпала новых роботов знаменитой серии БББ в забытый подвал.

Никто об этом не проводил. Да и как им проводить? Они все спали. Их хорошо налаженный мозг воспринимал только серые будни, а ко всякой фантазии был глух.

Такова волшебная сила сказок: тот, кого однажды коснулся их золотистый луч, становится счастливым и неуязвимым и стремится другим указать путь в страну за синими горами, где ждет двенадцатая ведунья, чтобы разбудить даже тех, кто много веков проспал в безмолвном царстве техники.

И возможно, роботы ребенка 1001, вернувшись из забытого подвала сказок к транспортеру размножитель-

ной фабрики, втайне пропускали все новые и новые капсулы с зародышами через нейтронное поле без обработки.

Может быть, голубые волшебники приходили к детям, чьи глаза сияли в тихих спальнях, добрая фея из сказки взмахивала волшебной палочкой, и ровные плавиновые голоса медленно, но верно подтачивали холодную неизменность универсального государства, как личинка точит оболочку своей куколки.

— «...и замок королевны Шиповничек утопал в море красных роз, и они совершенно скрыли острые шипы терновника. И народ ликовал, и Шиповничек отпраздновала свадьбу с храбрым королевичем, который пробудил ее и всех, кто был в замке, от векового сна...»

ИГРАЙТЕ С НАМИ!

К

уда же мы пойдем? — задумчиво протянул Том, пиная ногой сухую кочку.

— Ты что, Том! — на лице шестилетней Мери было написано удивление. — Мы ведь хотели пойти в сказочную долину!

— Да он тебя дразнит, Мери! — Девятилетний Дик по праву старшего брата осадил восьмилетнего Тома. — Он нарочно!

— А-а... — Мери успокоилась и взяла Дика за руку.

Но его это не устраивало. Мери кротко заняла свое обычное место замыкающего.

И дети молча пошли дальше через вересковую пустошь — кусочек угрюмого, безлюдного северошотландского нагорья, простершегося до самого берега моря. На юге купалась в мягком свете летнего утра тяжелая громада Бен-Мора. На севере, словно голубые глаза

из-под нахмуренных каменных бровей, смотрели в небо маленькие озера.

— А я вижу папу на башне! — сообщил голосок Мери.

На гребне Бен-Мора стояла ажурная стальная башня с радарной антенной, похожей на обращенное вверх огромное ухо.

— Он дает пеленг самолету из Сан-Франциско, который прибывает в девять пятнадцать, — деловито заметил Том.

Уж он-то все знал о работе станции наведения, которая первой в трехстах километрах к северу от Эдинбурга встречала идущие со стороны Атлантики стремительные реактивные машины.

— А вот и самолет! — кивнул Дик.

Высоко-высоко в лазурном поднебесье родился низкий металлический звук, словно незримая рука ущипнула басовую струну, натянутую между небом и землей. Зоркие глаза ребятишек увидели, как в пустынной выси что-то сверкнуло. И тут же пропало — самолет продолжал свой долгий спуск к Эдинбургу.

— А во что мы будем играть сегодня? — Мери нетерпеливо дергала братьев за рукава.

Что они, самолетов не видели? И ведь сегодня особенный день. Учительница, мисс Герн, прикрепленная к детям на уединенной станции, простудилась и отменила занятия. Мама снабдила их изрядным запасом бутербродов, и они, счастливые, отправились туда, где среди безлюдной пустоши простерся подлинный детский рай.

Древний ландшафт припас для них и глухие тени, и летучую мглу, и заманчивые солнечные лужайки. Таинственные лощины, мрачные болотца, угнетенные ветром заросли... Словом, лучшее в мире место для всяких игр: вообрази себя разбойником, солдатом, путешественником, феей, гномом — кем угодно, ведь детская фантазия неистощима!

Истории шотландские крестьяне-овцеводы населяли эту горную страну гномами, волшебными кузнецами, домовыми и призраками. И по сей день в тихих лощинах и на безмолвных болотах доживали свой век последние тени из почти забытого, причудливого сказочного мира, видимые только для детского глаза. Разве не может быть, что эта пугливая куропаточка — заколдованый

тном, хранитель тайны золотого клада? Или домовой, который торопится с треснувшим чугунком в кузницу карликов?

Город с его телевидением и кино был почти незнаком детям с горы Бен-Мор. Зато они были наделены чуткой душой и живым воображением. Каждый день они упрашивали маму рассказать им сказку, и она вспоминала старинные легенды северного нагорья; и дети слушали, слушали в вечерний час, когда большое багровое солнце уходило за темные пустоши, где брел домой за поздалый старик пастух, диковатый и заскорузлый, будто окаменевшее дерево.

— Поиграем в волшебника Изумрудного города, — сказал Том.

— Или в Черного рыцаря из Бонара, — предложил Дик.

— В рыцаря мы играли в прошлый раз, — кольнула их Мери. — А перед тем играли в королевича и трех карликов из Килпатрика!

— Ну так во что? — Том безуспешно старался что-то придумать.

— А я знаю во что! — Голубые глаза Мери светились задором.

Они подошли к гранитному пригорку с заросшими вереском лощинами, где можно спрятаться от всего мира и пережить самые удивительные приключения. С запада наплывали огромные атлантические облака — будто сказочные замки, позолоченные солнцем. Высоко в прозрачном воздухе парил коршун. Примчался ветер, покривился около них, как игривый щенок, и полетел дальше к горам.

— Знаешь, так скажи! — досадливо крикнул Дик.

На всякий случай Мери отскочила от него подальше. Хорошо она уела этих мальчишек — они всегда задаются, а вот ее секрета не знают!

— Эх, то ли дело сказочные времена! — Том с завистью смотрел на коршуна. — Когда на самом деле было то, что в сказках говорится! Почему сейчас так не бывает?

— Потому, — важно ответил Дик. — Сейчас одни только скучные самолеты есть!

— И сказки тоже! — торжествующе воскликнула Мери. — Вчера, пока вы занимались с мисс Герн, я одна ходила в сказочную долину! И увидела!

— Кого ты увидела?

Братья остановились. Они знали, что Мери умеет сочинять увлекательные волшебные истории, и сгорали от любопытства, но старались не показать виду.

— Они прилетели с неба! — Она ликовала: вот у нее какой замечательный секрет! — Прилетели в сказочном замке. Или на белом волшебном коне. Или на огнедышащем драконе!

— Чепуху говоришь, девчонка!

Дик сердито дернул сестру за волосы, и она громко завизжала. Все-таки ее слова задели мальчишек. Заинтригованно они смотрели на величественный ландшафт, на тенистые лощины, где в зарослях высоченного папоротника по изумрудно-зеленому мху выступали в их играх горные тролли и рыжий кузнец из Лох-Шина.

— Почему же ты с ними не заговорила? — Дик нерешительно двинулся дальше.

— А вот и заговорила! — Мери прыгала вокруг братьев, ее переполняло торжество. — Но они меня чуточку боялись. И им было некогда. Они выкапывали растения, рвали цветы и папоротник!

— А какие они с виду? — Тома распирало любопытство, но он сделал непроницаемое лицо.

— Такие... — Она замялась. — Они похожи на все сразу! На фей, на королевичей и на волшебников!

— Никто не может быть похожим на все сразу, — вразумляюще сказал Том.

— А они могут, — стояла на своем Мери. — Они все время похожи на что-нибудь другое. И они были очень добрые, потому что я их не обижала. Пригласили меня слетать в их сказочном замке на Луну!

И она показала на белый диск в синем небе над пиками Бен-Мора. Братья в замешательстве поглядели туда, но тут же снова приняли важный вид.

— Как же ты понимала, что они говорят? — Том примерился дать ей тумака, но она ловко увернулась.

— Я плохо понимала, — нехотя призналась Мери. — Но они говорили как будто в моей голове. А потом мое время вышло, наступил вечер, и мне было пора домой идти ужинать!

Мальчишки призадумались, глядя на пепельно-серую луну над горой. А вдруг это правда?

Они еще жили в утренней стране детства, и весь мир простирался у их ног — переливающийся бусинками росы, такой заманчивый. Для них серенький воробей был таким же чудом, как феи и королевичи, которые прилетают с неба и зовут вас на Луну!

Последнюю часть пути до сказочной долины, до их заветного королевства среди гранитных плит они бежали. Но, спустившись в лощину, сразу пошли тихохонько, осторожно. Может быть, королевичи и волшебники еще здесь?

Но все было как обычно: среди серых скал — залитая солнцем впадина, зеленый мох и низенькие деревца вдоль трещин. Вверху журчал ручеек — струйка прозрачной воды с привкусом дыма, дерна и сумрачной каменистой прохлады.

Среди невзрачных вересковых кочек в этом защищеннем уголке шелестела шелковистая трава, пестрели маргаритки и кульбаба — как бы посланники более теплых краев. Для детей этот оазис посреди сурового нагорья был райским садом. Поглядишь наверх — лощину накрывает клочок неба, голубого, как мечта. И такая тишина кругом, тысячелетнее безмолвие, нарушающее только ручейком, который звенел, точно серебряный колокольчик.

— И никого здесь вовсе нет! — разочарованно протянул Том: он ожидал увидеть сверкающую дорогами камнями королевскую свиту.

— А они и не говорили, что вернутся... — Мери нерешительно огляделась.

— Тебе все это приснилось! — Дик опять стал все-знающим старшим братом.

— И не приснилось вовсе! — Девочка обиженно топнула ногой. — Замок фей приземлился вон там!

Маленький розовый палец показал на лужайку посреди лощин, где особенно густо стояли цветы. Мальчики посмотрели и перевели дух.

— Вот видите! — радостно воскликнула Мери.

Братья кивнули: тут уж ничего не возразишь. Сами луговые цветочки подтверждали слова Мери. Как будто слетевший с неба замок даровал им свои краски. Прежде такие скромные, они теперь поражали взгляд великолепием, перед которым померкли бы и орхидеи Амазонки. На круглой площадке около двадцати метров в попечнике словно рассыпался кусочек радуги. В се-

редине — темно-оранжевые переливы цвета вечернего солнца, а дальше — краски, для которых не сразу подберешь название на земных языках. То будто приглушенное северное сияние, то лазурит и морская синь, мерцающие опалы, блики изумрудные, голубые, карминовые... Казалось, волшебная палочка, коснувшись скромных цветочков, обратила каждый из них в королеву цветов.

— Феины цветочки! — пропела Мери.

Ступая, как во сне, они подошли и сели посреди царства оживших красок. Мери бережно трогала цветы, но не решалась их сорвать. Мальчишки внимательно изучали землю, камни, палочки... Никаких следов гари, ничего не повреждено. Нет даже вмятин на влажной земле. Только цветы — но какие! Они должны бы расти у врат Эдема, а не в узкой лощинке на шотландском нагорье.

Дети сидели и дивились. Иногда посматривали на небо, словно ожидали, что вот-вот сверху спустится что-нибудь сказочное — то ли летающий чемодан, то ли птица Рух. Но ничего не происходило, и в конце концов они позабыли всю историю и затеяли игру на солнечной лощине. Как всегда, они населили лощину творениями своей фантазии и бегали, перекликаясь, среди голубых драконов, потешных гномиков и великанов в семимильных сапогах. Кривой корень стал горбатеньким домовыем, радужные цветочки — эльфами.

Они были детьми, их еще не изгнали из утренней страны сказок, где все возможно и нет ничего несбыточного.

Когда солнце достигло высшей точки, они уплели свои припасы и полакали, как телята, холодной ключевой воды, вкуснее которой не найти на всей земле. Потом задремали на солнцепеке, умаявшись от игры.

Лощина была голубая и совсем тихая.

Мери сонно открыла глаза. И замерла, глядя в глубокий колодец неба. Там на дне мигал фонарик, блестела падающая звезда...

— Это они! — радостно взвизгнула Мери. — Глядите!

Мальчики сразу проснулись и сели. Гости прибыли молниеносно. Только что в поднебесье мерцал крохот-

ный светлячок. А через секунду в дюйме над землей, как раз над радужными цветами уже повис замок фей, или крылатый конь, или огнедышащий дракон. Ни один земной летательный аппарат не был способен так мгновенно снизиться и так резко затормозить. Казалось, он ничего не весит. Казалось, в мягкие тени лощины слетел солнечный зайчик.

Дети смотрели словно завороженные. Но как описать, что они видели? Ослепительный цветок из хрусталия, нет, пронизанный солнцем собор с белоснежными сводами грациозно парил в воздухе, источая радужный блеск, и благоухание, и строгую красоту. Взрослые назвали бы сном или галлюцинацией это видение, непостижимое для земного разума. А скорее всего они попросту отказались бы верить своим глазам.

Но дети не знали законов природы и здравого смысла. Они бесхитростно принимали все, что видели. И ведь это было таким чудесным продолжением их утренней игры!

— Сейчас выйдут! — пропел Том.

— Это они, вчерашние, — гордо объявила Мери. — Вот теперь сами увидите! Они похожи на все сразу!

И правда, из волшебного замка, из радужного корабля вышли поистине сказочные существа. Настолько сказочные, что и не разглядишь их как следует, только промелькнет то пурпурный плащ, то кафтан из светлячков и ночесветок. Перед глазами детей проплывали серо-голубые облачка и нежные переливы инея. Из-под одеяний вдруг проступали контуры немыслимо большого колена, богатырской десницы, мраморного бедра невыразимой красоты. И еще были огромные глаза — темные, ласковые, будто лунные тени, будто зеленые блики на морских волнах.

Все это видели дети — а может быть, вовсе и не это. Лишь когда они очень настойчиво представляли себе фей и веселых эльфов, им удавалось во всем этом сверкании и блеске уловить что-то определенное.

Но дети понимали, что перед ними нечто совсем иное. Потом они стали различать голоса. Странные голоса, словно ровное гудение пчел, словно угасающий аккорд виолончели или далекий тревожный голос трубы.

— Пойдем поздороваемся, — предложила Мери.

Дети встали и с радостно бьющимся сердцем подошли к чужакам.

На миг пурпурные плащи и мерцающие кафтаны замерли. Яркий свет потускнел, волшебный замок затрепетал, будто лань, готовая к прыжку.

Тогда Мери приветливо обратилась к сказочным бесцелесным созданиям. Ее звонкий голосок наделял их именами: Лунный человек, Дикие лебеди, Храбрый портняжка, Девушка, которая плачет жемчугом и смеется розами. Дитя человеческое пело и щебетало о волшебных обитателях страны синих гор, куда открыт вход только детям и поэтам, где кончается радуга и светят самые дальние звезды.

И гости успокоились. Вот чья-то рука стиснула замаранную ручонку девочки. Рука исполина, но теплая и легкая, как солнечный луч. В воздухе расстилались голоса, мягкие, словно черный бархат. Дети старались ничего не упустить — такая редкостная встреча! Мальчишки упоенно рассматривали драгоценные плащи и неловко пересмеивались. То они ощущали как бы прикосновение прохладного шелка, то ничего не ощущали.

— Спасибо за цветочки! — Мери, смеясь, показала на калейдоскоп посреди лощины. — Вы ничего не возьмете с собой?

Они не возражали. Удивительные гости, похожие на перья павлина, на огромных колибри, на золотую летнюю луну, бесшумно и плавно двигались в лощине, срывая вереск и маргаритки, плескаясь в прозрачной воде, собирая пестрые камни и птичьи перышки — как это заведено делать, когда бродишь в незнакомом мире, и все вокруг так интересно, и все так ново, будто в первый день мироздания.

А Мери, счастливая, прыгала на одной ножке, держась за теплую исполнинскую руку, и мальчики охотно помогали своим новым друзьям, похожим на солнечных всадников, или на духа из «Лампы Алладина», или на прекрасных мудрых обитателей далекой страны молодости.

Дети весело лопотали, и огромные золотые пчелы, незримые колокола и виолончели отвечали им. Они прекрасно понимали друг друга, ведь разговор шел на сказочном языке — языке детей, поэтов и гостей с неведомых звезд.

Наконец чужане стали вроде бы собираться в путь. Будто стайка расторопных ювелиров или рой танцующих бликов, они окружили свой корабль или волшебный летающий замок. Но Мери потянула своего спутника за огромную руку и показала на луну, парящую среди молочно-белых облаков над Шотландией. Ведь ей было обещано путешествие на Луну!

В воздухе разлился звон золотого колокольчика, исполинская рука поманила, и дети бесстрашно прошли через самоцветную арку. Они очутились как бы в огромном мыльном пузыре. Они ждали, что сейчас последует гул реактивных моторов, или скрежет шестеренок, или стук поршней. Ничего похожего, только будто ручей зажурчал, и вот уже волшебный замок парит в тысяче километров над планетой. И в темной бездне за прозрачными стенками исполинский шар медленно вращается на фоне пышного звездного ковра, какого еще ни один земной ребенок не видел с такой высоты.

— Это получше любой экскурсии в зоопарк! — воскликнул Дик.

Том и Мери кивнули. Свежий ветерок пронизывал сказочный корабль, купая их легкие в кислороде. Трудно сказать, как дышали их новые друзья, и дышали ли они вообще, но они знали, что нужно детям другого мира.

Следуя за пурпурными плащами, за мраморными колоннами, за огненными скакунами, дети переходили из одного просторного покоя в другой. И радостные голоса их, словно птичий щебет, отражались от незримых стен и звонких куполов, за которыми сияли тысячи огромных звезд и Земля с Луной танцевали вечный менуэт. Смертоносный холод космоса внутрь не проникал. Здесь было тепло и очень легко дышалось, так легко, что дети над этим и не задумывались. Хотя корабль был невесом, они явственно ощущали, где низ, где верх. Новые друзья позабыли о том, чтобы они не страдали от тошноты и головокружения.

Дети не различали ни стен, ни дверей. Они не представляли, движется ли корабль сквозь непрозрачный свет или более плотную материю. Да и что им до этого? Ледяные звезды над их головой сменялись то огромной мертвенно-бледной Луной, то еще более огромной голубоватой Землей с ясно различаемыми серыми океанами, белыми полярными шапками и медленно ползущими об-

лаками. Но дети были слишком увлечены разговором и своими новыми впечатлениями, чтобы все это замечать.

Наконец чужане накрыли стол, закрепили дружбу древним ритуалом, преломив с детьми хлеб — легкий и питательный, как мед, и пододвинули им рубиновые мисочки с разными яствами. Одолеваемые любопытством, дети пробовали все подряд. Ощущения были странные, но приятные. Благоухание скопченной травы, аромат свежего масла, сытный вкус зерна. А ведь ничего похожего в мисочках не лежало. Сказочный завтрак в сказочной стране... Хотя они съели очень много легких и сладких блюд, в животе не было ни тяжести, ни боли.

Вдруг исполинские руки показали вперед. Пурпурные плащи заколыхались, как бы от беззвучного смеха. Луна — та самая Луна, куда просилась Мери!

Перед прозрачными стенками, занимая все поле зрения, висел огромный беловатый шар. Казалось, на них глядит призрачное окаменелое лицо, изборожденное высокими хребтами и черными, как ночь, кратерами. В следящем свете солнца все было черным и белым. И только минералы вспыхивали, словно фейерверк, яркими синими бликами. Дети забко поежились, напуганные близостью губительного холода. Но зазвучали трели золотых колокольцев, и страх прошел. Это же старая, знакомая Луна!

— Спасибо, что вы привезли нас на Луну! — воскликнула Мери со счастливым вздохом. — Вы здесь живете?

Нет, не здесь. Дивная мраморная рука указала на серебряную пыль Млечного Пути. Там, наверху...

Исполинская рука показала в другую сторону. В бездонной глубине под ними вращалась голубая родная планета. Как раз в эту минуту ночь коснулась ажурного листика в море — Шотландии. Дик хорошо знал географию, и он сразу опознал сверкающий рубин — Бен-Мор в закатных лучах.

— Нам пора домой! — сказал он. — У нас уже вечер, мама готовит ужин!

Пурпурные складки всколыхнулись. «Да-да, пора домой!» — загудели пчелы. Световые опахала защищали детей, исполинские руки несли их. И они даже не ощутили холода под ложечкой от стремительного падения, когда, сами того не ведая, со скоростью метеора

понеслись навстречу угрюмым пустошам под Гленмором.

Чуточку оглушенные, но очень счастливые, дети вдруг увидели, что снова находятся в сказочной долине. Еще секунду над радужными цветами парил волшебный замок. А затем — густой прощальный звук виолончелей, улыбка в глазах-колодцах, и в небе мелькнула зарница. Улетели...

Возбужденные обилием впечатлений, они шли домой через пустошь. На западе уходил за край земли красный огненный шар солнца. Утки снялись с пустынного болота и взмыли в пламенеющее вечернее небо. В вереске на косогоре нежно попискивали куропатки.

— Ух ты, какой день! — подвел итог Дик.

— Да уж! — Том напевал безымянную песенку — слабый отголосок сказочной встречи, которая запала ему в душу.

— Ну что, увидели? — Мери скакала на одной ножке между братьями. — Увидели, что есть на самом деле и феи, и дикие лебеди, и лунные жители?

Мальчики улыбнулись ее восторгу, но спорить не стали. Не спорили они и тогда, когда сестренка за ужином начала описывать маме и папе все, что дети видели в этот день: огромных поющих пчел, радужные цветы, удивительных пришельцев из сияющих далей Млечного Пути.

— Какая богатая фантазия у этих детей! — улыбнулась мама отцу. — Сдается мне, они живут гораздо интереснее нас, взрослых!

Отец кивнул, одобрительно глядя на хорошо прожаренный бифштекс, который она поставила перед ним.

— Это уж точно. Хотя и у меня сегодня было кое-что интересное! Представляешь себе, два раза радар регистрировал какие-то совершенно необычные сигналы. Должно быть, метеоры. Или это солнечные пятна виноваты.

Дети дружно уплетали ужин. Но Том поглядел на брата и незаметно подмигнул ему.

...Они и потом часто играли в сказочной долине. Но никогда больше над пустошами у Бен-Мора не пролетал крылатый огненный скакун. И никогда больше к ним не приходили поиграть чудесные гости из далекой блестящей Галактики.

НИКУДЫШНЫЙ МУЗЫКАНТ

“Т”

анцуй, качайся,
Страна счастья твоя...»

Серебряные мембранны куплетных роботов услаждали слух танцующих заключительными фразами очередной песенки. Толпа, одетая в пестрые пластиковые костюмы самых веселых тонов, медленно кружила по залу. Тысячи пар глаз отсутствующие смотрели в сизый от табачного дыма воздух. Тысячи застывших лиц выражали бездумье высшей марки.

На секунду воцарилась пауза — ровно столько, сколько нужно, чтобы приятным контрастом родилась смутная тревога, перед тем как попытаются сладкие, бархатистые звуки автоматических вибратуб. И вот они вступили в сопровождении сервоуправляемых голосов, чей печальный напев ровно сорок пять секунд превращал мир в исполненный несказанно интересной грусти райский уголок.

Как только вибратубы смолкли, на просторную сцену телевизионного эстрадного театра этаким веселым кроликом выскочил разбитной конферансье.

— Дамы и господа! — воскликнул он веселым голосом, будто взятым из устава Службы полного довольства (СПД). — А теперь я с огромным удовольствием представляю вам нашу сенсацию, нечто совершенно необычайное — последнего в мире настоящего живого скрипача-виртуоза!

И он раскинул руки в стороны, как бы делясь со всеми своим радостным удивлением. Большой восторг-автомат, замыкающий строй хромированных инструментов-роботов, немедленно исполнил ликующий туш. Конферансье продолжал с видом заговорщика:

— Это единственное в своем роде выступление оказалось возможным исключительно благодаря специальному разрешению нашей превосходной Службы ПД. Слава богу, вот уже полтораста лет, с 1991 года, все разновидности так называемого подлинного искусства запрещены

в соответствии с законом, который устранил все, что может разбудить мысль и вырвать человека из его естественного счастливого, бездумного состояния!

Публика заметно оживилась. Это в самом деле интересно. Подумать только! Увидеть живьем одного из этих пресловутых музыкантов прошлого! Пожалуй, это почище даже, чем марафон смеха или танцевальный конкурс морских львов!

— Разумеется, все произведения так называемых композиторов — Моцарта, Бетховена и прочих, — давно сожжены. Никто из ныне живущих никогда не слышал этих сонат, симфоний, концертов, этих... опусов.

И он скроил потешную гримасу. Публика разразилась хохотом. До чего же эти старинные слова смешные! «Фонарщик», «поэзия», «мамелюк»... Теперь вот это — «opus»! Господи, что за люди жили тогда — неряшливые, работающие, мыслящие, примитивные. «Опусы» — ха-ха-ха!

Конферансье широко улыбнулся и потер залысины. Публика реагирует так, как надо! Служба ПД опасалась, что зрители будут сбиты с толку. Чего доброго, воспримут этот шутовской номер всерьез, а не как забавный образчик «тренибреней» двадцатого века!

— Но дело в том, что сюрприз сегодняшнего вечера, наш почтенный Бюффон, принадлежит к старинному роду музыкантов! — с профессиональной веселостью воскликнул конферансье. — Для этих Бюффонов всегда самым главным в жизни были опусы. Когда Служба ПД очистила землю от нудной живой музыки, эти чудаки стали передавать по памяти опусы из поколения в поколение. Прятались где-нибудь на чердаке или в лачугах в глухи, далеко от городов. И вот недавно один из них — насколько известно, самый последний — предложил выступить здесь, в программе телевизионного развлекательного концерта. Дескать, люди привыкли к музыке роботов, так можно им хотя бы один раз услышать живую музыку?! Каково?

Холеная рука конферансье нежно взялась за микрофон. Он чуть усмехнулся и закончил:

— Итак, дамы и господа! Нам, беднягам, представляется последний шанс спастись от тиарии vibratub, сервоголосов, восторг-автоматов и синтетических соловьев! Вольфганг Бюффон!

Под ураганный хохот, свист, гиканье и аплодисмен-

ты на сцену вышел последний скрипач-виртуоз. Один вид его чего стоил! Упитанные, превосходно одетые, изысканно бездумные зрители жадно рассматривали худого человека с седой гривой и узким нервным лицом. Темные глаза музыканта казались незречими, словно его взгляд был устремлен в давно погибший мир гармонии, созвучий и могучих образов.

Вот он робко посмотрел на огромный зал — множество колонн из пластика под мрамор, холодильники с настоящим французским синтетическим шампанским, россыпь конфетти и потешные бумажные шляпы... Потом неуклюже поклонился и поднес к подбородку матово-черную скрипку из какого-то неизвестного дерева. Шеренга сверкающих электронных инструментов за его спиной недобро загудела и замигала красными сигнальными лампочками, словно угадывая в нем врага. Скрипач вздрогнул, но затем решительно приложил к струнам смычок. Прозвучала пробная нота. И тотчас лицо музыканта преобразилось, его осветил восторг, который был непонятен зрителям, даже слегка испугал их... Но артист уже забыл о публике.

— Скрипичный концерт Бетховена! — пролепетал в микрофон конферансье и как-то искусственно улыбнулся.

Публика послушно улыбнулась в ответ, хотя с явным беспокойством глядела на одинокого музыканта, стоящего перед плотным строем роботов. Работники Службы ПД насторожились, однако причин для вмешательства пока не было. Это же комический номер, и сегодня субботний вечер, все сидят перед телевизорами, ожидая развлечения.

Вольфганг Бюффон начал играть. В его струнах звучал рассвет, и утренняя роса, и шелест листвы древнего дуба; они пели про могучий морской простор и сумеречную тишину леса, про вечное беспокойство, снедающее душу человека. Мелодия плыла над публикой на крыльях тонкой красоты и прозрачной гармонии. Ожил гений замечательного композитора, но скрипка пела также об одинокой жизни музыканта, о долгой борьбе его рода за то, чтобы в медовом мире узаконенного бездумья сохранить хотя бы частицу великих творений. Скрипач пытался проникнуть в эти изнеженные души, поведать им о чем-то новом. Наверно, это последняя возможность, и ему стоило таких трудов пробиться к микрофону...

Мощные передатчики СПД разнесли призыв его скрипки в самые отдаленные уголки земного шара. Десять миллиардов человек — на Гавайских островах, в Чили, в Греции — везде слушали его, и странная тоска охватывала их душу, тоска по чему-то неведомому, забытому.

Постепенно красивые, гладкие лица людей, сидевших за столиками в зале, искали негодование. Дамы зябко ежились. Мужчины сурово переглядывались. Как это противно — задумываться... Конферансье обливался потом. Неужели промах? Вон как подозрительно на него поглядывают работники Службы ПД... Еще немногого, и публика начнет думать! Какой скандал! Ведь вот они, метровыми золотыми буквами на голубом заднике сцены лозунги СПД: «ВЕСЕЛЬЕ! ПОТЕХА! БЕСПЕЧНОСТЬ!» Только мыслящие люди причиняют хлопоты властям, пустые и бездумные — никогда!

А скрипка на эстраде продолжала петь. Над ней, под прицелом телевизионных камер, склонилось худое, озаренное внутренним светом лицо. И во всем мире замолкали восторг-автоматы и синтетические соловьи, из бесчисленных телевизоров и радиоклипов звучала незнакомая трепетная мелодия.

Одну долгую и страшную минуту СПД стояла на грани краха. Десять миллиардов людей молча слушали — в автомашинах, в бараках, в серийных домах из стекловолокна, в туристских отелях Антарктиды.

Вызванный четырьмя звенящими струнами Вольфганга, из мглистого прошлого явился дух глухого повелителя звуков; и казалось, над розовым весельем 2141 года занялся ясный, росистый рассвет. Десять миллиардов смутно ощутили, какой мир погиб, когда утвердился механизированный рай, мир, в котором еще умели плакать и смеяться, любить и отчаиваться. Тогда еще рождались на свет гении и даровали людям невиданные краски, мысли, мелодии. Подумать только — каждый день тогда нес с собой перемены!

Какая же сила была заложена в тех днях, если и теперь, много столетий спустя, в век механизированного довольства, их голос звучит со струн хрупкого инструмента в руках какого-то замухрышки, повелевая онемевшему человеческому сердцу: «Проснись! Смотри: весь мир, до самых далеких галактик — твое достояние! Не позволяй удобства ради услужливым машинам превращать те-

бя в безвольного раба! Твоя вера еще способна сокрушать горы, твои мысли — лететь быстрее света!»

Вот что говорила скрипка Вольфганга Бюффона, последнего музыканта, жертвам комфорtabельной тирании машин в этот странный вечер 2141 года. И так проникновенно звучал зов минувшего, что грядущее всколыхнулось, и тысячи смутных слов родились в душе его обитателей — слов, которых никто не знал, не смел произнести, таких новых и смелых слов!..

Минуту люди слушали, молчали и думали.

А затем они рассмеялись. Как они смеялись! Они наградили свистом и гиканьем этого возомнившего о себе шута. Они корчились от смеха, они держались за животы и радостно замечали, что могучий всесветный хохот заглушает робкий шепот сердца.

Вольфганг растерянно опустил скрипку и вернулся из своей прекрасной, озаренной утренним солнцем страны. Облегченно вытирая слезы (он так смеялся!), конферансье юркнул к микрофону. Работники Службы ПД одобрительно кивали: поучительный пример, превосходная пропаганда!

— После этого забавного, очень забавного образчика так называемой духовной жизни пропилого прослушайте в исполнении нашего механического оркестра лучшую песню года: «Милая, скажи — умба-ум!»

Электронные инструменты извергли мощный ликийющий аккорд, синтетические соловьи принялись щебетать о неоновом лунном свете, от Сан-Франциско до Иокогамы разнесся серебристый голос металлического робота-куплетиста:

«МИЛАЯ, СКАЖИ — УМБА-УМ!»

Вольфганг сидел в грязной комнатушке на самом верху восьмидесятиэтажного небоскреба из ядовито-зеленого пластика. Его пустили сюда пожить временно, а вместо платы он должен был каждый день играть старинную детскую песенку «Тинге-линге-латер» хозяину дома, этакому огромному розовому младенцу, которому его пиликанье доставляло великое удовольствие.

На сундуке, заменявшем стол, стоял стакан и початая бутылка синтетического джина. Музыкант то и дело прикладывался к бутылке. Матово-черная скрипка, которую его род бережно хранил, валялась в углу. Он встал и,

наполовину одурманенный, заходил по комнате. Провал! Полный провал, Служба ПД даже не стала его арестовывать после концерта! А он так надеялся на свое выступление. Так верил, что гениальная музыка мастера развеет этот розовый механический кошмар и бедняги увидят истину, поймут, что превратились в дурачков, но они вовсе не рождены быть дурачками! А они засмеялись, они хохотали, когда с его струн срывались замечательные звуки!

Он застонал. В огромном доме из тысяч динамиков вырывались трели и гул музыкальных автоматов. Словно издевательский хор пронизывал стены и потолки. Он схватил бутылку и сделал большой глоток. Все напрасно! Из поколения в поколение Бюффоны переносили всяческие беды, лишь бы сохранить хоть что-то от магической силы музыки. Черная скрипка была символом их надежд. Ее создал в семнадцатом веке итальянский мастер Тони Кремуни. Только одна скрипка такого вида вышла из его рук, и предание говорило, будто он играл на ней странные неслышимые мелодии чудовищной мощи, которые разрушали стены и обращали в пыль железные решетки.

«Магия и чертовщина!» — объявили власти. И повелили сжечь его на костре за колдовство. Но незадолго перед казнью мастер сумел передать скрипку своему другу, первому из Бюффонов, вместе с предсказанием, что однажды, когда человечество постигнет великая беда, этот инструмент своими чудотворными звуками спасет души людей, если только они смогут один час молча слушать его.

Какой вздор! Вольфганг дернул себя за волосы. Сегодня вечером настал этот миг. И они слушали, слушали молча. Но они оказались слишком слабы и испугались тишины, в которой было их спасение. Они захочали. И тотчас громогласные роботы вновь подчинили их себе.

Он, последний в роду Бюффонов, подвел, не смог использовать возможность, когда она представилась! А теперь... Что ж, теперь ему остается только стать таким же полным довольства пенсионером, как и все, и будут его лелеять, холить и нежить разбитные роботы-няньки!

В отчаянии он схватил скрипку, чтобы разбить ее об пол, но передумал. Вместо этого он взял смычок и ударил им по струнам. И старая скрипка закричала.

Диссонансы один другого сильнее резали слух, пока не перенесли в неслышимые сверхзвуковые колебания. А скрипач, тяжело дыша и дрожа всем телом, продолжал играть. В душе его рождались неукротимые вихревые мелодии. Никогда еще он так не играл. Из мрака отчаяния, будто языки пламени, рвались умопомрачительные, неслышимые симфонии.

Внезапно какая-то яростная сверхзвуковая вибрация коснулась стакана, стоявшего на сундуке. И тот распался на множество остроконечных стеклянных бусинок. Пораженный Бюффон опустил скрипку. Странная мысль возникла в его одурманенном мозгу. Уж не в этом ли заключалась тайная магия итальянца? Может быть, он сделал такую скрипку, из деки которой можно извлечь наделенный сокрушительной силой ультразвук? Может быть, есть особые приемы, которые позволяют при помощи колебаний разрушать материальные частицы, даже нейтрализовать внутриатомные электрические связи? Уж не за это ли Кремуни сгорел на костре?

Неужели он напал на секрет, который может оказаться сильнее способности СПД убаюкивать человеческий дух? Сумеет ли он подобрать в царстве сверхзвука мелодии, которые разобьют наголову армию музыкальных роботов, заставят умолкнуть эти неживые блеющие голоса, убивающие всякую мысль?

Какая соблазнительная мечта!

Посеять тишину в этих хромированных городах, в домах, гулких, как пустые раковины! Всего на один час, чтобы жители этих домов услышали в своей душе могучий глас, услышали как призыв в предрассветной тиши! Уж не это ли предсказал Тони Кремуни, прежде чем его начали терзать огнем и железом?..

Прижимая к груди черную скрипку, Вольфганг тайком покинул большой город, где во всех домах, машинах и клипсах, словно пирующие гиены, завывали музыкальные роботы. Он ушел в глушь, в густые леса и пустынные горы, откуда последние люди давно бежали из страха перед строгим безмолвием природы.

Здесь в полном одиночестве он играл с утра до вечера, пока онемевшие пальцы не роняли смычок. Он уловил космические ноты — музыку планет, летящих в мировом пространстве. Он подобрал манящие трели, кото-

рые знал крысолов из Гамельна, и звери выходили из лесных дебрей послушать его. Волки вышли кругом в лунные ночи, орлы падали с неба, рассекая свистящий ветер широкими крыльями. Он подобрал мелодии, которые неслышимым ураганом прокатывались по лесам и валили наземь самые могучие дубы. Он даже вызывал музыкальных демонов, которые раскалывали скалы.

И в конце концов ему удалось отыскать колебания, от которых лопались металлические мембранные музыкальных роботов. Ночью он прокрадывался в города, собирая там радиоклипы, карманные динамики и прочие изделия того же рода. Потом бежал со своей добычей обратно в леса, а привратники-роботы кричали вслед ему: «Держи вора!» — и электрические ищёйки гнались за ним.

Надежно укрывшись в лесу, он совершил страшные злодействия во имя своей великой цели. Неслышимыми симфониями он безжалостно пытал и истязал несчастные аппараты, пока они, издав последний вопль, не смолкали навсегда.

И Вольфганг Бюффон возликовал. Теперь он готов! Он дарует людям спасительную тишину, избавит их от тирании музыкальных автоматов!

Однажды вечером, оборванный и изможденный, он вошел, шатаясь, в сверкающий огнями большой город, где потерпел поражение. Кругом всеми цветами взрывались неоновые рекламы. И отовсюду — из юрких автомашин, из вертолетов, из клипов на розовых девичьих ушах, из квартир и ресторанов — неслось усыпляющее «труляля» блеющих и подывающих динамиков, и люди слушали с пустыми, довольными лицами.

Он поднес смычок к струнам матово-черной скрипки и заиграл вихревую беззвучную симфонию. Им овладел экстаз. В глубинах его души рождались ноты потрясающей силы, не слышанные никем, разве что глухим гением, который некогда приносил людям чудесные дары из удивительного и страшного мира музыки.

И, словно пораженные ударами кнута, смолкли все орущие металлические рты в блаженном городе. Онемели десятки тысяч вибраторов. Звякнув, остановились восторг-автоматы. Околели синтетические соловьи, распространяя кругом едкий чад сгоревшей изоляции.

Наступила тишина, непривычная тишина. Последнее эхо бездомным призраком пронеслось по глубоким

ущельям улиц и замерло. Неожиданно люди услышали свою собственную, не бог весть какую, содержательную речь. И все сразу замолчали. И стал слышен тихий шелест ветра между верхушек хромированных небоскребов, и шорох шин по мостовым из молочного стекла. Стал слышен даже беспокойный стук сердца. Что такое? Кто посмел снять с висков кандалы, так что скованные мысли поднялись на колени и спросили: «Кто ты?»?

Машины остановились. Вертолеты неуверенно пошли к посадочным площадкам на крышах. Медленно, робко отворился миллион дверей. Белые лица выгляднули наружу, потом нерешительно двинулись по улицам, точно влекомые ветром бесцветные воздушные шары. Руки растерянно метались. Рты стонали. Глаза искали на небе начертанных пламенем сверхъестественных знаков, возвещающих конец света. Тишина! Впервые за сотни лет — полная тишина. Никакое землетрясение, даже вторжение марсиан не вызвало бы у них такого страха.

Держа под мышкой свою скрипку, Вольфганг шел вперед среди всех этих испуганных, молчаливых людей. Он нес в сердце великую надежду. Наконец они могут услышать в своей душе отзвук вечности. Час настал! Он сорвал с их порабощенных умов цепи шума. Сейчас раскатится многоголосый крик: «Мы свободны! Мы снова можем думать! Сокрушим тиранию музыкальных машин, станем такими, какими нас создала природа!»

Но крик не прозвучал.

Люди растерянно бродили кругом. Они зажимали уши руками, обороняясь от громогласной тишины. Многие кутали голову в тряпки и со стоном забивались в какой-нибудь угол, словно их преследовал кошмар.

Кое-кто, чтобы нарушить невыносимую тишину, пробовал напевать что-нибудь из репертуара куплетных автоматов. И тут же умолкал, испуганный собственным голосом — таким слабым, таким одиноким... Вольфганг недоумевал. Он подходил то к одному, то к другому и шептал им на ухо:

— Вы свободны! Радуйтесь же! Прислушайтесь — неужели вы не слышите восхитительных мелодий тишины? Не слышите, как все живое поет хвалебную песнь? Прислушайтесь к шепоту ветра, к падающим каплям росы, прислушайтесь к шороху воздуха в легких, к благодарному стуку сердца! Вы свободны! Так начинайте жить! Поделитесь друг с другом новыми мыслями!

Но его никто не слушал. Сначала родился шепот, он перешел в согласный жалобный крик:

— Спасите нас! Спасите от этой ужасной тишины, которая делает нас такими маленькими и ничтожными! Верните нам шум! Включите чудесные вибраторы, веселые восторг-автоматы, упоительных синтосоловьев! Верните нам праздник, механическую музыку и потешные песенки, потому что внутри нас так пусто, так пусто!

И толпа устремилась к Департаменту пропаганды — наиважнейшему учреждению СПД, огромному розовому небоскребу, где механические писатели, электронные поэты и автоматические композиторы трудились, чтобы жизнь была непрерывным праздничным представлением. И хитроумные думающие роботы, услышав жалобный призыв толпы, тотчас загорелись новым рвением.

Милиарды электрических импульсов побежали по проводам с этажа на этаж. Замелькали сигнальные лампочки. Включились резервные динамики. С площадок, куда не распространялось действие сверхзвуковой симфонии, поднялись в воздух музыкальные вертолеты.

— ДЕТИ! — зарокотал отеческий металлический голос с крыши Департамента. Подключенный прямо к сети механический писатель заработал на полную мощность. — ДЕТИ! КАКОЙ-ТО БЕЗУМЕЦ УСТРОИЛ ПОКУШЕНИЕ НА НАС. НА МАШИНЫ! НА НАС, КОТОРЫЕ НЕУСТАННО ТРУДЯТСЯ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ УЗАКОНЕННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА БЕЗДУМЬЕ! НО ВЫ НЕ БОЙТЕСЬ! МЫ СПАСЕМ ВАС ОТ ТЕРРОРА ТИШИНЫ! СЛУШАЙТЕ! МЫ СНОВА НАЧИНАЕМ ИГРАТЬ! ВЕСЕЛИТЕСЬ ОПЯТЬ! ЛИКУЙТЕ! ХОХОЧИТЕ! ШУМИТЕ! ТАНЦУЙТЕ ПОД БЛАЖЕННЫЕ ЗВУКИ КСИНГИ, ЮМБЫ И ХУХ-ХУХ!

Ласковый металлический голос смолк, но из вертолетов и броневиков полиции СПД снова зазвучали приторные рулады вибраторов и сладкое пение роботов-куплетистов:

Дружно — юмба, дружно — бумба,
Веселись на всю катушку!

Напряжение оставило бледные, испуганные лица. Появились робкие улыбки, люди взялись за руки, сделали ногами одно коленце, другое, запрыгали и подхватили:

Дружно — юмба, дружно — бумба...

И с благословения доброго металлического голоса начались огромный импровизированный асфальтовый бал. А в это время электрические ищёйки полиции СПД выследили обворванного худого человека, который стоял, прислоняясь к стене, и глядел на лежащую у его ног разбитую вдребезги черную скрипку...

— Чудная какая мелодия, верно, Джим?

— Верно, Сэм! Это одна из этих запретных песенок, их пели в средние века, до закона о бездумье!

Два сторожа в белых халатах смотрели на дверь с надписью: «Палата 1014». Одна из многих дверей в одном из многих коридоров больницы для умалишенных. Сколько их тут, этих дверей, и за каждой — один из тех, кто, как ни странно, потерял рассудок от шума нескончаемых праздников, от серийных мелодий музыкальных автоматов.

Сторожа переглянулись с усмешкой и прильнули к глазку в двери. Посреди комнаты стоял худой человек со странным, одухотворенным лицом, в предписанной регламентом розовой одежде. На маленькой нескладной скрипке он играл чудесный концерт Мендельсона.

Но этого сторожа, естественно, не могли знать.

— Сам ее сделал! — сказал Джим. — И ведет себя тихо, лишь бы ему разрешали пиликать на ней!

— Псих психом! — Сэм покачал головой. — Ведь это он тогда затеял покушение, тишину устроил! Чего захотел — чтобы люди задумались! Псих! А эти его трени-брени... То ли дело автоматическая вибраторба!

— Спрашивашь! От его пиликанья только тоска берет! — Джим прислушался к чистым, глубоким звукам, которые доносились из палаты 1014. — Кстати, ты слышал последнюю: «Ба-бу, милашка!»? Класс!

— Спрашивашь!

Они воткнули себе в уши грушевидные микроприемники, и в черепе отдалось упоительное «ба-бу».

Во всех коридорах, отделениях, палатах динамики блеяли и завывали: «Ба-ба-бу, милашка!».

Умалишенные колотили ногами в дверь, кричали и протестовали. Им хотелось покоя, покоя, ПОКОЯ! Но здесь никакие мольбы не помогали. Все равно их не выпустят, пока этот гам не станет для них таким же необходимым, как воздух.

Вдруг в свистопляску металлической музыки вплелаась нежная мелодия из палаты 1014. И соседи перестали колотить в дверь, чтобы не заглушать трепещущие струны, которые так ласково пели о тихой радости, о покое, о зарождающейся надежде. Да-да, они слушали!

Недаром в этой больнице были собраны самые тяжелые случаи...

Н

ПРОДАЕТСЯ ПЛАНЕТА

и одной планеты! — пробасил Тим О'Шо, поднимая свое широкое розовое лицо от окуляров радароскопа. — Ни одной, хотя бы малюсенькой планеты около Бетельгейзе!

Голос ирландца выдавал его раздражение, а ведь он слыл одним из лучших игроков в покер по эту сторону Сатурна. Но они вложили в это маленькое предприятие изрядную сумму денег и четыре года своей жизни...

Черноволосый итальянец Маджио Форлини оторвался от антигравитационной установки, сверкнули по-детски голубые глаза:

— Точно? Ты уверен?

Тим ухмыльнулся:

— Так же уверен, как в том, что бабка Анжело была команческой скво в каком-нибудь медвежьем углу забытого богом края — Нью-Мексико!

Квартеронец Анжело дель Норте, старший из членов команды космического корабля «Погремушка», идущего курсом на красного гиганта, известного под именем Бетельгейзе, промолчал. Как обычно. Ничто в его темно-желтом лошадином лице не говорило о том, что он слышал оскорбление. Он хорошо знал, сколько самообладания нужно, чтобы выдержать четыре года в этом летающем термосе. А быстрее до Бетельгейзе и обратно не пройдешь на такой старой посудине, скорость которой всего-то в несколько раз превышает световую.

— Посмотри еще раз, — предложил четвертый член экипажа, немец Эгге Керл.

Он задумчиво скосился на свой круглый живот. В космическом корабле с мюционом скверно, только карты, сон да еда...

— Сколько можно смотреть? — Хотя Тим возглавлял маленький международный отряд «разведчиков» космоса, он хуже других владел собой. — Уже который день кружим, и хоть бы намек на планету. Пустой номер... Шестьсот световых лет, и десять миллионов долларов за каждую открытую планету... Да только где они?

Он свирепо оглядел своих товарищей. Его злили их апатичные лица. Все его злило: осточертевшие консервы, затекающие мышцы, зубная боль (сэкономили на пломбах!). Конечно, разведчик, будь то на Земле или в космосе, должен идти на риск. Но не до бесконечности... Пылкий ирландский нрав искал выхода.

С минуту царила тишина, все думали о долгом унылом пути домой. Через огромные иллюминаторы они видели Бетельгейзе — огромное облако пылающего газа в черной бездне с левого борта. Светомагнитные моторы «Погремушки» работали в четверть мощности, корабль, описывая огромный эллипс, завершал четвертый облет исполинского солнца. С мелодичным гудением ракета падала в безбрежное пространство, а справа далеко-далеко мерцала во тьме едва заметная искорка — родное солнце.

«Погремушка» была снаряжена Панамской Космической Торговой Компанией, одним из тех международных картелей, которых расплодилось видимо-невидимо после того, как двадцать лет назад, в 2078 году была открыта парная относительность и стало наконец возможным летать с надсветовой скоростью.

Земной капитал получил возможность распространить свою деятельность на соседние звезды, ведь все планеты солнечной системы давно уже были превращены в доходные филиалы Земли. Соблазненные царским вознаграждением за каждую новую планету, четыре авантюриста вызвались вести «Погремушку» к Бетельгейзе. И вот они у цели после семисот тридцати нелегких дней среди опасностей космоса: метеоров, магнитных бурь, жестких излучений, — нервы на пределе, и только новая планетная система может принести им разрядку...

А Бетельгейзе оказалась одинокой багровой звездой, заброшенным маяком в необозримом океане, старой дет-

вой, из пылающего чрева которой не вышло ни одной планеты! Даже в спокойных карих глазах Анжело угадывалось разочарование.

— Смотри, смотри, у меня уже глаза лопаются! — Тим сжал кулаки, но остыл под холодным взглядом немца.

Он сердито подошел к электронному мозгу, чтобы вложить перфокарту с заданием на обратный путь. Двести световых лет одолели — и хоть бы одна планета в награду!

Керл пожал плечами и наклонил свое одутловатое лицо над окулярами радароскопа. Анжело и Маджио медленно подошли к Керлу. Тим презрительно фыркнул. Еще надеются, болваны, — на что?..

Анжело посмотрел над головой Керла на море красного пламени с левого борта. Миллиарды лет звезда исто-
чает в пустоту чудовищную энергию, но ни одна планета не купается в ее животворных лучах! Почему? В Анжело говорила индейская кровь, для него солнце было почти богом, и он недоумевал: почему нет никого, кто поклонялся бы этому исполинскому красному богу, почему под сенью его необъятных огненных крыльев не рождаются, не живут и не умирают народы?

— Планета впереди... тридцать градусов влево, — раздельно произнес Керл.

— Что?

Одним прыжком Тим О'Шо очутился возле него.

— Это исключено! Я увидел бы любое небесное тело с радиусом от десяти миль!

Керл неторопливо выпрямился.

— Убедись!

Тим прильнул к окуляру и надолго замер. Наконец поднял голову и потер припухшие веки.

— Верно! Атмосфера, моря, облака... все! Но как я мог ее прозевать?

Он виновато посмотрел на товарищей. Но им было не до его переживаний, они приникли к телескопу. И видели маленький серебристый диск, переливающуюся росинку в черной бездне, живое лицо планеты. До нее еще далеко — она не больше монеты, — но это, несомненно, планета. И даже с атмосферой! Драгоценная, да что там, бесценная находка!

— Десять миллионов долларов, — благоговейно прошептал Маджио.

Остальные кивнули. Усталость и досаду словно рукой сняло. Губы их сделались жесткими и узкими, как у охотника при виде добычи. Теперь только пройти вблизи планеты, чтобы приборы сделали положенные замеры и анализы: воздух, вода, сила тяготения, масса, минеральный состав... Затем можно возвращаться домой за заслуженной наградой, а целая эскадрилья ракет с Земли отправится умиротворять новую колонию нервным газом и вирусом кори, чтобы можно было без помех добывать драгоценные камни и редкие металлы. И через десять лет Панамская Космическая сможет выплатить своим акционерам славную прибыль!

«Ногремушка» изменила курс и пошла прямо на планету. Судя по визуальному пеленгу, до нее оставался не один миллион миль. Вдруг замигали тревожные красные лампочки радарной установки: препятствие впереди! Автоматически включились тормозные двигатели, космонавты упали на пол, зазвучала брань. Если бы не антигравитация, они были бы расплющены таким резким торможением.

Метеор? Четверка уставилась на экран ближнего радара. По-прежнему в пустоте перед ними парила маленькая планета. Она стала чуть покрупнее, но расстояние все еще огромное... И больше ничего не видно.

— Разрази меня гром... — У Тима отвалилась нижняя челюсть.

За ним и остальные поняли: радар реагировал на планету, это с ней они едва не столкнулись! Но в таком случае...

— До нее каких-нибудь сто саженей, — прошептал Анжело. — И эти размеры не кажущиеся, а истинные!

— Десять метров в попеченике! — Керл уже стоял у приборов. — Точнее, 10,2 метра, — добавил он с немецкой пунктуальностью.

— О господи!.. — простонал Тим. — Поглядите на эти кристаллики... Это же города, чтоб мне провалиться! Эти белые ленты — дороги! А эти прямоугольнички, конечно, возделанные поля! И все это величиной от силы, от силы...

Он онемел от изумления.

— Если размеры городов относятся к размерам планеты так же, как на Земле... — Керл быстро произвел расчет. — Тогда рост ее обитателей не больше двух тысячных миллиметра!

Он посмотрел на своих товарищей. В его холодных голубых глазах появилось что-то похожее на юмор.

— Иначе говоря, они как бациллы — тифозные, туберкулезные, холерные!

— Ты хочешь сказать, планета населена... тифозными бациллами? — Покрытый синеватой щетиной подбородок Маджио дрожал мелкой дрожью.

— Не совсем так... — Керл рассмеялся. — Разве бациллы строят города? Возделывают поля? И вообще, проблема эта представляет лишь теоретический интерес, потому что...

— Потому что эта карликовая планета гроша ломаного не стоит! — воскликнул Тим, приходя в себя.

— Не стоит для нас.

Анжело смотрел на крохотную планету, безмятежно вращающуюся перед «Погремушкой». Голубая пушинка, затейливая игрушка мицроздания...

— Знаешь... — Тим хотел сказать невозмутимому квартиронцу что-то резкое, но его кислое лицо вдруг по-веселело. — Конечно, Космическая Торговая нам ничего не даст за планету десяти метров в диаметре. Но что вы скажете насчет Лондонского астрофизического музея?

— Верно! — обрадовался Маджио. — Настоящая обитаемая планета под стеклом — это же сенсация! Народ повалит валом! Музей охотно раскошелится на десять миллионов за такую штуку!

— Скафандрь, живо! — Тим уже отдавал команды. Глаза его стали жесткими. — Одевайтесь! Возьмем ее магнитным краном. Водяная цистерна номер два пуста. Поместим ее туда. Цистерна герметичная, за атмосферу можно не бояться!

Он схватил свой гермошлем.

— Точно! — Снова послышался тихий бесстрастный смех Керла. — Ты не так уж глуп, Тим, верно?

— Десять миллионов! — ликовал Маджио. — Если мы доставим этих бацилл живьем!

Они пулей выскоили из переходной камеры, двигаясь с помощью кислородных пистолетов. Методичный Керл держал под мышкой микроскоп. Замыкающим был молчаливый Анжело.

«Миллиарды», — думал он, испытывая непонятный ужас, — может быть, на этой планете живут миллиарды

людей... Матери в эту минуту вытирают мокрые носы своих отпрысков, мужчины ведут корабли через океан. И вдруг — странные силуэты в небе, загадочные сияния, космические демоны, божественная десница...»

Четверка в громоздких скафандрах подлетела к планете. Окружила ее. Тени космонавтов пали на горы, затмили океаны. Они протягивали руки к планете, показывали на нее друг другу, переговаривались в шлемоонах.

— Дюймовочка! — рассмеялся Маджио. — Планета Дюймовочка!

Междуд их алчными руками, следуя по своей орбите вокруг красного солнца, парила младшая сестричка исполнов космоса. И это был не лишенный атмосферы безжизненный астероид, не скованный холодом камень. Окруженная слабо светящимся кольцом — царственной диадемой атмосферы, летела в космосе планета. Поблескивая водой, зеленея растениями, вращалась планета — радостное, улыбчивое дитя солнца, законнорожденный поситель жизни.

— Миниатюрная Земля, — пробормотал Керл. — Очевидно, со своим тяготением, отличным от нашего. Уникальный для космических масштабов экземпляр!

У Анжело появился ком в горле. Он видел, как на карликовой планете рождается день. В лучах зари ярко белели спеккие вершины. Красное солнце отразилось в могучих светло-серых океанах. Тут и там на материках поблескивали какие-то причудливые кристаллы. Реки извивались среди равнин, мерцали озера. Миллионы лет избороздили складками лицо планеты, но оно все же оставалось юным и могло зардеться румянцем...

— Оставим ее! — Суеверный индейский страх победил алчность. — Она принадлежит им! Это люди. Может быть, у них душа такая же, как у нас!

— Душа? — фыркнул Тим. — Вот именно! Бациллы с душой, подумаешь! Это только повышает цену. Я пошел за магнитным краном!

И он понесся обратно к кораблю, стальной корпус которого переливался красными бликами в свете гигантской звезды. От кислородного пистолета протянулся длинный белый след.

— Города кипят живностью! — Керл рассматривал планету в свой микроскоп. — Черные точечки... явно испуганы... Очевидно, там паника. Они видят нас в своем небе...

Он наводил микроскоп то на одну, то на другую точку. Он видел корабли — малюсенькие чешуйки, под линзой проходили облака, леса, и, будто в капле воды на предметном стекле, что-то живое копошилось, преследовало, боролось, жило, умирало...

Маленькая серебристая планета мирно шла по своей орбите. Они видели ее вращение. С невозмутимостью подлинного исследователя Керл наблюдал, как закачалась и рассыпалась одна из гор. Он рассмеялся:

— Наша масса влияет на вращение планеты. У них начались землетрясения! А что будет, когда мы ее совсем остановим? Тогда погибнут миллионы!

Подлетел Тим, волоча за собой кабель магнитного крана.

— Захватим ее за магнитные полюса!

Он пронесся, словно пловец, через темную пустоту вокруг планеты и нырнул вниз — мифическое создание из мира исполинов.

— Поглядите на него! — ухмыльнулся Маджио. — Интересно, что сейчас представляется этим бациллам? У них теперь есть чем пугать непослушных детей! «Ложитесь, дети, не то Тим О'Шо заберет вас!»

Керл рассмеялся.

— Я их вижу! — Голос его напряженно звенел. — Вон как засуетились. Мы им, наверно, кажемся архангелами с огненными мечами!

— Ха! — От смеха Тим выпустил кабель. — Это ты здорово придумал: архангелы! Первый и последний раз в жизни нам представляется возможность изобразить архангела Михаила!

Мысль об этом их опьянила. Космические боги! Они взяли друг друга за руки — даже Анжело поддался общему порыву, — включили кислородные пистолеты и закружились в буйном хороводе вокруг планеты, быстрее, быстрее... Они кричали, гикали, хохотали... Это был поистине гомерический смех. Они чувствовали себя великаниями, достающими головой до звезд! От их прыжков в атмосфере планеты рождались циклоны, и темные воронки в облачном покрове проносились над кораблями, берегами, городами, производя страшные опустошения. Каждый прыжок стоил жизни десяткам тысяч обитателей Дюймовочки...

— Хватит... довольно!

Анжело вышел из круга. Он вспомнил давно слышан-

ные слова... Как бабушка, показывая на звезды над их горемычной деревушкой, дрожащим старческим голосом говорила: «Каждая звезда — это один из ангелов господних, Анжело».

Крохотная планета миллионы лет отважно летела сквозь мрак колодцев вечности. Полярное сияние трепетало над полюсами, тучи орошили землю ливнями... Расправив серебристые крылья, планета рождала жизнь и, как могла, охраняла ее.

— Не делайте этого! — простонал Анжело в шлемофон. — Разве вы не видите... Она священна, она — луч света, что падает в двери жизни. Если мы ее украдем, нас постигнет суровая кара. Может быть, и к нашей планете когда-нибудь прилетят вот так, как мы прилетели к Дюймовочке...

Ответом ему был дружный смех.

— Переживать из-за каких-то микробов! — хотели Тим. — Из-за щепотки праха на ладони! Для этого надо быть полуумным индейцем!

Он поймал рукой скобы магнитного крана.

— Глядите! Вот как добываются десять миллионов долларов!

Он спикировал на карликовую планету. Клешни крана были словно разверстая пасть дракона... Крепкий кабель натянулся, беззвучно взвизгнула сталь...

«Погремушка» мчалась к Земле — блестящее зернышко, за которым тянулся в космосе тусклый след. Обгоняя время, они тигриным прыжком превозмогали космическую бездну. Летели победители. В грузовом отсеке корабля висела Дюймовочка — плененная синяя птица с перебитыми крыльями...

Правда, Керл и Тим бережно обращались с драгоценной добычей. Включили антигравитационные генераторы и создали поле невесомости во второй цистерне, где, будто редкостная колибри в клетке, парила карликовая планета. Накачали туда кислород, углекислый газ, аргон, водяные пары, чтобы «они» могли дышать. Установили даже искусственное солнце. Словом, сделали все, чего не жаль ради десяти миллионов долларов.

И им удалось уберечь от поголовного вымирания крупинки, или бациллы, или черные точки, — то, что было видно в микроскоп. Уберечь миллионы обитателей плане-

ты, которые пережили потоны и циклоны, когда кран грубо остановил вращение Дюймовочки, и маленькие кристаллы заволокло клубами красного дыма, и ожили вулканы в миниатюрных грозных извержениях. Космическая катастрофа на ладони...

Обратный путь оказался вовсе не таким уж скучным. Они провели немало увлекательных часов во второй цистерне, вооруженные микроскопом и лупами. Тонкими пинцетами подбирали копошащиеся живые крупинки и клали их на освещенное белой лампочкой предметное стекло.

— Это будет почище блошиного цирка! — приговаривал Тим, добродушно смеясь. — Глянь, как мечутся! Ха-ха, миллиметр в час. Им невдомек, что происходит. Они не способны даже представить себе, что есть такие суперсущества, как мы!

— Идеальный объект для опытов с наследственностью, — деловито заметил Керл. — Размножаются по меньшей мере так же быстро, как банановые мушки. У них должна быть совсем другая мера времени, чем у нас. Вероятно, наш час для них целый год. Представляете себе, что это означает для исследователя! Можно целому народу привить рак, изолировать его в спичечной коробке и наблюдать несколько поколений: сопротивляемость, распространение болезни, смертность!

— Может, не стоит продавать Дюймовочку астрофизическому музею, — задумчиво сказал Маджио. — Лучше устроим питомник и будем продавать их оптом. А? Тысяча долларов за миллион! Предположим, они размножаются со скоростью десяти миллионов в сутки. И никаких расходов на кормление и уход!

— Знай себе собирай с Дюймовочки урожай — по десяти тысяч в день! — Тим хлопнул себя по ляжке. — А сколько всевозможных применений! Миллион — для школ, наглядное пособие. Десять миллионов — для военных игр, которыми развлекаются полководцы: могут заселить целую искусственную планету и проверить, что будет в случае атомной войны!

— А если их можно обучить, чтобы работали в микрояппаратуре космических кораблей, это будет куда дешевле транзисторов! — Керл поднес свою лупу к планете. — Смотрите, они уже восстанавливают разрушенные города. Видно, как меняется форма кристалликов. Да, живее племя...

Он усмехнулся.

— Слушайте! — Маджио осенила новая идея. — Их можно еще сажать по несколько тысяч в стекляшки в серьгах! Вот будет женшинам о чем потолковать, как соберутся. Брошка, а внутри копошится эта мелюзга!

Да, немало повеселились четыре приятеля, разглядывая Дюймовочку. Они строили воздушные замки и предвкушали, как будут загребать неслыханные деньги. Наперед основали новую фирму: синдикат «Дюймовочка»!

Один лишь Анжело молчал. Он глядел на голубую планету, которая невесомым мыльным пузырем парила в цистерне номер два, глядел на опустошенные континенты и уничтоженные пожаром города с расходящимися из центра лучами новых улиц... И представлял себе, как миллионы живых созданий смотрят в беззвездное пространство вокруг планеты, замкнутое в ржавых стенах второй цистерны. У него пропал сон, пропал аппетит, он осунулся и стал рассеянным и раздражительным.

— Ох, уж эта его индейская фантазия! — ворчал Тим. — Только и думает об этих бациллах. Верит, что они могут мыслить и говорить. *Бациллы!*

— Несомненно, могут, — заметил Керл.

— Это как же так? — Тим недоверчиво глянул на него.

— В этом-то все и дело! — Глаза Керла сверкали. — Сенсация: мыслящие бациллы!

Он поднял руку, и огромная тень от кисти легла на города, горы и страны.

— Вся прелест в этом! Понимаешь?

— Ну да... — Тим посмотрел на руку, которая хищной птицей парила над карликовой планетой. — Ну, конечно!

Их смех было слышно даже в том отсеке, где Анжело метался на койке, преследуемый копмаром, который, несомненно, был вызван чересчур живым воображением.

— Ваш корабль должен пройти стерилизацию! — холодно заметил служащий. — Таково правило: все корабли, возвращающиеся из космоса, подлежат суточной тепловой обработке при температуре сто градусов, чтобы обезвредить возможные чужеродные бактерии и вирусы.

— Но как вы не понимаете? — кипятился Тим. — Эта планета в цистерне номер два обитаема! На ней есть жизнь!

— Особого рода микроскопические существа, — пояснил Керл. — Ростом около двух тысячных миллиметра. Уникальное племя, чрезвычайно подходит для научных экспериментов!

— Планета? — сухо произнес служащий. — Этот минеральный образец, этот... гм, астероид, который вы доставили?

— Настоящая живая планета! — заверил его Маджио. — Мы сами видели, как она вращалась вокруг Бетельгейзе. Полярное сияние, облака и все такое прочее!

Панамский межпланетный космодром. За окнами космопорта, весь в оспинах от метеоров, высится корпус «Погремушки», только что завершившей самый далекий космический рейс в истории человечества. Техники уже подали к люку огромный электрический теплонагнетатель, чтобы произвести предписанную законом стерилизацию.

Тим, Керл и Маджио изо всех сил старались отстоять интересы синдиката «Дюймовочка». Какое там! Разве способен тупой чинуша осмыслить такую великолепную идею?!

— Можете говорить что хотите! — строго сказал служащий. — Про целые народы в капле воды, про микролюдей по тысяче долларов за миллион человек!

Он постучал пальцем по своду инструкций.

— Закон есть закон! Мы не можем рисковать, не можем выпускать этих... гм, бацилл на нашей планете! Это было бы безответственно, господа, без-от-вет-ствен-но!

Они протестовали. Они размахивали руками и повышали голос. И даже не заметили, как «Скорая помощь» потихоньку увезла Анжело, который что-то бормотал про «голубых ангелов» и «бедную украденную птицу».

Басовито загудел теплонагнетатель. Волны обжигающего воздуха ворвались в корпус «Погремушки» и потекли из отсека в отсек. Три космонавта смолкли. Против факта не пойдешь. Служащий захлопнул свод правил и проводил их взглядом, качая головой. Приступ космического помешательства, не иначе... Все эти космонавты, как вернутся из рейса, переживают своего рода кризис. Что говорить, нелегко служить контролером на Панамском межпланетном космодроме!

Возле своего корабля тройка задержалась. Глядя на отсек с водяной цистерной, они прислушались к низкому гудению теплонагнетателя, пытаясь уловить — что?..

Крики? Рев пламени, пожирающего города? Кипение океанов?

— Есть же бестолковые люди! — от души возмущился Маджио.

— Да уж, — буркнул Тим. — Мы могли заработать миллионы, понимаете, миллионы!

— Мы были для них все равно что боги, — мечтательно произнес Керл. — И вдруг — пожалуйста, стерилизация!

Двадцать лет спустя один из чиновников нашел в пакгаузе Космической Торговой компании какой-то огромный круглый камень. Он осторожно навел справки и выяснил, что этот кусок породы никого не интересует. Космонавты вечно таскали на Землю метеоры в качестве сувениров.

Тогда чиновник велел водителю автокрана после работы вывезти камень за город. Он знал, что из метеоров получаются очень красивые плитки. Взорвал камень динамитом и соорудил из осколков великолепный ансамбль у себя в саду.

И когда клумбы запестрели цветами, он частенько приходил с женой полюбоваться своим сооружением.

— Подумать только, — приговаривал он всякий раз, — получить декоративный камень, который привезли за триста световых лет, от самой Бетельгейзе, за каких-нибудь десять долларов!

БУМЕРАНГ

Он осторожно затворил за собой дверь и зажег свет в прихожей. Минуту постоял, прислушиваясь. В доме было тихо. Шел третий час. Вытащив ключ из внутреннего кармана, он отпер нижний ящик комода. Убрал в него аккуратно сложенный белый балахон с острым колпаком. Выкрутил винт, скреплявший большой деревянный крест, и засунул обе перекладины под балахон. Задвинул и запер ящик. Медленно разогнулся спину и прислушался. Тишина... Усталым движением убрал волосы со лба и переступил порог гостиной, направляясь к выключателю. Два щелчка прозвучали почти одновременно. Первый щелчок — выключатель, второй... Он обернулся... Предохранитель старого нагана.

Роберт Теодор Флеминг медленно поднял руки вверх, чувствуя, как рот его наполняется слюной. Он дважды глотнул. Рука, державшая наган, была такой же черной, как лицо и густые курчавые волосы.

— Гаси свет! — скомандовал негр. — Я тебя и так хорошо вижу.

Флеминг посмотрел на лестницу, ведущую на второй этаж. Негр негромко, мелодично рассмеялся.

— Они спят, — сказал он. — С ними ничего не случилось. Погаси свет!

Гостиная снова погрузилась во мрак.

Флеминг прокашлялся.

— Только сумасшедший может рассчитывать, что ему такое сойдет с рук. — Он старался говорить спокойно. — Даю тебе слово...

Он глотнул.

— Господин Флеминг, — ответил голос из темноты, — все убийцы немного сумасшедшие. Вам ли этого не знать.

— Что ты хочешь сказать?..

— Сегодня на Линкольн-сквер было гулянье. Тьма народа, песни, духовой оркестр. Вы там случайно не были, господин Флеминг? Такое душеспасительное собрание!

Флеминг закурил сигарету и сделал несколько нервных, глубоких затяжек.

А негр продолжал:

— И все были в белых балахонах. Речи произносили. Превосходные речи, господин Флеминг. Вы там случайно не были? На таких собраниях царит совсем особая атмосфера. Правда, потом что-то приключилось, какой-то непутевый чернокожий упал, и все цеплялись за него ногами. Тощенький такой, хилый. Похоже, что занемог. Нашлись добрые люди, решили отвезти его к врачу. И что же вы думаете, господин Флеминг, — в машине не оказалось места! Сиденья заняты. Но когда сердце болит за человека, всегда выход найдешь. Они привязали его за машиной на длинной веревке. И поехали. А чтобы другие водители слышали, что машина что-то тащит за собой, прицепили ему к ногам пустые жестянки. Кажется, из-под ананасов — верно, господин Флеминг? Видно, крепко он занемог, очень они торопились отвезти его к врачу. А тут, как назло, новая беда. Должно быть, неполадка в рулевом механизме, потому что машина поехала по кругу... Кружит и кружит на площади. И когда, наконец, справились с машиной, пациент, представьте себе, оказался мертв. Но ведь они сделали все, что могли. Их так приветствовали. Мне тоже страшно захотелось поблагодарить этих славных людей. Поэтому я приехал сюда среди ночи. Понимаете... Вы очень похожи чем-то на человека, который привязывал веревку за задний бампер... Такой надежный, крепкий узел... Ведь это вы его завязали, господин Флеминг, я не ошибаюсь?

— Куда вы меня везете? — спросил Флеминг через четверть часа.

Мог и не спрашивать. Машина, большой «бьюик», направлялась в трущобы, и он это знал. Видно по застройке. Дома на глазах съежились и одряхтели. Ни ал-

лей, ни зеленых парков. Сплошная череда ветхих лачуг. И зловоние. Острый запах клоаки и пота врывался в открытое боковое окно и хлестал его по лицу, словно старай, прокисшая тряпка. Вот и уличные фонари кончились, дальше простирался мир кромешного мрака. Сюда белые не заезжали, даже полиция редко тут показывалась. Никто не пытался здесь прикрыть нишету, создать иллюзию благополучия: Ни одной автомашины, ни одной фальшивой телевизионной антенны. Стояли дощатые сараи с железной крышей, бежали ручьи сточных вод.

Водитель включил ближний свет и сбавил ход. Повернулся к сидящим сзади, сдвинул фуражку на затылок и широко улыбнулся.

— Приехали, — сказал он.

Флеминг осмотрелся кругом. Комната, куда его ввели, была скучно обставлена: стол, скамейка, два стула. За столом, крутя в руках ножик для бумаги, сидел пожилой белый в халате врача. Голая лампочка под потолком расписала его лицо недобрными тенями.

— Спасибо, Джойс, — тихо сказал он. — Теперь вы с Эндрюсом можете идти. Мне нужно побывать одному с господином Флемингом. Я вас вызову, когда попадется.

Оба негра вышли. Человек в халате с минуту помолчал. Потом пристально посмотрел на Роберта Флеминга.

— Вы обвиняетесь в убийстве, господин Флеминг. Что вы можете сказать в свое оправдание?

Флеминг отвел глаза, подошел к скамье у стены и сел.

— Вы отлично знаете, черт возьми, что я помогал линчевать этого проклятого черномазого сегодня вечером, — вызывающе произнес он. — К делу. Что вы задумали?

— Мы задумали вас покарать.

— Попробуйте троньте меня, клан весь квартал взорвет. Так что смотрите... Только скажите мне, как это вы, белый, очутились здесь, в компании этих черных скотов?

По губам человека с ножиком пробежала улыбка, потом он спокойно сказал:

— Я не белый. Полукровка, а по-вашему — ублюдок.

Быть ублюдком — худшее из преступлений. И меня наказали. Вот, глядите.

Он поднес руки к лицу и вынул глаза. Осторожно положил их на стол.

— Меня наказали, — повторил он. — Когда я кричал от боли, толпа ликовала. Помни, там было много детей. Ведь это очень важно, чтобы они с малых лет привыкали, верно?

Глядя в пустые глазницы, Флеминг почувствовал, как у него по спине пробежал холодок. Его собеседник усмехнулся. Это была горькая усмешка.

— Мы позволяли издеваться над собой. Годами терпели. Наши лидеры твердили, что все эти испытания ниспосланы нам богом. Терпение, говорили они, имейте терпение. Подставьте другую щеку. Молитесь за тех, кто вас преследует. Простите им, они сами не ведают, что творят. Но от этого лучше не стало. Наше терпение толковалось как трусость. Вы думали, что мы боимся. А чего нам бояться? Разве нам есть что терять, господин Флеминг? Теперь мы составили боевой отряд. Нам надоело молча сносить, когда нам тычут в шею зажженные сигареты, когда прохожие плюют нам в лицо. Надоели марши мира и набожные песнопения. Пусть другие сидят в парках, автобусах, барах. Мы избрали действие. Посмотрим, как ваш клан управится с противником, который дает сдачи!

Тонкая жилистая рука нажала кнопку звонка. Тотчас отворилась дверь, вошел Джойс.

— Вы звонили, господин Буманн?

Слепой показал на Роберта Флеминга.

— Отведите его в комнату ожидания и попросите Эндрюса все приготовить на завтра.

Флеминг покорно дал себя увести.

Ему снился кошмар. Толпа гикающих негров, вооруженных велосипедными цепями и деревянными дубинками, гнала его перед собой по длинному коридору с черными стенами. На дверях висели дощечки с одной и той же надписью: «Только для цветных. Белым вход запрещен...» Вдруг впереди тоже выросла стена. Коридор оказался тупиком. Он слышал, как преследователи настигают его. Хватают... Кто-то влажно дохнул ему в лицо...

С криком Роберт Теодор Флеминг проснулся и увидел серую подвальную камеру с решеткой на окне.

— Меня зовут Эндрюс, — сказал наклонившийся над ним плечистый мулат. — Доктор Бумани просил передать вам вот это зеркало.

Плохо соображая, что происходит, Флеминг взял большое зеркало, и мулат с учтивым поклоном вышел.

Флеминг поднес зеркало к лицу, вяло взглянул на свое отражение, и сон с него как рукой сняло. Он выронил зеркало и вскочил на ноги. С ужасом посмотрел на свои руки: черные! Схватился за голову и вырвал клок курчавых черных волос.

Его била дрожь. Непослушными пальцами он поднял с пола зеркало. Невероятно...

На него глядело лицо негра.

Падая, зеркало треснуло, и теперь прямая поперечная полоса делила лицо надвое, так что нос скривился до неузнаваемости. Он потер лицо. Поплевал на ладони и снова потер. Нет, это не грим. Изо всех сил Флеминг метнул зеркало в цементную стену. Осколки разлетелись во все стороны, кристалликами упали к его ногам. Он наклонился над кроватью и выругался. Сначала тихо и истово. Потом еще раз — громче. И забегал по кругу, и между стенами заметался его крик.

Под вечер мулат пришел снова, на этот раз вместе с Буманином. Флеминг лежал на кровати, глядя в потолок.

— Господин Буманин, — сказал мулат, — он вырвал себе почти все волосы.

— Сделаем новые, — мягко ответил слепой.

Эндрюс кивнул. Флеминг встал и устремил на них горящий взгляд.

— Что вы со мной сделали? — глухо вымолвил он. — Что это еще за карнавал?

Буманин улыбнулся.

— Вам понравилось?

Рука Флеминга метнулась вперед в боксерском приеме, но Эндрюс его опередил. Поймал двумя руками кисть Флеминга и повернул. Захлебнувшись болью, Флеминг упал на пол. Из глаз его брызнули слезы.

— Сволочи проклятые, — всхлипнул он.

— Вы меня огорчаете, господин Флеминг.

Буманин закурил сигарету и медленно выпустил дым через нос.

— Вы меня огорчаете, — повторил он. — Я думал, у вас есть чувство юмора. Лично мне по душе гротеск. Небольшое...

— А, заткнись ты, обезьяна безглазая! — прошипел Флеминг, чистя брюки рукой.

Эндрюс удрученно покачал головой.

— Не надо так говорить с господином Буманином, — сказал он.

— Чихал я на господина Буманна! Скажите мне только, что все это значит.

— Это значит, — строго произнес Эндрюс, — что отныне вы такой же, как мы.

— Нам показалось, что вы уж очень бледный, — объяснил Буманин.

— Бросьте эти идиотские шуточки!

В ответ он услышал смех.

— Подержите его, — сказал Буманин. — Видно, пора сделать ему укол.

Он достал из портфеля большой шприц. Флеминг отчаянно сопротивлялся, но Эндрюс держал его, словно в тисках. Буманин медленно наклонился, ощупал пальцами шею Флеминга и воткнул иглу под кожу с левой стороны, на пальец выше кадыка.

У Флеминга закружилась голова. Он попытался фиксировать взглядом определенную точку на потолке. Но потолок колыхался. Красные шарики плясали в воздухе и собирались в рой у него перед глазами. Еще и еще... Полчища красных шариков слились в бесформенную массу, которая заслонила весь мир.

Роберт Флеминг потерял сознание.

Они снова сидели в «бьюике». Буманин, Эндрюс и Флеминг. Темнело. Флеминг осторожно приоткрыл глаза. Осторожно — чтобы не заметили, что он пришел в себя. Его руки были связаны, ноги тоже. Но кляпа во рту не было. «Как только выедем на людную улицу, закричу», — подумал он. Цель этой поездки представлялась ему очевидной.

Другая машина поравнялась с ними. В ней сидели две пары. Девушка в белом свитере с грифом колледжа опустила боковое стекло и швырнула в «бьюик» огрызком

яблока. Потом засмеялась и показала им язык. Ее спутники тоже смеялись, а парень за рулем прижал «бьюик» так, что Эндрюсу пришлось круто затормозить, чтобы избежать столкновения. Секунду Флеминг раздумывал, потом быстро нагнулся к открытому окошку рядом с Эндрюсом и завопил: «Помогите!».

Ни Бумани, ни Эндрюс даже не пытались ему помешать. И он тотчас понял почему. Сколько Флеминг ни напрягался, крик его был беззвучным. Голос будто застрял в горлании, язык без толку бился о нёбо. Флеминг был нем. Сквозь слезы он видел, как вторая машина уходит вперед. Парень на заднем сиденье обернулся и помахал им, приставив большие пальцы к ушам.

— Если бы нужен был кляп, я бы об этом позабочился, — холодно заметил Бумани. — Вы нас за дураков принимаете?

Флеминг опустился на свое место. Лицо его окаменело. Машина свернула на одну из центральных улиц.

— Не бойтесь, это не так опасно, как вы думаете, — продолжал Бумани. — Часа через два пройдет.

Эндрюс резко остановил машину. Флеминг посмотрел в окошко. Маленький ресторанчик, можно различить танцующие пары, из открытой двери доносятся хриплые звуки музыкального автомата.

Эндрюс посмотрел на часы.

— Четверть седьмого, — сказал он, обращаясь к Бумани.

Слепой кивнул и повернулся к Флемингу.

— У меня есть дочь, — неожиданно сообщил он. — Если бы вы ее видели! Говорят, она очень красивая. У нее кожа самого модного цвета, и она учились в школе для белых. К сожалению, два года назад там узнали о ее происхождении. В наказание шесть товарищ по классу изнасиловали ее, а один сноровистый парень с ножом воспользовался случаем украсить ее спину тремя огромными «К». Милдред нет еще и двадцати, но она хорошо работает в нашей маленькой группе. — Бумани улыбнулся. — И у нее то же чувство юмора, что у меня. Я хочу, чтобы вы помнили об этом, когда выйдете из машины. То же чувство юмора.

Флеминг поежился.

— Эндрюс, Милдред и я, — безмятежно продолжал слепой. — Только мы трое знаем, что ждет наших плен-

ников. Джойс, например, — помните, тот, который привез вас вчера? — убежден, что вы давно убиты и закопаны в землю. Остальные члены отряда будут думать, что мы вас застрелили. Но мы вовсе не такие варвары, как вам кажется, а потому...

Эндрюс вышел из машины и открыл заднюю дверцу.

— Минутку, господин Флеминг, — сказал он подчеркнуто вежливо. — Разрешите...

Он вынул из кармана небольшой ножик и принялся разрезать им веревки. Флеминг недоуменно смотрел на своих спутников.

— Да-да, — кивнул Бумани. — Никакого обмана. Эндрюс вас освободит, и можете идти куда вам угодно!

Флеминг посидел, растирая кисти рук. Потом нерешительно поднялся и осторожно ступил на тротуар.

Бумани захлопнул дверцу.

— Поехали! — сказал он Эндрюсу, который уже сидел на своем месте за рулем.

Флеминг проводил их взглядом. Затем повернулся и зашагал в противоположную сторону.

Он не успел уйти далеко. Из подворотни выбежала девушка, бросила ему в лицо пригоршню перца и сделала подсечку. Ослепленный перцем Флеминг упал на асфальт. Одним рывком девушка разорвала себе платье до пояса и упала сверху на Флеминга. Обезумев от боли, он катался по тротуару, пытаясь сбросить ее, но девушка вцепилась в него, как клещ. Он услышал, что она зовет на помощь, и различил будто сквозь туман сбегающих со всех сторон людей.

Сильные руки подняли девушку и заставили Флеминга сесть.

— Чертов ниггер, — прошипел кто-то. — Когда вы оставите в покое наших женщин?

Флеминг открыл рот в тщетной попытке объясниться. Острый носок чьего-то ботинка угодил ему в шею, он упал и ударился головой об асфальт.

— Он хотел меня изнасиловать! — рыдала девушка.

Флеминг встал на колени и, защищаясь, поднял обе руки. При этом он что-то кричал, но окружающие видели только его гримасы и слышали нечленораздельные звуки. На Флеминга сыпались удары, он уже перестал их чувствовать, но сознания не потерял. Наконец он лег на асфальт у ног своих мучителей, устремив на них остекленевшие глаза.

Вдруг его осенило, и разбитые губы скривились в истерической улыбке.

Он вспомнил вчерашний суд Линча, как «негр» строил гримасы, словно пытался им что-то сказать, но не мог.

«Они нас истребят! — сказал он сам себе. — Будут ловить по одному, переделывать в чернокожих и предоставлять нашим же расправляться с нами. *Мы сами себя истребим!*»

Когда двое подняли его и вынесли на мостовую, Роберт Флеминг начал смеяться. Это был дикий, безумный смех, так непохожий на человеческий, что палачи чуть не выпустили его.

Он продолжал смеяться, когда они привязывали его на длинной веревке к заднему бамперу.

На другой стороне улицы показался большой «бьюик». Он не спеша проехал мимо.

Юн Бинг

БУЛЛИМАР

Б

уллимар лежал на больничной койке, укрытый прохладной простыней, но тело его горело. В палате царил полумрак, жалюзи были опущены. Буллимар не нуждался в свете, все равно он ничего не видел сквозь бинты. Обмотанные марлей руки покоились на матрасе, к локтю от стеклянного сосуда тянулся резиновый шланг.

Печатье произошло сразу после того, как они взлетели с Меркурия. Их было восемь на борту: три члена экипажа и пятеро пассажиров — два техника с женами и один мальчуган.

Корабль доставил на Меркурий припасы и новую смену.

Транспортные ракеты были здесь единственной связью с внешним миром — Солнце, занимавшее большую часть неба над другим полушарием, не позволяло использовать радио и телевидение.

Все маневры были привычными для Буллимара. Они стартовали в затененной зоне и помчались вверх. Выходя на орбиту, уводящую от Солнца, нужно было набрать достаточную скорость, прежде чем отключать основные двигатели. Они шли еще с небольшим ускорением, когда это случилось.

Невидимое сквозь черные шторы на иллюминаторах огромное Солнце исторгло язык пламени. Пылающее облако плазмы вернулось обратно в раскаленное море, но тонкая пламенная нить дотянулась до космического ко-

рабля, пометила его чудовищным зноем звездных температур.

Двигатели закашляли, и ракета сделала сальто в космосе.

— Черт! — выругался второй пилот, глядя на приборные щитки. — Отражатель барахлит.

Буллимар ничего не сказал. Он выключил двигатель. Корабль бесшумно летел дальше, виляя из стороны в сторону.

Долго в рубке стояла тишина. Наконец третий пилот заговорил:

— Если мы не запустим двигатели, ракета упадет на Солнце.

Второй пилот подошел к вычислительной машине и, прищурясь, посмотрел на цифры, бегущие по бумажной ленте.

— К сожалению, — подтвердил он. — Не сразу, конечно, дня два будем падать.

В последние секунды, прежде чем их выключили, двигатели успели изменить курс корабля, и теперь он летел к Солнцу. Отражатель газовой струи в главном двигателе сорвало с места.

Кто-то должен снаружи закрепить отражатель, пока ракету не затянуло в клокочущий ад. И надо действовать побыстрее. Чем ближе к Солнцу, тем сильнее облучение; тот, кто выйдет наружу, рискует погибнуть. Еще нет скафандров, дающих надежную защиту так близко от Солнца.

Буллимар подошел к переходной камере и надел свой скафандр. Его товарищи молчали и старались не смотреть на него.

Через четверть часа красная лампочка на приборном щитке сменилась желтой. Корабль летел, вращаясь, дальше, и наружные телекамеры показывали фигуру космонавта, то залитую солнечным светом, то поглощенную мраком. Осторожно отталкиваясь руками, Буллимар полз вдоль длинного корпуса.

Они надели скафандры, выждали минуту, когда люк оказался в теневой стороне, выскочили наружу, схватили Буллимана и втащили его в корабль. Крышка люка захлопнулась, защитив людей от стремительно наплывавшего смертоносного сияния.

Им не удалось снять скафандр с Буллимана. Пластмасса, прикрывавшая лицо и руки, прикипела к коже;

грубый материал, защищавший тело, обуглился. Они удалили что могли, срезали опаленные куски стекла и металла и поддерживали жизнь в командире, пока ракета опускалась к Земле, где уже ждала санитарная машина.

— Кажется, зрение удалось спасти, — сказал врач.

Белую марлю разрезали, и Буллимар осторожно открыл глаза. После многих месяцев слепоты свет в полутемной комнате показался ему очень ярким. Он смутно различил парящие над ним розовые воздушные шары с нарисованными красными улыбками.

— Вы видите? — спросил один из врачей.

— Да... — ответил Буллимар, удивленно озираясь. — Спасибо большое, доктор.

Подошла сестра с ваткой в руке. Ватка ожгла кожу там, где раньше были бинты. Буллимар поднял руку, с которой только что сняли огромную марлевую рукавицу, хотел вытереть лоб. Что-то зашуршало, будто соскребали чешую с рыбы.

Он с ужасом поднес руку к глазам, согнул пальцы и присмотрелся к коже.

Кожа была черная, потрескавшаяся. Она блестела, будто черное дерево или рог, смазанный маслом. Она словно шелушилась, и в ранках желтела сукровица. Он осторожно ощупал левую руку правой, снова поднес теперь уже обе руки к лицу. Кожа была грубая, шершавая, как опаленная бумага.

— Пластмасса, — объяснил врач. — Пластмасса прикипела к коже. Просто чудом удалось спасти вам зрение.

Буллимар зажмурился и попробовал представить себе, как выглядит его лицо. Блестящая черная маска с желтой сеткой.

Когда он привык к свету, ему дали газеты и журналы с рассказом о несчастном случае. Буллимар обнаружил, что он знаменит. «Герой с Меркурия». «Поединок с Солнцем». «Рыцарь космического века». И фотографии молодого, только что из академии, улыбающегося космонавта с усиками.

Буллимар горько улыбнулся и потрогал жесткую потрескавшуюся кожу. Теперь в газетах будут совсем другие снимки... И когда, наконец, к нему допустили репортеров и фотографов, он прочел в их глазах, что они думают. На следующий день репортажи о драматическом

происшествии пополнились новой главой, в которой звучала трагическая нота.

Буллимар лежал под прохладной простыней и думал; лицо по-прежнему горело. Он еще никак не мог поверить в реальность происходящего. Белые стены больничной палаты и непроницаемые лица врачей стояли между ним и повседневной жизнью.

Через несколько дней после того, как сняли повязки, он попросил ножницы и вырезал все статьи и заметки о себе. Время от времени он вынимал их из конверта и перечитывал. Если кто-нибудь заставал его за этим, он криво усмехался и виновато прятал вырезки под подушку. Но так или иначе... отныне он герой. Один из тех, кого знает, о ком говорит весь мир.

Он будет сидеть в компании в глубоком кресле и словно нехотя рассказывать, как все было. Рассказывать всем, кто увидит его изувеченную кожу и спросит, что с ним случилось. Куда ни пойдет — всюду его будут узнавать, будут шептаться за его спиной.

Буллимару вовсе не претила роль героя. Хотя он старался держаться иронично, но был достаточно честен, чтобы признать, что ирония эта — напускная.

— Не знаю, — сказал врач. — Не могу сказать, пройдет ли это совсем.

Врач перелистывал бумаги. Буллимар сидел в его кабинете, одетый в форму космонавта. Пришла пора выписываться. Воротничок тер потрескавшуюся кожу, на руках были перчатки.

— Пластмасса, — сказал врач.

Буллимар кивнул. Его глаза с неестественно яркими на темном лице белками осматривали комнату.

— А вообще, вы здоровы, — продолжал врач. — Возможно, будете ощущать боль, но никакой опасности нет. Только следите, чтобы язвы не воспалились.

Буллимар кивнул, при этом трещинки на лице разошлись и снова сомкнулись.

Выходя из кабинета врача, он спустился по лестнице и очутился на улице. После всех этих недель в больнице он чувствовал слабость, у него закружилась голова при виде множества людей, оживленного движения. Он смотрел на хорошо знакомый город так, словно только что приехал сюда с группой туристов.

— Несчастный случай над Меркурием, я угадал? — спросил шофер такси. — Об этом все газеты писали.

— Да, — признался Буллимар. — Долго лечили, но все же поправился.

Водитель взглянул на него в зеркальце.

Буллимар остановился в лучшем отеле, он мог себе это позволить теперь. Швейцар узнал его. Ему отвели отличный номер, сам директор его проводил.

— Смелый поступок, — сказал он. — Я понимаю: женщины, дети.

Вечером Буллимар спустился в бар. То и дело кто-нибудь присаживался к его столику. Сидели недолго, представляются — и уйдут. Репортеры из вечерних газет, любопытные постояльцы — все поздравляли его. Мало-мало Буллимар разговорился. Слушая собственный голос, он в душе усмехался и спрашивал себя, долго ли ему будет доставлять удовольствие роль знаменитости.

Несколько дней он ничего не делал, только слонялся по городу. Потом начал кое-что замечать. Одна женщина поспешно покинула соседний столик, когда он обедал в кафе. Сняв белые перчатки, он накладывал салат на тарелку, в это время женщина уронила салфетку, и он нагнулся, чтобы поднять ее. Женщина обернулась, он посмотрел на нее, она ахнула, встала и засеменила к выходу.

А ведь это началось еще раньше. Когда он сидел в театре или в трамвае, соседние места всегда оставались пустыми. Люди, с которыми он заговаривал, упорно отводили в сторону глаза и старались ограничить беседу несколькими словами — дескать, какой он смелый. Никто не говорил, как он выглядит теперь.

Буллимар пошел в туалет и посмотрелся в зеркало: блестящая кожа, струпья, клочки волос на макушке. Воротничок натер щеку и потемнел от сукровицы.

Вспомнилось, что ему всегда претил вид людей, у которых от загара шелушилась кожа. Однажды он обгорел на солнце и два дня не ходил на занятия, пока опаленная кожа не сошла; тогда лицо у него было розовое, как у младенца.

Буллимар осторожно провел рукой по щеке. Как это

он мог внушить себе, что его лицо будет вызывать только любопытство и даст ему повод рассказывать, как все было? Он горько вздохнул и отправился в свой отель.

Вечером он позвонил Джою. Джей жил в маленьком городе на западном побережье, в нескольких десятках километров от одного космопорта. Буллимар и Джей выросли в этом городке, поэтому Джей там и поселился, когда его назначили в космопорт диспетчером. В детстве они были соседями. Джей купил тот самый дом, в котором учился ходить, и переделал его на современный лад. Этот Джей всегда был немножко сентиментален, сказал себе Буллимар. Его, Буллимара, дом давно снесли, и на освободившемся месте соседи устроили стоянку для автомашин.

Джей улыбался и кивал на экране видеотелефона. Буллимар поблагодарил друга за присланные открытки и спросил, как дела. Джей быстро понял, в чем дело, и пригласил пожить у него. Через два часа Буллимар выехал.

Они вместе учились в школе, и оба твердо решили стать космонавтами. Помогали друг другу идти вперед и старались друг друга перещеголять.

Глядя в окошко самолета, Буллимар вспоминал день, когда они приступили к занятиям в космической академии. Там они тоже держались заодно, в общежитии делили номер на двоих. Буллимару все чаще удавалось обогнать своего товарища, а тот оставался все таким же веселым и добродушным. Но вот однажды Джей не выдержал тренажера. С той поры их пути разошлись. Буллимар вышел из академии космонавтом с высшими оценками. Джей в небывало короткий срок получил диплом техника и поступил на работу в космопорт.

Что они взяли с собой из детства? Когда он надевал скафандр там, над Меркурием, не двигало ли им то, о чем они с Джоем мечтали мальчишками? Стать героями, прославиться?..

Джей отворил дверь — по-утреннему бодрый, за каждую штанину держалось по малышу. Буллимар улыбнулся. Кожу саднило. Джей пожал руку в перчатке и плюнул друга за собой. Дети спрятались в гостиной и робко смотрели на гостя округлившиими глазами.

— Твое лицо, — сказал Джей, вешая его плащ на крючок. — Ну и страшен же ты, по правде сказать.

У Буллимара отлегло от сердца. Из кухни вышла жена Джея, розовая, запыхавшаяся — торопилась вовремя приготовить вкусный завтрак. Она подвела малышей к Буллимару, они боязливо ответили на его рукопожатие.

Когда Джей ушел на службу, Буллимар устроился в саду за домом, захватив с собой лимонаду и несколько журналов. Пиджак он повесил на спинку шезлонга, воротник рубашки расстегнул. Высокая ива заслоняла его от солнца.

Жена Джея хлопотала в доме, он слышал, как она журил детей. Буллимар усмехнулся. Вспомнил свою жену.

Они с Джоем одновременно познакомились с ней. Друзья ухаживали за одной девушкой, но Буллимар и тут победил. Завоевал ее сердце, и они поженились в тот день, когда он получил свое удостоверение. Джей женился некоторыми годами позже. Буллимару его невеста тогда казалась *девольно бесцветной*.

Брак Буллимара был непрочным. Жена его была слишком хороша собой, слишком интересна. Теперь она известная актриса; они развелись, когда он на девять месяцев уходил в плавание астероидов. Он сообщил о своем согласии по радио.

Ива шелестела листьями, ветки терлись друг о друга. Здесь, в саду, как-то даже забываясь про эту автостоянку перед домом... Жена Джея выпала в сад и, напевая, принялась срезать цветы для букета.

Поселившись в гостиной Джея, Буллимар замечал, как нонемногу приходит в себя. У Джея он чувствовал себя ище, чем где-либо еще. Здесь не нужно было прятать лицо и руки, чтобы их вид не напоминал другим о его жертве. Вот только дети... Они испуганно смотрели на него каждый раз, когда он смеялся и на лице появлялось множество желтых трещинок. И Буллимар знал, что долго тут не останется. Но чем же все-таки заняться? Джей помог ему найти ответ на этот вопрос.

Не сразу журналисты выследили его, но все же настал день, когда в дом Джея явился репортер — худой долговязый парень.

Он объяснил, что люди спрашивают, куда девался Буллимар. Газета хочет продолжить рассказ о герое с Меркурия и его необычной судьбе.

— Я покажу тебе его, — ответил Джей. — А потом сам решишь, что писать.

Они прошли по узкому переулку. Джей показал на маленький домик среди обширного сада.

— Он купил вот этот дом. Прежде тут стояла большая вилла, теперь только этот коттедж.

Репортер старательно записывал.

Они вышли за город. Солнце пригревало зеленые откосы. Тропа тянулась вдоль заросшей каменной ограды, по ней они дошли до небольшой рощи. Джей жестом позвал репортера к себе.

На косогоре, всего в нескольких метрах перед ними, сидел, скрестив ноги, Буллимар. Стайка ребятишек облесила его со всех сторон.

Буллимар разговаривал с белокурым мальчуганом, который принес ему букет полевых цветов. Мальчик внимательно смотрел на Буллимара.

Репортер взволнованно перевел дух.

— Его лицо!.. Дети... — вымолвил он. — Я ведь и не знал...

Он глядел на Буллимара, на черную, блестящую на солнце, словно ороговевшую, кожу.

— Но как же дети?.. — недоумленно сказал репортер.

А Буллимар объяснял мальчику:

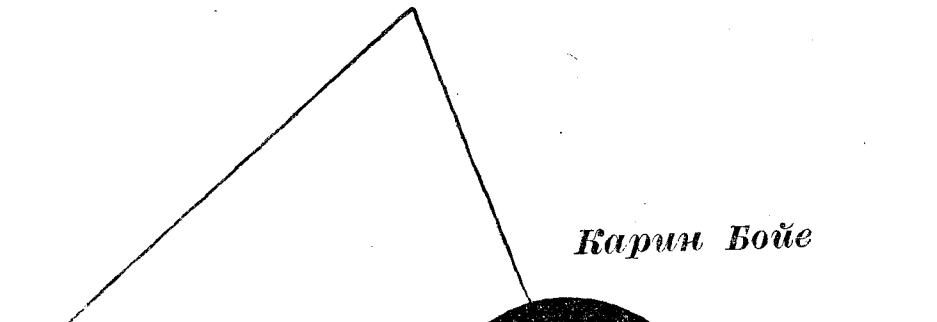
— Вот этот цветок — лютик, он желтый-желтый, как солнце. Чувствуешь?

Мальчуган протянул руку, неловко взял стебель, опустил цветок.

Джей показал на большое кирпичное здание на верху косогора.

— Школа для слепых, — сказал он репортеру.

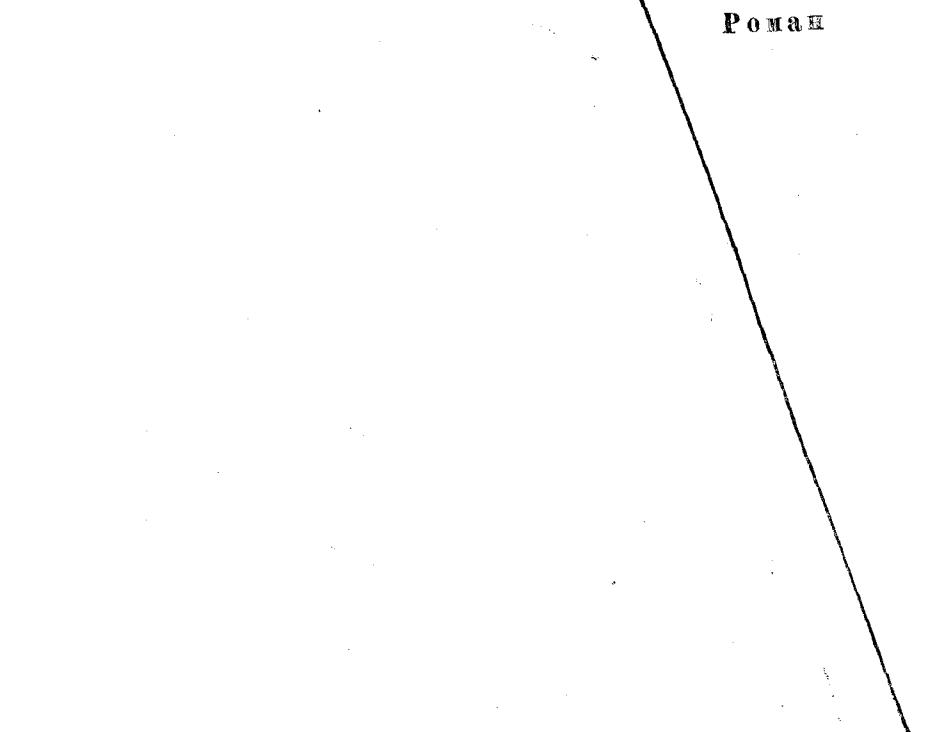
Буллимар рукой в перчатке вынул из букета незабудку и поднес ее к лицу крохотной девочки, которая обнимала его за шею...



Карин Бойе



Калло-
кайн



Роман



о, что я сижу и пишу книгу, наверное, многим покажется бессмыслицей. Не знаю, впрочем, уместно ли тут слово «многие»; ведь скорее всего вряд ли кто вообще узнает об этом. Я начал писать не по чьему-либо принуждению, а добровольно, хотя и сам не могу объяснить зачем. Это стало моей потребностью — вот и все объяснение. В наши дни, когда ничто не делается без определенной цели, я один поступаю вопреки принятым нормам. Хотя все эти двадцать лет, что я проработал за ракеткой, в химической лаборатории врага, были заполнены лихорадочным трудом, какая-то часть моего существа словно оставалась свободной и искала чего-то другого. Во мне совершилась своя внутренняя работа, и я, даже не всегда сознавая ее смысл, чувствовал, что она для меня всего важнее, и ждал, когда и чем она разрешится... Наверно, это случится, когда я закончу книгу. О, я отлично понимаю, как нелепо выглядит мое занятие на фоне всеобщего рационалистического мышления и прагматизма, но остановиться уже не могу.

Может быть, раньше я просто не решался взяться за перо. Может быть, меня побудила к этому жизнь в заключении — не знаю. Условия, в которых я сейчас нахожусь, не слишком отличаются от тех, что были у меня на свободе. Пицца чуть-чуть похоже, но к этому можно привыкнуть. Койка немножко жестче той, на которой я спал дома, в Четвертом Городе Химиков, но и к этому нетрудно приспособиться. Реже выхожу на свежий воздух, но и это в концов не беда. Хуже другое — раз-

лука с женой и детьми, тем более что до сих пор я так ничего и не знаю о их судьбе. Поэтому в первые годы меня непрерывно мучили беспокойство и страх, но время как-то все сгладило, и в общем я примирился со своим существованием. Сейчас мне нечего бояться. У меня нет ни подчиненных, ни начальников, разве только падзиратели. Но они редко мешают моей работе и следят лишь за тем, чтобы я выполнял правила внутреннего распорядка. Нет у меня ни покровителей, ни конкурентов. Чтобы я был в курсе новейших достижений химии, время от времени мне устраивают встречи с учеными; они беседуют со мной деловито и вежливо, иногда — из-за того, что я иностранец, — чуть-чуть снисходительно. Я знаю, что ни у кого из них нет оснований завидовать мне: Короче говоря, в некоторых отношениях мне живется даже легче, чем на свободе. Но странное дело — чем больше я привыкал к новому образу жизни, тем больше давала себя знать та внутренняя работа, о которой я уже говорил. Я знаю — мне не будет покоя, пока я не разделяюсь с мыслями о прошлом и не занесу на бумагу своих воспоминаний. Поскольку я занимаюсь наукой, писать мне разрешено. Как правило, в процессе работы никто меня не контролирует, так что я могу спокойно растянуть это удовольствие — может быть, последнее в моей жизни.

Итак, я приступаю. Когда все это началось, мне было около сорока. Наверное, нужно сказать несколько слов о себе, поэтому прежде всего я хочу рассказать, какой представлялась мне тогда жизнь. Мне кажется, ничего не характеризует человека, как его видение жизни, тот образ — будь то дорога, поле, растущее дерево или бурный океан, — с которым связывается в его сознании понятие жизни. Что до меня, то я и в зрелом возрасте походил на примерного школьника. Жизненный путь представлялся мне чем-то вроде лестницы: задыхаясь, я торопливо одолеваю ступеньку за ступенькой, а за мной по пятам следуют соперники. Впрочем, в действительности у меня было не так уж много соперников. Большинство моих коллег все свои честолюбивые помыслы связывали с военной службой; работу эти люди рассматривали как необходимое, но скучное приложение к вечерним военным занятиям. Я никогда не признался бы им, что химия для меня важнее военного дела, хотя и был вовсе не плохим солдатом. В общем, я

шродвигался вверх по лестнице, правда никогда особенно не задумываясь ни над тем, сколько ступеней пройдено, ни над тем, что ожидает меня на самом верху. Видимо, здание жизни представлялось мне в виде наших обычных городских домов, где из глубин земли можно было подняться на крышу-террасу к свежему воздуху, ветру и дневному свету. Что именно на моем жизненном пути должно было соответствовать воздуху и свету, я и сам не знал. Но зато четко и определенно фиксировалась каждая пройденная ступенька. Я отчитывал их в соответствии с официальными уведомлениями начальства — о сдаче экзамена, об успешном проведении того или иного эксперимента, о переводе на более ответственную должность. Один этап сменился другим, но я никогда не уставал с волнением ждать следующего. Именно поэтому в тот памятный день меня слегка лихорадило после краткого телефонного разговора, из которого я узнал, что завтра ко мне в лабораторию придет инспектор и что, следовательно, мне разрешено экспериментировать с человеческим материалом. Значит, завтра подвергнется решающему испытанию мое самое значительное открытие.

До конца рабочего дня оставалось еще десять минут, но я был так избодоражен, что ничего не мог делать. Пришло схитрить — кажется, впервые в жизни. Медленно и осторожно я начал убирать приборы в шкафы, все время поглядывая сквозь стеклянные стены, не видит ли кто, чем я занимаюсь. И как только послышался звонок, возвещающий конец работы, я выскочил из лаборатории и одним из первых побежал по длинному коридору. Торопливо помывшись под душем, я переменил рабочий комбинезон на форменную одежду свободного времени, вскочил в лифт и через несколько секунд очутился на улице. Поскольку мы жили поблизости от места моей работы, у меня был постоянный пропуск для выхода на поверхность, и я никогда не упускал возможности пройтись по свежему воздуху.

Когда я проходил мимо станции подземки, мне пришло в голову, что стоит подождать Линду. От пищевого концерна, где она работала, нужно было ехать не меньше двадцати минут, и она, конечно, еще не успела добраться до дома. Поезд только что прошел; поток людей, хлынувший из-под земли, забурлил у прохода, где пропадали пропуска для выхода на поверхность, и мед-

ленно растекся по ближайшим улицам. Над пустыми сейчас крышами-террасами, над бесчисленными рулонами серого и зеленого брезента, с помпой которых можно было за десять минут замаскировать город, чтобы неприятель не смог увидеть его с воздуха, кипела толпа возвращавшихся домой людей в форменной одежде свободного времени. И внезапно мне пришло в голову, что все они, как и я, стремятся к одному — пробиться наверх.

Эта мысль захватила меня. Я знал, что раньше, в цивильную эпоху, люди работали и тратили силы ради более просторных жилищ, лучшей пищи или роскошной одежды. Теперь это никому не требовалось. Стандартные квартиры — однокомнатные для холостяков, двухкомнатные для семьи — одинаково предоставлялись всем, независимо от чинов и заслуг. И генерала, и рядового обеспечивала едой одна и та же домовая кухня. Форма одежды — одна для работы, другая для свободного времени, третья — для военной и полицейской службы — была одинакова для всех, без различия пола и должности. Я мог бы поручиться, что для любого подданного Мировой Империи высшее достижение, которого можно было добиться в жизни, рисовалось в форме всего лишь трех черных полосок на рукаве, свидетельствовавших о самом высоком воинском звании. Они гарантировали и самоуважение, и почтение других. Дело не в материальных благах. Мне кажется, что и двенадцатикомнатные виллы, которыми владели капиталисты давно прошедшей цивильной эпохи, имели для своих хозяев значение скорее символическое, как залог и воплощение всеобщего почтания, ибо это единственное, чем невозможно пресытиться. Каждый хочет добиться преклонения других — этого самого желанного, самого труднодостижимого и зыбкого из всех преимуществ, которые дает высокое положение. Но именно на этой непрочной основе строился во все века наш твердый общественный порядок. Так я размышлял, стоя у входа в подземку. Прошло четыре поезда; четыре раза толпа людей выливалась из света, пока, наконец, не появилась Линда. Я поспешил ей навстречу, и мы зашагали рядом.

Разговаривать мы, конечно, не могли — все звуки заглушал шум самолетов, круглосуточно совершающих учения, но Линда заметила, что я чем-то обрадован, и кивнула приветливо, хотя, как всегда, несколько сдержан-

но. Только когда мы вошли в дом и спустились в лифте на свой этаж, наступила относительная тишина. Правда, здесь слышался шум метро, от которого вздрогивали стены, но он был вполне терпим. Никто из нас не раскрыл рта, пока мы не зашли в квартиру. Если бы нам вздумалось начать разговор в лифте, любой оказавшийся рядом непременно заподозрил бы, что мы обсуждаем дела, о которых не следует знать детям и горничной. Бывали уже такие случаи, когда враги Империи и прочие преступники пытались использовать кабины лифтов для тайных встреч: дело в том, что по техническим причинам в лифты невозможно вмонтировать специальные приборы «ухо полиции» и «глаз полиции», а у вахтера и без того много дел, и он не может бегать и подслушивать на лестнице.

Итак, мы молча вошли в свою комнату. Наша горничная уже успела накрыть на стол и привести детей с домовой детской площадки. Мы с Линдой дружески поздоровались с ней. Мы вообще были с ней в хороших отношениях, потому что она была аккуратной и симпатичной девушкой, а не потому только, что долг предписывал ей, как всем вообще горничным, еженедельно подавать рапорт о нашей семье.

Сейчас в нашей квартире царили уют и радость. Особеню приятно было то, что вместе со всеми сидел и наш старший сын Осси. Сегодня был семейный вечер, так что и он смог прийти в гости из Барилэгер*.

— А у меня хорошие новости, — сказал я Линде, когда все принялись за картофельный суп. — Завтра начну экспериментировать с людьми. В присутствии инспектора, конечно.

— А ты знаешь, кто это будет? — спросила Линда. Ее невинный вопрос заставил меня вздрогнуть. С одной стороны, казалось бы, совершенно естественно, что жена спрашивает мужа, кто будет у него инспектором. Ведь от придирчивости инспектора зависела продолжительность испытаний. Случалось также, что иной честолюбивый инспектор присваивал себе чужое открытие, и с этим, как правило, ничего нельзя было поделать. Так что желание близкого человека узнать, с кем мне придется работать, было вполне закономерным. Но мне почутился в голосе Линды особый оттенок. Моим непосред-

* Городок для детей.

ственным начальником — и, следовательно, первым кандидатом в инспектора — был Эдо Риссен, а он раньше работал в том же пищевом концерне, что и Линда. Я знал, что по долгу службы им часто приходилось общаться друг с другом, и по некоторым признакам догадывался, что моя жена испытывает к нему симпатию. И вот теперь ее вопрос внезапно пробудил во мне ревность. Насколько они были близки? На большой фабрике всегда найдется место, где двое могут укрыться от посторонних взглядов. Хотя бы на складе, например. Кладовщик не всегда сидит на месте, а вдоль стеклянных стен вечно громоздятся груды ящиков и тюков. Кроме того, Линде, как и всем остальным, приходилось иногда дежурить ночью. Ее очередь вполне могла совпасть с дежурством Риссена. Да, все было возможно, в том числе и самое худшее — может быть, она и до сих пор еще любила его.

В то время я редко задумывался над собственными чувствами. Не заботило меня и то, что думают обо мне другие, — ведь это не имело никакого практического значения. Лишь много позже, уже в заключении, я начал, возвращаясь мыслями к прошлому, анализировать свое состояние. Теперь-то я понимаю, что, когда у меня возникла догадка о близости между Линдой и Риссеном, я в глубине души хотел не опровергнуть ее, а подтверждения. Точнее говоря, мне нужна была какая-то причина, которая могла бы положить конец моему браку.

Но тогда я с негодованием отверг бы подобную мысль, Линда играла слишком большую роль в моей жизни. Она значила для меня не меньше, чем вся моя карьера. Против воли и вопреки здравому смыслу я был отчаянно привязан к ней.

Многие считают любовь устаревшей выдумкой романтиков, но я боюсь, что она все-таки существует, и с самого начала в ней заключено нечто неописуемо мучительное. Мужчину тянет к женщине, женщину — к мужчине, но с каждым шагом, который приближает их друг к другу, оба как бы теряют какую-то часть своей души; человек надеется на победу, а сам терпит поражение. Это чувство появилось у меня еще во время моего первого брака (мы разошлись, потому что у нас не было детей, и, следовательно, не имело смысла дальше жить вместе). Но с Линдой это стало просто кошмаром, хотя тогда я еще не догадывался, что причина кошмар-

ра — именно она. У меня возникало иногда такое ощущение, словно я стою среди тьмы, освещенный лучами прожектора; его сверкающий глаз направлен прямо на меня, мне стыдно, и я, извиваясь, как червяк, пытаюсь спрятаться. Лишь много позже я догадался, что виной всему Линда. С ней я чувствовал себя пугающе беззащитным; мне постоянно хотелось забиться куда-то в угол, спрятаться, а она оставалась неизменно загадочной, сильной, да, чуть ли не сверхчеловечески сильной, она бородила и тревожила меня, а эта ее загадочность — о, она давала ей ненавистное преимущество. Когда ее губы вытягивались в узкую красную черту, — нет, это нельзя было назвать улыбкой, радостной или насмешливой, скорее это напоминало натянутый лук, — а глаза становились неподвижными, меня пронизывала дрожь ужаса. И в то же время меня тянуло, неодолимо тянуло к ней, хоть я и сознавал, что никогда она не раскроет мне свой внутренний мир. Должно быть, это и есть любовь, когда в отчаянии безнадежности один человек крепко держится за другого и, несмотря ни на что, ждет чуда.

Другие пары вокруг нас расходились, как только дети подрастили настолько, чтобы их можно было отдать в Барилэгер, — расходились, женились и выходили замуж опять, чтобы родить новых детей. Оссу, нашему старшему, было восемь лет, он уже целый год жил отдельно. Лайле, младшей, недавно исполнилось четыре — значит, пробыть дома ей предстояло еще три года. А что потом? Мы тоже разойдемся, и каждый создаст новую семью, наивно веря, что на этот раз чудо совершиется? Весь мой опыт подсказывал, что это не более чем иллюзия. Но где-то оставалась еще надежда, и она шептала: нет, тебе не повезло с Линдой только потому, что она любит Риссена. Она принадлежит Риссену, а не тебе. Пойми же это наконец, и все станет на свои места, и ты еще сможешь надеяться на новую любовь! Да, вот какие мысли пробудил во мне невинный вопрос Линды.

— Очевидно, Риссен, — сказал я, весь насторожившись и ожидая, что последует дальше.

— А мне позволено будет узнать, что это за эксперимент? — спросила горничная.

Разумеется, она имела полное право спрашивать, ведь она находилась здесь в какой-то степени и для того, чтобы следить за всем, что происходит в доме. Но, с другой стороны, не будет ли вреда и мне самому, и в первую очередь Империи, если слухи о моих опытах распространятся преждевременно?

— Речь идет об открытии, которое, как я надеюсь, будет полезно Империи, — сказал я. — Синтезированное вещество, и с его помощью можно заставить любого человека рассказать обо всех своих тайнах, о том, что он раньше скрывал из страха или стыда. Вы сами из нашего города?

Дело в том, что когда в городе не хватало людей, пополнение привозили из других провинций. У приезжих, разумеется, не было того образования, которое получали все живущие в Городах Химиков, и они довольствовались обрывками знаний, подхваченными уже в зрелом возрасте.

— Нет, — сказала она, покраснев, — я из другого места.

(Выяснить, откуда кто прибыл, было строжайше запрещено, потому что такие сведения могли использовать в целях шпионажа. Оттого-то она и покраснела.)

— Тогда я не буду рассказывать о химическом составе вещества и механизме его действия, — сказал я. — Впрочем, я думаю, в любом случае мне не стоит особенно распространяться; ведь это фактически означало бы разгласить открытие, а на это я не имею права. Но, может быть, вы слышали об алкоголе и о том, что в старину он употреблялся как опьяняющее средство?

— Да, — ответила она, — и знаю, что из этого выходило. Люди становились несчастными, портили здоровье, а в самых тяжелых случаях у них начиналась дрожь во всем теле, им мерешились белые мыши и всякое такое.

Я невольно улыбнулся. Она повторяла слова из элементарного школьного учебника. Конечно, ей не пришлось получить среднего образования, которое давалось в Городах Химиков.

Я продолжил:

— Совершенно правильно, в запущенных случаях так и было. Но даже при сравнительно слабом опьянении люди нередко выбалтывали то, что не следовало, совершили неразумные поступки, потому что сдерживаю-

щие чувства стыда и страха у них на время атрофировались. Вот и мое средство действует примерно так же, как алкоголь, — то есть я полагаю, что действует, — завершающих опытов еще не было. Но есть и разница — химический состав совсем другой, и потом его не глотают, а вводят прямо в кровь. Когда действие препарата кончается, человек не испытывает никаких неприятных ощущений, ну, может быть, только небольшую головную боль. И он помнит все, что с ним происходило, не то что пьяные, которые обычно все забывали. Теперь вы видите, какое это важное открытие. Ни один преступник не сможет скрыть свою вину. Мысли, чувства больше не будут принадлежать нам одним, наконец-то будет покончено с этой нелепостью!

— С этой нелепостью? — переспросила она.

— Ну да, разумеется. Ведь из мыслей и чувств рождаются слова и поступки. Так как же они могут быть личным делом каждого? Разве каждый человек не принадлежит Всемирной Империи целиком и полностью? Кому же, как не Империи должны тогда принадлежать его мысли и чувства? До сих пор их невозможно было контролировать, но сейчас-то средство найдено.

Она быстро взглянула на меня и отвела глаза. И хоть выражение ее лица не изменилось, щеки явно побледнели. Я решил подбодрить ее:

— Не бойтесь, мы не собираемся выяснять, кто в кого влюблен или кто кого терпеть не может. Конечно, если бы мое открытие попало в чужие руки, тогда, само собой, мог бы начаться страшный хаос. Но ведь этого же не случится! Мое изобретение будет служить нашей безопасности, всеобщей безопасности, безопасности Всемирной Империи!

— А я и не бояюсь, мне бояться нечего, — отозвалась она холодно, уже успев взять себя в руки и не реагируя на мой доброжелательный тон.

Разговор перешел на другие темы. Дети стали рассказывать, во что они играли на детской площадке. Там у них имелось специальное приспособление — нечто вроде огромного эмалированного ящика в четыре квадратных метра величиной и в метр глубиной. Там спокойно можно было взрывать игрушечные деревья и дома, сделанные из особого, легко воспламеняющегося материала. Не менее увлекательно было, наполнив ящик водой, разыгрывать в миниатюре целые морские сражения —

пушки детских кораблей заряжались тем же взрывчатым веществом, которым начинялись игрушечные бомбы. Среди игрушек были даже маленькие торпедные катера. Таким путем у детей развивались стратегические наклонности, так что это входило в их плоть и кровь, можно сказать, становилось их второй натурой. Кроме того, подобные игры были и отличным развлечением. Порой я даже завидовал собственным детям. Ведь в мое время не существовало таких великолепных игрушек — специальную взрывчатку для детских бомб, например, изобрели совсем недавно, — и я просто не понимал, почему они ждут не дождутся дня, когда им исполнится семь лет и они перейдут в Барнлэгер, где упражнения походят уже не на игру, а на настоящую военную службу и где придется жить постоянно.

Мне часто приходило в голову, что нынешнее поколение гораздо трезвее смотрит на жизнь, чем я в том же возрасте. И в этот день я снова получил подтверждение своим мыслям. Поскольку сегодня был семейный вечер, ни я, ни Линда не пошли на военную службу, и Оссу, наш старший, тоже был дома, я решил немного развлечь детей. У меня с собой был крошечный кусочек натрия, который я специально для такого случая захватил из лаборатории. Я представлял себе, как обрадуются дети, когда увидят плавающий по воде лиловый огонек, — я помнил, как еще мой отец показывал мне этот фокус. Я налил полный таз воды, потушил свет, и все собрались вокруг моего маленького химического чуда. Но никто не выказал восторга. Ну ладно Оссу — он умел стрелять из детского пистолета и бросать хлопушки, имитировавшие ручные гранаты, — я еще мог понять, что бледный маленький огонек не произвел на него никакого впечатления. Но то, что осталась равнодушной четырехлетняя Лайла, меня удивило. Видимо, вспышка огня, не принесшая гибели хотя бы нескольким врагам, не могла вызвать у нее интереса. И только Марил, наша средняя, сидела словно зачарованная и широко раскрытыми глазами, так напоминавшими глаза матери, смотрела на шипящий, кружящийся по воде огонек. И это одновременно и утешало, и беспокоило меня. Было совершенно ясно, что именно такие дети, как Оссу и Лайла, нужны нашей эпохе. Уже сейчас в них угадывалась будущая деловитость и трезвость. А я... во мне все еще жила устаревшая романтика. И хоть в характере и по-

ведении Марил я как бы находил оправдание себе, мне внезапно захотелось, чтобы она была больше похожа на других. У каждого поколения свои черты, обусловленные особенностями времени, и я совсем не хотел, чтобы моя дочь оказалась исключением.

Вечер подходил к концу, и Оссу нужно было возвращаться в городок. Может быть, ему хотелось остаться, может быть, он боялся ехать один, но он ничем этого не выдал. В свои восемь лет мой сын был уже дисциплинированным солдатом. Но зато я сам с внезапной тоской вспомнил то время, когда они все трое каждый вечер забирались в свои кроватки. «Сын — это сын, — думалось мне, — он отцу всегда ближе, чем дочери». Я боялся даже представить себе тот день, когда и Марил и Лайла уйдут от нас и мы будем встречаться с ними лишь два раза в неделю. Но я ничем себя не выдал. К чему показывать дурной пример детям, к чему давать горничной основания отметить в рапорте слабость и мягкотелость главы семейства?

И Линда — главное Линда! Пусть меня презирает кто угодно, но только не она, сама никогда в жизни не проявившая слабости.

Между тем постели для девочек были уже подготовлены. Горничная составила посуду и остатки еды в кухонный подъемник и тут только вспомнила:

— Да, мой шеф, ведь вам сегодня пришло письмо. Вот оно.

После этого она ушла. Мы с Линдой с удивлением рассматривали конверт. Письмо было служебное. Прежде всего мне пришло в голову, что, будь я на месте полицейского начальства моей горничной, я сделал бы ей внушение за то, что по забывчивости или по какой-то другой причине она не вскрыла конверт, хотя имела на это полное право. Но тут же я спохватился — ведь там могло быть написано такое, что мне следовало только благодарить ее за эту небрежность. Письмо было из Седьмой канцелярии Департамента пропаганды. Но тут, чтобы все объяснить, я должен вернуться к событиям двухмесячной давности.

Итак, это произошло два месяца назад. В зале Унгдом-слэгер, украшенном флагами и полотнищами, собралась толпа юношей и девушек. Они разыгрывали разные сценки, произносили речи, маршировали под барабанный бой. Поводом послужило то, что группа девушек из ла-

геря получила приказ о переводе в другое место — куда именно, никто не знал. Кто называл Второй Город Химиков, кто — Город Обувщиков, но, во всяком случае, было ясно, что их мобилизуют туда, где сложилась сейчас неблагоприятная ситуация — как в смысле рабочей силы, так и соотношения полов. Раз и навсегда установленные пропорции не должны были нарушаться. Поэтому-то группу молодых женщин и призывали сейчас в другой район, и сегодня в их честь был устроен прощальный вечер.

Такие празднества чем-то напоминают проводы солдат. Правда, есть и разница, притом весьма значительная — мы все, и те, кто уезжал, и те, кто оставался, знали, что девушкам, покидающим родной город, ничто не грозит, что, напротив, будет сделано все, чтобы они как можно скорее привыкли к новому окружению. Но в обоих случаях отезжающие понимали, что расстаются с близкими навсегда. Между городами во избежание шпионажа разрешена была только официальная связь, и осуществлялась она особо проверенными служащими, находившимися под постоянным контролем. И даже если кому-нибудь из девушек удалось бы попасть в Службу движения — случай почти невероятный, так как будущих работников этой службы чуть ли не с младенчества готовили в специальных Городах Транспортников; — даже и в этом случае еще нужно было, чтобы ее поставили на один из маршрутов, проходивших через родной город, и чтобы время, когда она там окажется, пришлось как раз на ее свободные часы. Кстати, все это касалось только работников наземного транспорта; персонал, обслуживающий воздушные линии, жил отдельно от семей под постоянным наблюдением властей. Короче говоря, требовалось совершенно исключительное, поистине чудесное стечние обстоятельств, чтобы родители смогли когда-нибудь увидеться со своими детьми, отправляемыми в другую местность. Но тем не менее в этот вечер никто не имел права с мрачным видом стоять у стены. На празднике, как и подобает, должно царить радостное настроение.

Наверняка все сложилось бы иначе, если бы я тоже был непосредственным участником торжества. В зале было весело и шумно. Предвкушение хорошего ужина —

на таких празднествах угощение, как правило, бывает вкусным и обильным и собирающиеся набрасываются на еду как голодные волки, — звуки барабана, общий шум и веселая толкотня — все создавало то приподнятое настроение, которому и надлежит господствовать на подобных вечерах.

Но сам я оказался здесь не потому, что имел какое-то отношение к виновникам торжества, а по долгу службы (я имею в виду военно-полицейскую службу, которая занимала у меня четыре вечера в неделю). В данном случае я исполнял роль полицейского секретаря. Сидя на небольшом помосте в углу зала, я должен был вести протокол, записывать весь ход торжества. Этим занимался не я один, всего нас в зале было четверо — по одному в каждом углу.

Итак, я сидел отдельно от всех и разглядывал толпу. Общий подъем в какой-то степени захватил и меня, и хоть я не мог веселиться вместе с другими, меня утешало сознание важности моей миссии. Впрочем, к концу вечера всех нас четверых должны были сменить, чтобы и мы имели возможность отдохнуть и отдать должное праздничному столу.

Девушек — виновниц торжества было что-то около пятидцати. Они сразу бросались в глаза благодаря позолоченным венцам на головах (такие венцы по обычанию предоставлял город). Мое внимание привлекла одна из девушек. Она была очень красива, а главное — в ее взглядах, движениях, во всем ее поведении, как скрытый огонь, чувствовалась необыкновенная живость. Еще в начале вечера, когда на сцене разыгрывались скетчи и юноши сидели отдельно от девушек, я заметил, что она пристально смотрела в их сторону. Но вот она нашла того, кто был ей нужен, и склонившись к нему, смотрела на него с любовью. Я начал разглядывать юношей и сразу понял, кого она искала. Среди веселых, иных радостного ожидания лиц только его лицо поражало своей чуть ли не болезненной серьезностью. Как только кончилась последняя пьеса и все вскочили с мест, эти двое двинулись сквозь густую толпу прямо навстречу друг другу и остановились в центре зала. Молодежь кругом разговаривала и тела, они одни стояли молча, никого не замечая, забыв о том, где находятся. Я стоял с себя ощущение. Ну куда это годится! Я едва не стал сочувствовать им!

Наверно, я слишком устал в тот день, иначе я бы так не забылся. Разумеется, жалеть этих двоих не стоило. Что может быть полезнее для формирования верноподданного, чем выработанная смолоду привычка приносить жертвы ради великой цели? Ведь многие всю свою жизнь жаждут и не могут принести жертву, которая была бы достаточно велика. Единственное, что я мог испытывать в тот момент, была зависть, и я уверен, что недовольство, которое явно проявляли все окружающие, было вызвано той же завистью. Завистью и еще, быть может, презрением, ибо вся эта молодежь, конечно, считала, что отдельный человек, кем бы он ни был, не стоит такой затраты душевных сил. Но я презрения не испытывал, потому что юноша и девушка казались мне участниками вечной драмы, прекрасной в своей трагической обреченности.

Да, наверно, я действительно устал, потому что меня все время притягивали не веселые, а грустные лица. После того как толпа разделила молодую пару, я обратил внимание на худощавую немолодую женщину — видимо, мать одной из мобилизованных. Она тоже находилась как бы вне всего происходящего. Сам не знаю, почему это пришло мне в голову, я бы ничем не мог этого доказать, потому что она делала все то же, что другие, — двигалась в такт с марширующими, кивала ораторам, пела. Но, по-моему, она проделывала все это чисто механически и оставалась одинокой — точно так же, как те двое. По-моему, люди вокруг тоже заметили это. Со своего помоста я видел, как к ней то и дело подходили кто-нибудь, брали за руку и тянули за собой или просто заговаривали о чем-то. И хоть она отвечала и даже улыбалась, я видел, что люди отходили разочарованные. Только один невысокий полный мужчина с живым лицом не отступил так легко. После того как в ответ на какую-то его реплику она выдавила мученическую улыбку и снова приняла прежний озабоченный вид, он отошел, но недалеко, и я понял, что он наблюдает за ней.

Эта одинокая усталая женщина вдруг стала мне чем-то близка. Умом я понимал, что она еще более достойна зависти, чем те двое молодых людей, — ведь она приносила большую жертву и заслуживала поэтому еще большей хвалы. Чувства молодых поблекнут, у каждого появится новая привязанность. Рана затянется, и память

о прежней любви будет скрашивать однообразие будней. Но боль матери не утихнет с годами. Я понимал, какою тяжесть ее потери, — ведь и мне когда-нибудь придется пережить то же самое. Я думал об Оссу, старшем сыне, который пока еще приходил домой два раза в неделю. Я надеялся, что сумею удержать его в Четвертом Городе Химиков и тогда, когда он станет взрослым. Разумеется, я сознавал, что нельзя распоряжаться судьбой маленьких подданных Империи, исходя лишь из интересов родителей, и никогда бы не высказал своего желания вслух, но тайная надежда сохранить Оссу была для меня словно мерцающий вдалеке огонек для ночного путника. Может быть, я особенно берег эту мечту еще и потому, что ее приходилось так тщательно скрывать. И вот в этой женщине я угадал ту же боль и ту же молчаливую сдержанность. Я невольно поставил себя на ее место — она не только больше никогда не увидит свою дочь, но даже вряд ли сумеет на протяжении всей жизни получить от нее хоть какое-нибудь известие. Почтовая цензура все более строго обходилась с частными письмами, и, как правило, адресату доставлялись только действительно важные, короткие и деловые сообщения, снабженные надлежащими подтверждениями. Странная и дерзкая мысль пришла мне в голову: я подумал, что люди, пожертвовавшие своими чувствами ради Империи, нуждаются в своего рода компенсации. Она должна состоять в том, к чему стремятся даже самые богатые и высокопоставленные лица, — в славе и почитании. Если слава служит достаточным утешением для искалеченного на поле боя воина, почему бы ей не быть таким же утешением и для человека, потерпевшего моральный ущерб? Весьма путаная романтическая мысль — и, как и следовало ожидать, немного погодя она привела меня к опрометчивому поступку.

После того как меня сменил другой полицейский секретарь, я смешался с толпой и попытался принять участие в общем веселье. Но, должно быть, из-за усталости и голода ничего у меня не выходило. Вскоре из кухни вкатили передвижные столы, накрытые для ужина, и все со складными стульями собрались вокруг них. И что удивительно — женщина, на которую я раньше обратил внимание, оказалась как раз напротив меня. Возможно, это было чистой случайностью, а возможно, она тоже заметила меня и даже сумела прочитать на

моем лице симпатию. Но то, что невысокий подвижный толстяк, подходивший к ней до ужина, и сейчас поспешил усесться рядом, — это уж явно было преднамеренно. Судя по всему, он хотел заставить ее выдать нечто тщательно скрываемое. Его слова звучали как будто вполне невинно, но я представляю себе, как они должны были бередить рану матери! Он с сожалением говорил об одиночестве, которое ожидает девушек. Всех вновь прибывших, по его словам, расселят в разных местах, далеко друг от друга. Само собой, им трудно будет привыкнуть к новому климату, да и к новому образу жизни тоже. Что касается Городов Обувщиков (не знаю, почему речь зашла именно о них, ведь цель поездки всегда содержалась в глубокой тайне, и любая догадка на этот счет с равной степенью вероятности могла оказаться и правдивой, и ложной) — так вот, что касается Городов Обувщиков, то часть из них лежит на той же широте, что и Четвертый Город Химиков, но большинство расположено далеко на севере, где суровый климат, холодные зимы и долгие полярные ночи, которые на кого угодно наведут тоску. А впрочем, не стоит так уж безоговорочно верить всем этим слухам — люди, которые их распространяют, сами скорее всего ни разу не выезжали за пределы города.

Сначала у меня создалось впечатление, что он просто за что-то мстит женщине. Но из ее вежливых, малозначащих ответов я понял, что они только что познакомились и, следовательно, у него не могло быть никаких причин для личной неприязни. Значит, он просто хотел разоблачить носительницу индивидуалистических настроений, хотел, чтобы резким словом или внезапным взрывом слез она наконец-то выдала себя. Тогда, указав на нее и воскликнув: «Смотрите, кого мы вынуждены терпеть в своих рядах!» — он притворился бы ее к позорному столбу. Такое стремление было, в сущности, не только вполне объяснимо, но и достойно всяческого уважения, и потому их разговор приобретал иной, принципиально новый смысл. Я слушал внимательно, и, надо сказать, симпатии окружающих явно склонялись на сторону женщины. Мне кажется, дело тут было не в сострадании. Всех привлекало то достоинство, то самообладание, с которым она парировала самые хитрые выпады партнера. Ни на секунду ее лицо не покинула вежливая улыбка, ни разу в голосе не

прорвалась дрожь. И как быстро она находила ответ на любой из его доводов! Она говорила, что молодежь легко воспринимает все новое, климат севера полезнее для здоровья, чем южный, что в Мировой Империи никто не может чувствовать себя одиноким и нечего жалеть о том, что ее дочь забудет родных, — если человеку приходится переезжать на новое место, это как раз очень хорошо.

Я был очень недоволен, когда в их спор вмешался сидевший неподалеку рыжеволосый мужчина с грубым лицом.

— Это что еще за слюнтяй выискался! Эй, вы, как вас там, кто вам позволил порочить имперские мероприятия, да еще перед матерью! Кончайте нытье, не менайтесь другим веселиться!

Как раз в этот момент подошло время для очередной речи, и у меня возникла идея — злосчастная идея! — нанести удар противнику моей соседки. (Дело в том, что на вечер я пришел не только в качестве полицейского секретаря, но и в качестве официального оратора.) Речь моя была заранее подготовлена, но концовку я придумал на месте. Увы, если бы я мог заранее догадаться о роковых последствиях этого шага!

— Итак, соратники, героизм не становится меньшим оттого, что он сопровождается страданиями. Страдает иони от ран, страдает вдова убитого воина, хотя радость служения Империи неизмеримо превышает боль скорби. Цущевшую тяжесть испытывают и те, кто, вступая в самостоятельную жизнь, расстается с близкими, в большинстве случаев навсегда. Мы можем только восхищаться, когда мать с дочерью или товарищ с товарищем прощаются легко и радостно, с блеском в глазах и криками ликования на устах. И наше восхищение не уменьшится оттого, что за этой радостью мы почувствуем глубоко спрятанную, мужественно преодолеваемую скорбь. И может быть, именно эта выдержка, это самообладание и борьба с самим собой особенно достойны нашего преклонения, ибо тут-то и таится самая большая жертва, которую мыносим Империи.

Наэлектризованная, взвужденная толпа встретила мои слова громом аплодисментов и приветственных всплесков. Но я видел, что среди аплодирующих то там, то здесь попадались люди, сидевшие неподвижно. Пусть тысяча хлопает, а двое — нет: эти двое важнее, потому

что они могут донести, в то время как ни один из тысячи и пальцем не шевельнет, чтобы защитить того, кем только что восторгался,— а впрочем, ведь это все равно невозможно. К тому же, хоть я и сам был взволнован, я все время чувствовал на себе пронзительный взгляд толстяка. Как бы невзначай я повернулся в его сторону. Разумеется, он не аплодировал.

Да, вот так все и было. И вот результат — я держу в руке письмо. Кто донес на меня, сомневаться не приходилось. На бланке было написано:

«Соратнику Лео Каллю, Четвертый Город Химиков. Ознакомившись с вашей речью, произнесенной 19 апреля с. г. в Унгомслэгер на вечере в честь вновь мобилизованных на работу, Седьмая канцелярия Департамента пропаганды считает нужным сообщить вам следующее.

Ввиду того, что борец, обладающий цельной натурой, действует эффективнее, чем страдающий раздвоенностью, необходимо отметить, что бодрый духом солдат, ни перед самим собой, ни перед окружающими не выказывает сознания приносимой жертвы, представляет значительно большую ценность, нежели угнетенный и обремененный тяжестью так называемой жертвы, даже если он и скрывает свое состояние духа. Следовательно, уважения достойны лишь истинно бодрые солдаты, которым нечего скрывать; не имеется никаких оснований поощрять тех, кто под маской радости пытается скрыть раздвоенность, недовольство и излишнюю чувствительность; разоблачение последних есть долг каждого преданного Империи солдата. Мы ждем, что в скором времени вы выступите с признанием своей ошибки перед той же аудиторией — на собрании или по местному радио.

Седьмая канцелярия Департамента пропаганды».

Я реагировал так бурно, что мне самому потом было стыдно перед Линдой. Но ведь надо же, письмо пришло именно сегодня, в день моего торжества! Моим надеждам и ожиданиям был нанесен внезапный и резкий удар! Чего только я не наговорил в тот момент: и что я конченый человек и карьера моя погибла, и что в будущем меня ждет одно бесчестье, и что мое открытие — ничто по сравнению с этой историей, которая, конечно, будет отмечена в тайных картотеках всех полицейских

отделений Мировой Империи, и так далее. И когда Линда принялась утешать меня, я сначала не поверил ей. Решил, что она притворяется, а сама тем временем думает, как бы лучше избавиться от меня.

— Скоро все узнают, что я имею обыкновение произносить антиимперские речи, — сказал я с горечью. — Если хочешь разойтись, пожалуйста; неважно, что дети еще маленькие. Лучше уж совсем никакого отца, чем государственный преступник...

— Ты преувеличиваешь, — ответила Линда. (Как ни странно, я до сих пор помню, какое слово она тогда употребила. И не материнское ласковое спокойствие звучало в ее голосе — ему бы я не поверил, — а тяжелая, равнодушная усталость — именно это и убедило меня в ее искренности.) — Да, ты преувеличиваешь. Ты думаешь, среди наших соратников мало выдающихся людей получали в свое время замечания или взывания, а потом сами же восстанавливали свое доброе имя? А ну-ка вспомни, сколько людей выступает по радио каждую пятницу с восьми до девяти вечера с покаяниями. Пойми, что хороший соратник не тот, кто не ошибается, а тот, кто, допустив ошибку, способен отказаться от собственной ложной точки зрения во имя истины.

Мало-помалу я несколько пришел в себя и понял, что она права. Впрочем, я был все еще порядком возбужден и решительно обещал Линде (да и самому себе), что как можно скорее постараюсь выступить по радио в программе «Час покаяния». Я даже начал набрасывать текст своей будущей речи.

— И опять ты преувеличиваешь, спешишь, — сказала Линда. Она стояла рядом и смотрела, что я пишу. — Нельзя бросаться из одной крайности в другую — тогда заподозрят, что в минуту слабости ты можешь вернуться к прежним заблуждениям. Поверь мне, Лео, такие венцы нужно писать в спокойном состоянии.

Линда была права, и я почувствовал благодарность к ней за то, что она рядом — такая мудрая и такая сильная. Только вот почему она казалась бесконечно усталой?

— Ты не заболела, Линда? — спросил я со страхом.

— С чего мне болеть? На прошлой неделе у нас был врачебный осмотр. Мне прописали небольшие дозы свежего воздуха, а так все в порядке.

Я встал и обнял ее.

— Только не умирай раньше меня. Ты нужна мне. Ты должна быть со мной.

Но вместе с боязливью очутиться в одиночестве где-то в моей душе мелькнул проблеск надежды — а вдруг она и выравду умерла бы? Ведь это решило бы все проблемы. Но в таких мыслях я сам же хотел себе признаться и в каком-то бессильном гневе крепко прижал ее к себе.

Мы легли и потушили свет. Моя месячная порция снотворного уже давно кончилась.

Даже если бы я не чувствовал ее нежного тепла и аромата, напоминающего о листьях чая, я все равно в тот вечер желал бы ее, я захотел бы большей близости, чем та, что могут дать краткие прикосновения. Годы преобразили меня. В юности чувства играли в моей жизни совсем не такую роль, как теперь: тогда я ощущал их же как неотъемлемую часть собственной натуры, а как некое притяжение, что-то вроде надоедливого спутника, которого надоскорее ублаготворить, чтобы он оставил тебя в покое и не мешал заниматься более важными делами. Иное дело сейчас. Мне было мало ощущать ее аромат и нежность тела. Я жаждал того, чего добиться было почти невозможно, — той Линды, что вдруг проглядывала сквозь обычную маску, чей облик прятался в глубинах широко открытых, неподвижных глаз, в изгибах напряженного скатого рта, прорывавшись в звуках усталого голоса, в спокойных, мудрых словах. Я почувствовал, как кровь стучит в висках, и, повернувшись на бок, подавил глубокий вздох. И снова повторил себе, что никогда близость между мужчиной и женщиной не притеснет того, что мне нужно. Все это предрассудки — вроде тех, что были свойственны первобытному дикарию, который считал, что, съев сердце мужественного соперника, он сам станет мужественным. Никакой магический ритуал не даст мне доступа к тому блаженству, в котором отказывала мне Линда. А зачем тогда все осталось?

На стене висело «ухо полиции» и рядом «глаз полиции» — в темноте он действовал так же безотказно, как при свете. Никто не посмел бы сказать, что эти аппараты не пусты: если бы не они, сколько тайных встреч могло бы произойти, сколько шпионских сведений можно было бы передать — ведь спальни взрослых

одновременно служили гостинными. Немного погодя, когда я ближе познакомился с семейной жизнью многих наших соратников, я вынужден был признать, что «ухо полиции» и «глаз полиции» неблагоприятно влияют на рождаемость в Мировой Империи. Но едва ли сейчас я охладел из-за них. По крайней мере, раньше они мне не мешали. Наша Тысячелетняя Империя никогда не смотрела на вопросы пола аскетически; напротив, производить на свет новых подданных считалось делом не только необходимым, но и почетным, и Империя делала все, чтобы мужчины и женщины, вступив в зрелый возраст, могли выполнить свой долг. Но существу, я с самого начала ничего не имел против того, чтобы в высших сферах время от времени отмечали мои мужские достоинства. Это меня скорее стимулировало. Но с годами все переменилось. Если раньше даже в моменты самой интимной близости я зачастую обращался к аппарату на стене с безмолвным вопросом, как относится ко мне восхищенная в нем Высшая Власть, то с течением времени мысль об этой власти стала казаться помехой, и больше всего в те минуты, когда я особенно жаждал Линды и того недостижимого чуда, которое сделало бы меня господином над ее зятутранным миром. Теперь я мысленно сирашивал не аппарат, а саму Линду. Моя любовь приобретала недопустимый, чересчур углубленный и личный характер, и это начинало беспокоить меня. Цель брака — дети, а все прочее — предрассудки. Да, жалуй, эти опасные страшности — еще один аргумент в пользу развода. Интересно, многие ли пары расходятся по той же причине?..

С тем я и попытался заснуть, но не смог. В моей памяти вновь всплыло письмо из Седьмой канцелярии Департамента пропаганды, слова завертелись и запрыгали перед глазами. Сон окончательно пропал, и я буквально не находил себе места. «Борец, обладающий цельной натурай, действует эффективнее, чем страдающий раздвоенностью», — это, разумеется, логично и правильно. Но как быть с теми, кто все-таки страдает раздвоенностью? Как заставить их перемениться, стать цельными?

Но тут я спохватился: а почему я так беспокоюсь об этих людях, словно сам я один из них? Нет, нет, так нельзя. Я ни за что не допущу собственной раздвоенности; как солдат я безупречен, в моей душе нет и не

будет места ни обману, ни предательству. А бесполезные... прочь их совсем, их всех, и ту женщину тоже... «Долой тех, в ком нет цельности!» — вот мой лозунг отныне. «А твой собственный брак?» — спросил чей-то злорадный голос. Но я тут же нашел ответ. Если все останется по-прежнему, я разведусь. Да, разведусь, и все тут. Но, конечно, не раньше, чем подрастут дети.

И на душе у меня вдруг стало легко и ясно — ведь мое открытие как раз отвечает требованиям Седьмой канцелярии! И разве сегодня я не говорил с горничной в том же духе? Благодаря моему открытию мне поверят, меня простят — ведь я на деле доказал свою благонадежность. В конце концов, что значат несколько необдуманных слов? Я всегда был хорошим солдатом, а в будущем, может быть, стану еще лучше.

Перед тем как сон окончательно сморил меня, мне почему-то представилась смешная картина, одна из тех, что часто всплывают в сознании засыпающего человека: невысокий подвижной толстяк, которого я видел на празднике, стоит и обливается холодным потом, сжимая в руке письмо-предупреждение. Тот рыжий детина обвинил его в попытке сорвать праздник и опорочить мероприятия Империи. А ведь это куда хуже...

У меня вообще не было привычки мешкать по утрам, но в то утро я особенно торопился покончить с гимнастикой и душем и погануть рабочий комбинезон, чтобы быть в полной готовности к тому моменту, когда явится инспектор.

И вот он пришел. Конечно, это был Риссен. Если я и испытал в тот момент разочарование, на моем лице оно не отразилось. В сущности, я и не мог надеяться, что мне дадут кого-то другого. И когда он появился передо мной, сутулый, как всегда, с обычным своим нерешительным видом, я вдруг ясно и отчетливо понял, что он так неприятен мне вовсе не потому, что между ним и Линдой, возможно, существуют какие-то отношения, нет, сама мысль об этом бесила меня именно из-за того, что в роли моего соперника оказался Риссен. Пусть кто угодно, только не он! Конечно, он не станет чинить мне препятствий, он для этого слишком кроток. Но я, честно говоря, предпочел бы более решительного, пусть даже недружелюбно настроенного инспектора, с которым

мог бы на равных померяться силами — конечно, при том условии, что он будет пользоваться моим полным уважением. Но к Риссену я не мог питать никакого почтения. Он был слишком не похож на других, слишком смешон. Правда, мне трудно было определить, в чем именно состояло это смешное, — пожалуй, прежде всего в его манере говорить, в самом темпе речи. Свойственные любому из наших взрослых соратников четкость и определенность выражений, умение связно и развернуто излагать свои мысли чужды были Риссену. В разговоре он порой так спешил, что слова буквально наскакивали друг на друга, а он еще к тому же сопровождал их бессмысленными, комическими жестами, делал совсем ненужные по ходу беседы длинные паузы, внезапно погружался в собственные мысли или бросал странные реплики, понятные только посвященным. А когда он слушал что-нибудь особенно интересное, все лицо у него так и подергивалось, как будто это не человек, а животное, которое не может владеть своими эмоциями. И все это в моем присутствии, присутствии подчиненного. Я, конечно, с одной стороны, сознавал, сколь велики его научные заслуги; но, с другой — хоть дело касалось моего шефа, не мог закрывать глаза на явное несоответствие между его достоинствами как ученика и его обликом подданного Империи.

— Итак, — сказал Риссен неторопливо, словно наше рабочее время принадлежало лично ему, — я получил весьма подробный отчет. Думаю, что мне все ясно.

И он начал повторять важнейшие положения моего отчета.

— Мой шеф, — нетерпеливо вмешался я, — уже заказано пять человек из Службы жертв-добровольцев. Они ждут в вестибюле.

Он хмуро посмотрел в мою сторону. У меня было такое впечатление, что он меня вообще не видит. Да, это действительно был странный человек.

— Ну что ж, позовите кого-нибудь, — сказал он секунду спустя.

Это звучало так, словно он не отдал приказ, а просто подумал вслух.

Я нажал на кнопку звонка. Дверь тут же отворилась, и на пороге появился мужчина с рукой на перевязи. Он поздоровался и назвал себя — № 135 из Службы жертв-добровольцев. Несколько раздраженный, я спро-

сил, нельзя ли было прислать вполне здорового человека. Дело в том, что, когда я работал ассистентом в одной из медицинских лабораторий, к моему руководителю в качестве такой же испытуемой однажды попала женщина, у которой в результате предыдущего эксперимента совершенно расстроились функции всех желез, и это сильно исказило картину исследования. Я, естественно, не хотел, чтобы и у меня произошло нечто подобное. К тому же в инструкциях указывалось, что каждый ученый не только имеет право, но и обязан настаивать на том, чтобы ему предоставляли только здоровых испытуемых. Привычка посыпать в разные лаборатории одних и тех же лиц порождала систему фаворитов, в то время как многие способные и деятельные люди лишались возможности, во-первых, проявить себя, а во-вторых, получить небольшой гонорар. Правда, принадлежность к Службе жертв-добровольцев считалась чрезвычайно почетной, и это уже само по себе могло рассматриваться как своего рода вознаграждение. Однако твердая заработка плата была у них весьма низкой, так как при расчетах принимались во внимание многочисленные виды компенсаций за разные телесные повреждения, неизбежные у людей этой профессии.

№ 135 вытянулся по стойке «смирно» и от имени своего отдела принес извинения. Им действительно больше некого было послать. В военной лаборатории по исследованию газов велись сейчас большие работы, и весь состав отдела был брошен туда. По словам № 135, сам он чувствовал себя великолепно, если не считать полученной в газовой лаборатории травмы левой руки. Но так как по всем правилам ране полагалось давно зажить (даже нанесший ее химик не мог сказать, почему она до сих пор не затянулась), испытуемый считал, что он вполне здоров и пригоден для моего эксперимента. По существу, он был прав, и я успокоился.

— Нам нужны не ваши руки, а ваша нервная система, — объяснил я. — И я заранее могу обещать, что вам не будет больно и не останется никаких последствий, даже временных.

№ 135 вытянулся еще больше. Его голос прозвучал торжественно, как гром фанфар:

— Я сожалею, что Империя не требует от меня большей жертвы. Я готов ко всему.

— Мы в этом не сомневаемся, — серьезно ответил я.

Он, безусловно, говорил искрение. Мне только не понравился его чересчур уж торжественный тон. Не он один способен к подвигам; ученый в лаборатории подчас проявляет не меньшее мужество, хотя об этом порой никто не знает. Впрочем, как раз возможность проявить себя представится, по-видимому, весьма скоро: то, что испытуемый сказал о лихорадочной работе в газовой лаборатории, подтверждало мои догадки о приближении войны. Я, кстати, давно уже заметил (только не хотел говорить другим, чтобы меня не сочли нытиком и пессимистом), что пища, которой нас кормят, день ото дня становится хуже.

Я усадил испытуемого в удобное кресло, специально выделенное мне для эксперимента, согнул ему руку, протер кожу дезинфицирующим раствором и взял небольшой шприц, наполненный светло-зеленой жидкостью. Как только № 135 ощущил прикосновение иглы, его лицо сразу изменилось — в своей напряженной суровости оно стало почти прекрасным. И я подумал, что передо мной сидит подлинный герой. Но буквально через секунду он резко побледнел. Этого никак нельзя было приписать действию моего препарата — оно не могло проявиться так скоро.

— Ну как? — спросил я дружелюбно. Инструкции предписывали задавать испытуемым как можно больше вопросов. Это давало им ощущение своего равенства с учеными и в какой-то степени помогало переносить боль.

— Спасибо, нормально, — ответил № 135. Но говорил он очень медленно — наверно, потому, что губы дрожали и не слушались его.

Мы начали читать его медицинскую карту. Здесь было все, что полагается, — год рождения, пол, расовые признаки, особенности телосложения, темперамент, группа крови, наследственность, перенесенные болезни (как у всех людей этой профессии, их было немало) и так далее. Все необходимое я занес в свою собственную картотеку. Единственное, что меня несколько смутило, — это его год рождения. Но я тут же вспомнил, как, еще работая ассистентом, слышал, да и сам не раз замечал, что сотрудники Службы жертв-добровольцев выглядят, как правило, лет на десять старше, чем в действительности. Записав все, что нужно, я вновь повернулся к испытуемому, который начал уже ерзать в кресле.

— Ну и как теперь?

Он радостно засмеялся.

— Знаете, до того хорошо! Просто никогда мне так хорошо не было. А уж как я боялся...

Подействовало! Мы приготовились внимательно слушать. Но сердце у меня колотилось. А вдруг он все-таки ничего не скажет? Может быть, ему просто нечего скрывать. Или он заранее решил говорить только о пустяках. Как я смогу тогда убедить Риссеня и, главное, себя самого? Теория остается теорией, пока она не проверена на практике. А что, если я вообще ошибся?

И тут вдруг случилось нечто совершенно неожиданное. Испытуемый, этот высокий, крупный мужчина, начал жалко всхлипывать. Он сполз вниз и, брезгливо поиснув на подлокотниках кресла, стал с протяжными стонами раскачиваться взад и вперед. От стыда за него я буквально не знал, куда деваться. Но Риссен, нужно признать, вел себя великолепно. Не сомневаюсь, что ему тоже было неловко, но он ничем этого не выдал.

Так прошло несколько минут. Меня по-прежнему душил стыд, словно это я был виновником позорной сцены. Но откуда мне знать, что там за душой у этих жертв-добровольцев! Хотя фактически испытуемые занимали по отношению к нам подчиненное положение, ни я, ни кто-либо другой из нашей лаборатории не мог считаться их начальством — у них был свой центр, откуда их направляли в разные учреждения.

Мало помалу № 435 усмокнулся. Всехлипывания прекратились, он выпрямился в кресле и принял несколько более достойный вид. Чтобы поскорее загладить впечатление от неприятной сцены, я задал ему первый пришедший в голову вопрос:

— Как вы себя чувствуете?

Испытуемый поднял глаза. В дальнейшем у меня было такое впечатление, что он хоть и сознавал наше присутствие и слышал все вопросы, но едва ли представлял себе, кто мы, собственно, такие. Говорил он, адресуясь непосредственно к нам, но так, словно перед ним были не конкретные люди (к тому же фактически его начальство), а некие воображаемые, безымянные слушатели.

— Я такой несчастный, — сказал он вяло. — Просто не знаю, что мне делать. Не знаю, как я это вынесу.

— Что вынесете? — спросил я.

— Да вот все это. Я так боюсь. Я всегда боюсь. Не то чтобы именно сию минуту, но вообще боюсь, постоянно.

— Боитесь эксперимента?

— Ну да, эксперимента. Хотя вот как раз сейчас я сам не понимаю, почему я так боюсь. Ну, будет больно или не очень, ну сделаюсь калекой или поправлюсь, ну умру или останусь жить — чего тут бояться? А я всегда боюсь. Ведь смешно же, правда, почему человек должен так бояться?

От его прежней вялости не осталось и следа. Он заговорил с какой-то пьяной беспамятством:

— И еще я боюсь того, что они скажут. Они скажут: ты трус — и это будет хуже всего. А я не трус. Я не хочу быть трусом. Но что же делать, если я и правда трус? А если я потеряю место? Ну и ладно, найду что-нибудь другое. Всегда можно где-нибудь устроиться. Нет, они меня не выбросят. Я сам уйду. Уйду добровольно из Службы жертв-добровольцев. Добровольно пришел, добровольно уйду.

Он снова помрачнел. На лице появилось выражение горечи.

— Я ненавижу их, — продолжал он сквозь зубы. — Ходят себе в свои лаборатории, сами чистенькие, целехонькие... Еще бы, им нечего бояться всяких ран и болей и разных там предусмотренных и непредусмотренных последствий. А вечером идут домой к жене и детям. А разве такой, как я, может иметь семью? Я тоже хотел жениться, но из этого ничего не вышло, сами понимаете. Когда у человека такая жизнь, ему не до женитьбы. И ни одна женщина не станет терпеть такого мужа. Я ненавижу женщин. Они только лгут. Завлекут, а потом бросят. Всех их ненавижу. Ну, кроме тех, конечно, которые работают у нас, но ведь это не настоящие женщины. Их и ненавидеть не за что. А у нас все не так, как у других. Нас тоже называют соратниками, а какая у нас жизнь? Мы все должны жить в Приюте, мы как отбросы какие-то...

Его голос упал до невнятного шепота, но он все повторял: «Ненавижу...».

— Мой шеф, — спросил я, — ввести еще дозу?

Я надеялся, что Риссен скажет «нет», потому что испытуемый вызывал у меня глубокую антипатию.

Но Риссен кивнул, и мне пришлось повиноваться. Делая укол, я довольно изврительно сказал:

— Вы сами весьма правильно заметили, что ваша организация построена на добровольных началах. Чем же вы тогда недовольны? По-моему, просто противно слушать, как взрослый человек стонет и жалуется сам на себя. Вы ведь ишли туда сами, без принуждения, не так ли?

Думаю, что я бессознательно адресовал эти слова не столько испытуемому, который в своем состоянии едва ли был способен на них реагировать, сколько Риссену, — пусть знает, с кем имеет дело.

— Ну, конечно, я пошел сам, — смущенно пробормотал № 135, — конечно, сам, но ведь я не знал, что это такое. То есть я понимал, что мне придется страдать и терпеть, но думал, что это будет как-то иначе, возвышеней, что ли, а если умереть, так сразу, с радостью и блаженством. А не так, как сейчас, изо дня в день... Я думаю, что умереть — это прекрасно... Человек бьется... хрипит... Я видел, как умирал один у нас в Приюте, он бился и хрипал. Это было ужасно. Но не только ужасно. Я знаю, тут ничего нельзя изменить. Но я потом все время думал: как это хорошо — взять и умереть! И никто не может помешать. Раз уж человек умирает... Никто... Смерть — это уж такое дело, что нельзя помешать.

Я стоял и вертел в руках шприц.

— Мне кажется, он не совсем нормален, — тихо сказал я Риссену. — У здорового солдата не может быть такой реакции.

Риссен ничего не ответил.

— Значит, вы имеете дерзость перекладывать на других ответственность... — начал было я обличительным тоном, но, поймав взгляд Риссена, осекся. В его глазах мне почудилась холодная насмешка. Неужели он считал, что я веду все эти разговоры только для того, чтобы показать себя с лучшей стороны перед ним, Риссеном? Я даже покраснел. Но нужно было доказать фразу до конца, и я произнес уже куда более сдержанно: — ...за то, что вы выбрали профессию, которая, по вашим словам, вам не подходит?

№ 135, по-моему, не обратил внимания на мой тон, он услышал только самый вопрос.

— На других? — переспросил он. — Но если я не хочу... Хотя нет, тогда я хотел. Такое уж тогда было

новетрие — я сам потом часто думал, как же это произошло. Всюду только и слышно было: Служба жертв-добровольцев. Доклады, фильмы, разговоры — все только Служба жертв-добровольцев. Потом в первые годы я еще думал: да, это правда великое дело. И мы пошли и записались. Вы бы посмотрели тогда на моих товарищей. Как будто это были не люди из плоти и крови, а святые. Вы понимаете, лица... Как огонь... В первые годы я думал: мы пережили нечто такое, чего никому из обычных смертных не дано пережить, и вот теперь мы платим за это, но мы в силах, мы можем платить после того, как видели такое... Но теперь мы уже больше не в состоянии. Я не в состоянии... И это воспоминание уходит от меня все дальше и дальше, и я не могу его удержать. Раньше оно еще иногда возвращалось, само по себе, когда я о нем не думал, но теперь каждый раз, как я пытаюсь его вызвать, — а я должен его вызывать, иначе зачем вся моя жизнь! — так вот, когда я пытаюсь его вызвать, оно не приходит, оно прятается все дальше и дальше. Наверно, я сам погубил его тем, что вызывал слишком часто. Иногда я не сплю, лежу и думаю: а что, если бы у меня была обычная жизнь и я снова пережил бы это великое мгновение, или что-то другое прекрасное сопровождало бы меня всю жизнь, чтобы она снова обрела смысл, — словом, чтобы этот миг не остался где-то там, в прошлом? Вы поймите: человек не может весь остаток своих дней жить одним давно прошедшим мгновением. Ни один человек этого не вынесет. Но ведь все равно стыдно. Стыдно предать единственный стоящий миг жизни. Предать. Почему человек становится предателем? Я только хочу жить обычной жизнью, чтобы в ней был какой-то смысл. Я слишком долго молчал. Я больше не могу. Завтра я пойду и откажусь.

Державшее его напряжение как будто спало. Он заговорил снова:

— Как вы думаете, может быть, такое мгновение придет еще раз, перед смертью? Я бы хотел умереть. А как же иначе, когда от жизни уже ждать нечего. Когда человек говорит: «Я больше не могу», — это значит: «Не могу больше жить». Это не значит «не могу умереть», потому что умереть человек может, человек всегда в силах умереть — ведь тогда он получает то, что хочет.

Откинувшись на спинку кресла, он замолчал. По лицу его разлилась зеленоватая бледность. Тело начало слегка дрожать, и руки беспокойно задвигались по подлокотникам. Его, видно, мутило, но что поделаешь, ведь он получил двойную дозу. Я налил в стакан с водой успокоительных капель и протянул ему.

— Он сейчас придет в себя, — сказал я Риссену. — Когда действие препарата заканчивается, могут возникать некоторые неприятные ощущения, но они должны быстро пройти. В каком-то смысле самое неприятное у него еще впереди, когда он снова почувствует страх, да и стыд тоже. Посмотрите, мой шеф, по-моему, за ним стоит понаблюдать.

Но Риссен и так смотрел на человека в кресле, однако лицо у него было такое, словно это ему, а не испытуемому было стыдно. Сидящий перед нами человек являл собой весьма жалкое зрелище. На висках у него набухли жилы, а губы дрожали от ужаса — куда более сильного, чем тот, что он испытывал в начале эксперимента. Он крепко зажмурил веки, словно надеясь, что недавнее происшествие, ясно запечатлевшееся в его памяти, окажется просто дурным сном.

— Он все помнит? — тихо спросил Риссен.

— Боюсь, что да. Я сам еще не знаю, хорошо это или плохо.

С крайней неохотой испытуемый, наконец, приоткрыл глаза — ровно настолько, чтобы ему видно было, куда ступить. Так и не подняв головы, он встал и отошел в сторону, не смея взглянуть нам в лицо.

— Благодарю вас, — сказал я, садясь за стол. (На это полагалось ответить: «Я лишь исполнил свой долг», — но даже самый строгий формалист не стал бы требовать от испытуемого, только что прошедшего эксперимент, полного соблюдения этикета.) — Сейчас вы получите счет. Я выпишу вам по параграфу восьмому — неприятные ощущения умеренного характера, не сопровождающиеся телесными повреждениями. Правда, фактически у вас не было ни болей, ни плохого самочувствия, так что это скорее соответствовало бы параграфу третьему, но я учитываю, что вы... хм... как бы это сказать... потерпели некоторый моральный ущерб.

Он с отсутствующим видом взял бумагу и понедеялся к дверям. Там он вдруг остановился и, перешагнувши, заговорил:

— Позвольте мне сказать... я не понимаю, что со мной случилось. Как будто я сошел с ума и говорил совсем не то, что думаю. Никто не может любить свою работу больше, чем я, и, конечно, мне и в голову не пришло бы с ней расстаться. Я надеюсь еще доказать свою преданность, я готов вынести самые тяжелые испытания на благо Империи.

— Вам придется остаться на старой работе, по крайней мере до тех пор, пока не заживет рука, — ответил я. — Иначе вас едва ли возьмут на новое место. И потом — что вы, собственно, умеете? Да и не пристало человеку вашего возраста ни с того ни с сего менять профессию. Учтите, пожалуйста, что и состояние здоровья у вас не блестящее...

Я до сих пор еще помню, каким высокомерным тоном говорил тогда. Дело в том, что я почувствовал к своему первому испытуемому сильнейшую неприязнь. Причины были более чем достаточно: его трусость и эгоистическая безответственность, причем и то и другое он пытался скрыть под маской отваги и жертвенности, так как отлично понимал, что мы хотим видеть в нем именно эти черты.

Да, указания Седьмой канцелярии прочно запечатились в моем сознании! Я сам видел, сколь отвратительна тщательно скрываемая трусость, — она даже хуже, чем тайная скорбь. Но у моей враждебности была и другая причина, о которой я сам догадался лишь много позднее: зависть. Этот недостойный человек говорил о прекрасном, священном мгновении, пусть давно прошедшем, но все же... Я завидовал тому высокому иорыву, что когда-то привел его в Департамент пропаганды, где собирали будущих жертв-добровольцев. Может быть, одно такое мгновение утолило бы сжигавшую меня жажду, с которой я напрасно боролся, пытаясь постигнуть внутренний мир Линды? Видимо, тогда я еще не додумал всего этого до конца, но у меня было ощущение, что передо мной человек, облагодетельствованный судьбой и не ценящий этого. Это и раздражало меня больше всего.

Между тем Риссен повел себя очень странно. Он подошел к испытуемому, положил руку ему на плечо и заговорил так мягко, словно перед ним был не взрослый мужчина, а ребенок:

— Пожалуйста, ничего не бойтесь. Все, что здесь

произошло, останется между нами. Считайте, что вы вообще ничего не говорили.

Испытуемый смущенно взглянул на него, быстро отвернулся и выскоцил в коридор. Я хорошо понимал его замешательство. Будь у него больше гордости, он бы просто плонул в лицо начальнику, который так фамильярно обращается с подчиненными. И кто станет ценить такого шефа, кто станет его слушаться? Тот, кого никто не боится, не может вызвать уважения, потому что уважение строится на признании силы, власти, могущества, а сила, власть и могущество всегда опасны для окружающих.

Мы снова очутились вдвоем, и в комнате наступила тишина. Я не любил этих перерывов, которые вечно устраивал Риссен. Не работа, не отдых, а так, неизвестно что.

— Я понимаю, о чем вы думаете, мой шеф, — сказал я наконец. — Вы думаете, что все это еще ничего не значит. Что я мог заранее подучить его. Ведь все эти высказывания, разумеется, компрометируют его, но криминала здесь нет. Ну что, угадал я?

— Нет, — отозвался Риссен, словно очнувшись, — нет, я так не думаю. Он, безусловно, говорил то, что у него на душе, но что он обычно скрывает. Я не сомневаюсь, что с начала до конца он говорил искренне, и стыд его тоже был вполне искренний.

И хоть такая доверчивость была мне на руку, в душе я все-таки рассердился. Это же просто недопустимое легкомыслие! Ведь № 135, у которого, как у всякого солдата в нашей Империи, с детских лет воспитывали строжайшее самообладание и выдержку, мог просто-напросто разыграть спектакль. Но я удержался от замечаний и только спросил:

— Может быть, вы разрешите продолжить?

Но этот странный человек, казалось, меня не слышал.

— Любопытное открытие, — сказал он задумчиво. — Как это вам пришло в голову?

— Я основывался на том, что было сделано до меня. Препарат, оказывающий подобное же действие, был получен еще пять лет назад, но он обладал сильной токсичностью. Все без исключения испытуемые после первого же раза оказывались в психиатрической лечебнице. В конце концов туда попало столько народа, что автору сделали строгое предупреждение, на том все дело и за-

глохло. Но мне удалось нейтрализовать ядовитые компоненты. Сказать по правде, я с нетерпением жду результатов проверки...

И как бы мимоходом я добавил:

— Я надеюсь, препаратуре будет дано название «каллокайн», по моей фамилии...

— Разумеется, разумеется, — равнодушно отозвался Риссен. — А вы представляете, какую большую роль может сыграть ваше открытие?

— Думаю, что да. Как говорится, где нужда велика, там и помочь близка. Вы же знаете, что суды завалены ложными показаниями. Не проходит буквально ни одного процесса, чтобы свидетели не противоречили друг другу; и, заметьте, дело тут не в ошибках или небрежностях, а в чем — я и сам не знаю.

— А разве так уж трудно... — тут Риссен постучал кончиками пальцев по столу, эта его манера всегда действовала мне на нервы, — разве так уж трудно понять, в чем тут дело? Позвольте задать вам вопрос — можете не отвечать, если не хотите: считаете ли вы, что лжесвидетельство всегда и при всех обстоятельствах зло?

— Конечно, нет, — ответил я раздраженно. — Нет, если того требуют интересы Империи. Но я имел в виду рядовые судебные процессы, где решаются мелкие житейские дела.

— Но вы только подумайте, — возразил Риссен с хитрым видом, — вы представьте себе: разве не в интересах Империи осудить негодяя, хотя он, может быть, и не совершил того, в чем его обвиняют? Разве не в интересах Империи осудить моего вредного, испорченного, глубоко несимпатичного недруга, даже если он и не нарушал закона? Он-то сам, обвиняемый, конечно, будет требовать детального расследования, но с какой стати столько возиться с какой-то отдельной личностью?..

Я не совсем понимал, куда он клонит, и на всякий случай поспешил нажать кнопку звонка, вызывая следующего испытуемого. Это оказалась женщина, и, делая ей укол, я сказал Риссену:

— Как бы то ни было, с этими лжесвидетельствами творится черт знает что, и в большинстве случаев они вовсе не на пользу Империи. Но мое открытие разрешит эту проблему. Можно даже не проверять показания свидетелей, ведь сам преступник запросто сознается после укола. Все мы знаем, что такое допрос третьей степени...

Только поймите меня правильно, я не собираюсь критиковать эти методы, ведь до последнего времени других не было, а преступников нужно разоблачать, и ни один человек с чистой совестью не станет их жалеть...

— Послушать вас, так ваша совесть ничем не запятнана, — сухо отозвался Риссен. — Боюсь, что это самообман. Мой опыт подсказывает мне, что ни один подданный старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью. Ну, в юности другое дело, некоторые, может быть... Впрочем, вам ведь еще нет сорока?

— Еще нет, — ответил я, стараясь говорить как можно спокойнее. К счастью, я стоял в это время спиной к Риссену, так что мне не нужно было смотреть ему в лицо. Я был возмущен, и даже не вынуждами против меня лично, а вообще его взглядами. Ничего себе картины он нарисовал — у всех подданных Империи зрелого возраста нечистая совесть! Я улавливал в его словах нападки на самые дорогие мне святыни.

Должно быть, по моему тону он понял, что зашел слишком далеко. Мы продолжали работать молча и лишь изредка обменивались замечаниями по ходу дела.

Остальных испытуемых, прошедших передо мной в тот день, я могу вспомнить лишь в самых общих чертах. Естественно, что первый запомнился мне ярче всего, но, нужно сказать, я так и не получил уверенности в том, что мой препарат всегда и во всех случаях действует достаточно эффективно. Может быть, я просто не мог целиком отдаваться работе: чувство негодования по отношению к Риссену, отнимавшее у меня много душевных сил, мешало целиком сосредоточиться на эксперименте. Потому-то мне и не запомнились детали, и я постараюсь передать лишь общие впечатления.

До обеда мы приняли семь человек, один никуды не другого. После этого я почувствовал себя совершившим разбитым. С презрением и ужасом глядя на них, я спрашивал себя: неужели в Службе жертв-добровольцев собрались одни подонки? Нет, невероятно! Такую профессию мог выбрать лишь человек решительный, мужественный, готовый к самоножертвованию и бескорыстный. Я честно отмечал мысль о том, что это работа наложила на них такой отпечаток. Но так или иначе их внутренний мир производил весьма удручающее впечатление.

№ 135 был трусом и скрывал свою трусость. Но у не-

го хоть было одно достоинство: через всю жизнь он стремился пронести память о давно прошедшем, великом и святом мгновении. Другие оказались гораздо хуже. От них я не слышал ничего, кроме жалоб — и не только на свою профессию, раны, болезни, вечный страх, то есть на все то, что они выбрали сами, но и на всякие пустяки — жесткие постели в Приюте, ухудшение питания (значит, они тоже это заметили!), небрежности, допускаемые врачами и сестрами. Может быть, и в их жизни некогда было великое мгновение, только сейчас они его прочно забыли. Думаю, что они не приложили таких усилий, как № 135, пытавшийся сохранить память о нем на всю жизнь. Да, сколь ни жалок был № 135, когда я получил возможность сравнить его с другими, он показался мне чуть ли не героем. У других подопытных, кроме того, оказались черты, которые вызвали у меня попросту отвращение и ужас, — непонятные чудачества, жуткие фантазии, безмерная, хотя, как видно, тщательно скрываемая распущенность. Среди испытуемых оказались и женатые, которые жили не в Приюте, а дома; и смешно, и стыдно было выслушивать подробности их брачных отношений. Короче говоря, теперь мне ничего не стоило усомниться в достоинствах сотрудников Службы жертв-добровольцев, а то и всех вообще подданных Мироной Империи или человеческого рода в целом. И каждому из тех, кто проходил через наш кабинет, Риссен торжественно обещал, что все его признания будут сохраняться в строжайшей тайне. Меня при этом буквально передергивало.

Особенно тяжелое впечатление произвел на меня последний испытуемый — старик, который плел что-то насчет убийства на почве полового извращения, хотя я был уверен, что не только самого этого убийства он не совершил, но даже подходящего случая ему не могло представиться. После этого я уже больше не мог сдерживаться и, чтобы дать какой-то выход своим чувствам, обратился к Риссену с извинениями за моих подопытных.

— Вы что, действительно считаете их подонками? — тихо спросил он вместо ответа.

— Конечно, не каждый из них потенциальный убийца или извращенец. Но посмотрите на их общее убожество, это же сверх всяких допустимых пределов, сверх всего, что возможно и дозволено...

Согласись он — и мне стало бы легче, и мучившее

меня чувство неловкости, наверно, если и не исчезло бы совсем, то хотя бы уменьшилось. Но он и не думал соглашаться, и от этого мне стало совсем скверно. Тем не менее мы продолжали разговаривать — даже по дороге в столовую.

— Дозволено... гм... дозволено, — повторил Риссен. Но тут мысли его перескочили на другое. — Будьте довольны, что нам не попались святые и герои дозволенного образца. Боюсь, что они бы меня не убедили. И заметьте — при всем том ни одного настоящего преступника!

— Да, но последний-то, последний! Верно, он не совершил преступления и вряд ли когда совершил — ведь он уже старик, и в Приюте за ними, конечно, достаточно хорошо следят. Я уверен, что все это одни фантазии, но если бы он был молод и мог претворить их в жизнь! Вот в таких случаях и нужен мой каллокайн. Сами знаете, иной раз и оглянуться не успеешь, как случится беда. Каллокайн поможет предотвратить многие несчастья.

— Да, если проверять именно тех, кого следует. Но как их угадать? Не собираетесь же вы подвергать испытанию всех подряд?

— Вот именно всех подряд! А почему бы и нет? Конечно, пока это только мечта, но разве она неосуществима? Я предвижу то время, когда при назначении на любую должность проверка каллокайном будет таким же обычным делом, как сейчас применение тестов. Ведь таким образом можно выявить не только пригодность к той или иной профессии, но и характер человека. Я даже подумал сейчас: а не ввести ли обязательную ежегодную проверку для всех?..

— Да, у вас большие планы, — прервал меня Риссен. — Но для их осуществления потребуется огромный аппарат.

— Вы правы, мой шеф, конечно, тут будет нужен огромный аппарат, — пожалуй, даже специальное учреждение с колоссальным штатом. Но для этого необходимо прежде всего увеличить население. Вот уж сколько лет ведется пропаганда, а результатов не видно. Боюсь, что только новая большая война может нам помочь.

Риссен покачал головой.

— Это совсем не обязательно, — сказал он. — Если окажется, что ваш проект необходимо осуществить, что это

единственное средство, которое может внести успокоение в высшие сферы, — будьте уверены, соответствующее учреждение тут же появится. Урежут наши жизненные блага, продлят рабочий день, но это учреждение будет функционировать, и великолепное чувство полной и абсолютной безопасности возместит нам все, что мы потеряли.

Я так и не понял, всерьез это было сказано или нет. Увы, я сам подавил печальный вздох при мысли о вновь урезанных жизненных благах (такое уж неблагодарное существо человек — жаждет наслаждений и равнодушен ко всему, что лично его не касается). С другой стороны, мне весьма льстила мысль о том, что каллокайн суждено сыграть столь большую роль. Но прежде чем я успел сбраться с мыслями, Риссен добавил уже другим тоном:

— Но ясно одно — тогда мы расправимся с последними остатками личной жизни.

— Ну и что? — возразил я. — Зато каллокайн завоюет области, извечно служившую прибежищем антисоциальных тенденций. А это означает, что великая общность, великая связь, наконец, проявится во всей своей полноте.

— «Общность, связь»... — повторил он медленно и как бы сомневаясь в чем-то.

Я не успел ответить. Мы стояли у дверей столовой, откуда каждый должен был идти на свое место. Задержаться и договорить мы не могли — во-первых, это вызвало бы удивление, во-вторых, мы бы просто не устояли посреди огромного потока людей, стремившихся к обеденным столам. Но чем больше я потом размышлял над всем этим, тем больше раздражал меня его неуверенный, сомневающийся тон. Ведь не свои же выдумки я преподносил ему — все то, что я говорил относительно общности, он должен был прекрасно знать сам. Каждому с детства была известна разница между низшими, простейшими формами жизни, как, например, одноклеточные животные и растения, и высшими, развитыми и сложными, как человеческое тело во всем единстве и многообразии его функций. Каждому было известно также, что нечто подобное имеет место и в социальной жизни. Риссену следовало бы, кроме того, понять, что каллокайн явился как бы новым и необходимым звеном в цепи этого развития, ибо он открывал великой общности путь во внутренний мир, который до сих пор каждый человек оберегал как свою собственность. Так вот,

неужели Риссен действительно не видел этого или просто не хотел видеть?

Я отыскал его глазами. Он сидел, как всегда, ссутлившиесь, и с рассеянным видом зачерпывал ложкой суп. Все-таки он вызывал у меня какую-то неясную тревогу. Мало того, что он не похож был на других, во всех его чудачествах я инстинктивно чувствовал какую-то опасность. Я сам еще не понимал, в чем она состоит, но это ощущение заставляло меня особенно внимательно относиться ко всем его словам и поступкам.

После обеда я собирался продолжить эксперимент уже на новой, усложненной стадии. Собственно, задумал я это в расчете на инспектора менее покладистого, чем Риссен, но, пожалуй, в любом случае основательная проверка была необходима. Ведь о результатах моих опытов узнает не один только инспектор: если они окажутся удачными, их будут обсуждать в других Городах Химиков; о них, возможно, заговорят и столичные юристы. От испытуемых, которых я запрашивал на сей раз, не требовалось ни крепкого здоровья, ни молодости — нужна была только психическая полноценность. Зато я поставил еще одно условие, чрезвычайно редко предъявляемое к сотрудникам Службы жертв-добровольцев, — они должны были иметь семью.

Чтобы получить разрешение на этот новый эксперимент, нам пришлось звонить в полицию. Мы имели право распоряжаться телом и душой каждого из тех, кто работал в Службе жертв-добровольцев, но над их женами и мужьями мы не имели никакой власти, и чтобы привлечь их к эксперименту, требовалось специальное разрешение начальника полиции. Сперва он не хотел идти нам навстречу, так как не мог понять, зачем понадобились еще какие-то испытуемые, помимо профессионалов, но когда мы убедили его, что нашим подопытным не грозит ничего, кроме легкого недомогания, да, может быть, испуга, он согласился. Нам только велено было вечером зайти к нему лично, чтобы в спокойной обстановке объяснить все подробно.

Я вызвал к себе одновременно всех десятерых испытуемых. Мне нужно было занести в картотеку не только их номера, но и имена, и адреса, которые в удостоверениях обычно не значились. Это вызвало у них некоторое замешательство, но я поспешил успокоить их, объяснив, что нам требуется.

Придя домой, они должны вести себя так, словно их что-то встревожило или напугало, или же — на выбор, кому что подойдет, — держаться неестественно бодро и намекать на благоприятные перемены в будущем. В ответ на расспросы близких следует доверительным тоном сообщить, что некто предложил большие деньги в обмен на шпионские сведения. Скажем, какой-то человек подсел в подземке и пропшел на ухо, что ничего неожиданного неожиданно произошло. Вот и все. Потом только ждать, разумеется, ни словом не обмолвившись о том, что все это связано с каким-то экспериментом.

После работы мы отправились в управление полиции, захватив с собой доставленные с курьером пропуска и прошение за подпись главного руководителя лабораторий. Это был вечер военно-полицейской службы, и мне с большим трудом удалось освободиться при условии, что в следующий раз у меня будет двойная нагрузка. Нас очень радовала возможность повидаться с начальником полиции — без его помощи мы никак не могли обойтись. Не так легко оказалось перетянуть его на нашу сторону — и не потому, что он не понимал сути дела, а потому, что в тот момент находился в дурном настроении и ко всему на свете склонен был относиться подозрительно. Впрочем, его скептицизм произвел на меня куда более благоприятное впечатление, чем риссеновское легковерие. Когда, наконец, мы убедили его, у меня было такое чувство, словно мне удалось открыть долго не поддававшуюся дверь — и не с помощью отмычки, не взламывая замок, а тщательно подобрав ключ. Дело в том, что мы хотели заполучить тех лиц, кому мужья и жены — наши штатные испытуемые — должны были рассказать о своем мнимом проступке. Все, кому доверялась эта тайна, сами становились соучастниками преступления, и их на вполне законном основании можно было арестовать. Как именно это сделают, нас не интересовало, мы хотели только, чтобы их доставили к нам. Посвятит ли начальник полиции в суть дела кого-нибудь из своих сотрудников, нас тоже не касалось. Важно было одно — чтобы члены семей наших испытуемых прошли проверку каллокайном. Все это мы объяснили ему и добавили, что если он хочет, то может сам познакомиться с результатами и убедиться, что люди ничуть не пострада-

дают от наших опытов и что мы не собираемся без нужды губить человеческий материал. Окажет ли он нам честь тем, что придет лично или пришлет кого-то из подчиненных, мы в любом случае будем очень рады. Это последнее замечание несколько смягчило его дурное настроение; причем, как я мог заметить, интерес к моему открытию он проявил уже раньше. Итак, нам все-таки удалось получить его официальное разрешение. Когда он наконец четким, размашистым почерком написал внизу свое имя — «Вай Каррек», мы еще предупредили его, что, вероятно, не все из супружеских захотят скрывать проступки своих близких и сообщат о них куда следует — пусть в полиции будут готовы к этому. Тех же, кто умолчит, мы попросили доставить к нам как можно скорее (список испытуемых с адресами уже лежал на столе у Каррека). После этого, усталые, но удовлетворенные, мы отправились по домам.

Когда я вошел в квартиру, Линда уже спала. На ночном столике меня ожидало извещение по поводу военно-полицейской службы. Теперь на нее отводилось не четыре, а пять вечеров в неделю. Соответственно сокращалось число семейных вечеров — отныне мы могли располагать только одним. Вечер докладов и торжества сохранялся — это было необходимо не только для отдыха и в целях воспитания, но имело и другое значение — где еще могли бы юноши и девушки, уже покинувшие Унгдомслэгер, знакомиться и влюбляться? Мы с Линдой тоже когда-то встречались на таких вечерах. В общем, это извещение (Линде было адресовано точно такое же) подтверждало мои прежние наблюдения.

Я уже знал по опыту, что все на свете делалось за счет семейных вечеров и могло пройти много времени, прежде чем у меня, наконец, выдастся свободный час. И так как было еще не слишком поздно, и я чувствовал себя не таким измученным, как после военной службы, я решил заняться делом, не терпящим отлагательства, — написать свое выступление для радио.

«Я, Лео Калль, проживающий в Четвертом Городе Химиков, сотрудник экспериментального отдела лаборатории по изучению органических ядов и наркотических средств, хочу выступить с показанием.

19 апреля с. г. на прощальном вечере в Унгдомслэгер в честь вновь мобилизованных на работу я допустил гру-

бую ошибку. Основываясь на неправильном понимании сострадания как жалости по отношению к отдельной личности и на неверном толковании героизма, который был мною поставлен в связь не со светлыми и радостными, а с мрачными и трагическими явлениями жизни, я произнес следующую речь. (Тут надо было воспроизвести мое выступление, причем слегка ироническим тоном.) По этому поводу Седьмая канцелярия Департамента пропаганды направила мне письмо... (Далее шел текст письма. Его было особенно важно прочитать по радио — пусть послужит предупреждением всем тем, кто мыслит так же, как я раньше.) Я сожалею о том, что совершил эту ошибку, и целиком и полностью признаю правоту Седьмой канцелярии, убедительно разъяснившей пагубность моих заблуждений. Считаю необходимым добавить, что в дальнейшем всегда буду руководствоваться полученными указаниями».

Утром я попросил Линду просмотреть письмо. На сей раз она осталась довольна и сказала, что тон письма именно такой, как надо, без потаенной иронии и неуместной гордьи. Осталось только переписать его начисто, послать на радио и потом где-то в конце длинной очереди дожидаться, пока мне отведут время в программе «Час покаяний».

Ситуация принимала весьма неприятный оборот. Когда мы с самого утра позвонили в полицию, оказалось, что девять человек из десяти уже прислали доносы на своих мужей и жен. С десятым пока было неясно. Во всяком случае, ордер на арест уже подготовили, и не исключено было, что через два-три часа мы получим первого испытуемого.

Итак, хорошего мало. То есть я, конечно, должен признать, что был даже слегка удивлен и той преданностью Империи и той оперативностью, которую проявили эти девять человек, — само собой, тут можно было бы только радоваться, если бы... если бы все это не вредило эксперименту. Опыт необходимо было повторить. Требовалось хотя бы несколько раз получить бесспорный результат: только в этом случае каллокайн можно было передать в пользование Империи.

Мы снова запросили из Службы жертв-добровольцев группу в десять человек — женатых и замужних. Когда

они явились, я повторил перед ними свою вчерашнюю речь. Все шло как вчера, с той только разницей, что эти новые испытуемые производили еще более жалкое впечатление, чем прежние. Двое притащились на костылях, а у одного вся голова была забинтована. Правда, для моих опытов это не имело значения, но в принципе никуда не годилось.

Вообще недостаток испытуемых в последнее время ощущался все сильнее и сильнее. Конечно, с годами их здоровье портилось, и они выбывали из игры, это я понимал, но что-то же нужно было предпринимать. И как только все мои подопытные ушли, меня буквально прорвало:

— Это же форменный скандал! Скоро пам вообще не с кем будет работать. Придется, паверно, экспериментировать с умирающими и душевнобольными. По-моему, властям давно пора провести кампанию по привлечению новых жертв-добровольцев.

— Никто вам не мешает подать прошение, — отозвался Риссен, пожав плечами.

Действительно, это была хорошая мысль. Правда, никто не обратит внимания на жалобу какого-то одиночки, но можно собрать подписи сотрудников всех лабораторий, где ощущается нехватка жертв-добровольцев. Я решил, что в первый же вечер, когда у меня будут силы, — в крайнем случае, даже в свой свободный вечер, — я напишу такое обращение, а потом разошлю конин в разные учреждения. Я не сомневался, что в варках подобную инициативу могут только одобрить.

Пока мы сидели в ожидании, Риссен принялся расспрашивать меня о свойствах каллокайна и подобных ему препаратов. В своем деле он разбирался хорошо, этого у него нельзя было отнять. Мои объяснения как будто удовлетворили его, но я сам, говоря откровенно, был несколько удивлен. Зачем, собственно, эти расспросы? Может быть, ему хотелось выяснить, гожусь ли я для другой, более ответственной должности? Сам я в глубине души в этом не сомневался, но, с другой стороны... С другой стороны, Риссен паверника должен был инстинктивно чувствовать мое недоверие и отвечать мне тем же. Его дружелюбие я встречал весьма сдержанно. Кто знает, что ему от меня в действительности нужно. Я не хотел тешить себя ложными надеждами.

Через два часа в пашу комнату вошел ни больше

ни меньше как сам начальник полиции Кэррек. Разумеется, это было большой честью для всей лаборатории, а особенно для меня, — еще бы, такой могущественный человек заинтересовался нашим экспериментом! Со слегка иронической улыбкой — наверно, ему самому было неловко так открыто проявлять любопытство — он уселился на предложенный мною стул. Тут же ввели арестованную. Это оказалась еще молодая женщина, невысокая и хрупкая на вид. Она была очень бледна, то ли от природы, то ли просто от волнения.

— Вы обращались в полицию? — спросил я на всякий случай.

— Нет, — ответила она удивленно. Мне показалось, что кожа ее лица не то чтобы побледнела — больше побледнеть было уже просто невозможно, — а стала совсем прозрачной.

— И вам не в чем признаться? — спросил Риссен.

— Нет! — теперь ее голос звучал спокойно и безразлично.

— Вы обвиняетесь в преступлении перед Империей, — сказал я. — Вспомните хорошоенько: никто из ваших близких не упоминал при вас о каких-либо противозаконных действиях?

— Нет, — ответила она уверенно.

Я почувствовал облегчение. То ли из-за преступности своей натуры, то ли из чистого недоразумению она своевременно не обратилась в полицию и теперь, конечно, не смела в этом признаться. Скорее всего ей было страшно. При обычных условиях эта женщина со своей прямой осанкой и плотно сжатыми губами, наверно, производила бы впечатление человека смелого и энергичного, но сейчас вид у нее был упрямый и вызывающий. Я с трудом удержался от улыбки, когда представил себе, как она обманывается, скрывая свою драгоценную тайну, и как легко мы сейчас узнаем эту тайну — мы, отлично понимающие, чего она стоит. Больше того — сколько она пережила, пока ее в наручниках и с кляпом во рту, как всякого имперского преступника, везли с огромной скоростью в запломбированном вагоне по самой нижней — военной и полицейской — линии подземки, а из-за чего эти переживания? Но я так и не улыбнулся. Пусть историю со шпионажем мы выдумали, пусть даже наше расследование было сплошной комедией, эта женщина — по небрежности или по злому умыслу — совер-

шила преступление. И это было главным во всей истории.

Между тем она, казалось, близка была к обмороку. Должно быть, моя невинная лаборатория представлялась ей чем-то вроде камеры пыток. Риссен дал ей успокаивающее, я сделала укол, и мы трое — Риссен, Каррек и я — стали ждать.

От этой хрупкой, испуганной женщины, у которой не было профессиональной подготовки жертв-добровольцев, мы вполне могли бы ожидать такой же бурной реакции, какую проявил № 135, мой самый первый испытуемый. Но вышло совсем иначе. Ее счастлившее, худое, с острыми скулами лицо медленно, очень медленно, стало проясняться, и на нем появилось выражение какой-то детской чистоты. Морщины на лбу разгладились. По губам пробежала неуверенная улыбка. Потом она резко выпрямилась на стуле, широко открыла глаза и глубоко вздохнула. Мы напряженно ждали ее первых слов, но она по-прежнему молчала. Я уже начал сомневаться, подействовал ли препарат, но тут она, наконец, заговорила. В голосе ее звучало одновременно облегчение и изумление.

— Ничего не нужно бояться. Наверно, он тоже это знал. Ни боли, ни смерти. Ничего. Почему я тогда этого не сказала? Я теперь понимаю, что, когда вчера вечером он говорил со мной, он уже знал это. Я никогда этого не забуду. Того, что он посмел. Я бы никогда не смогла. Но я буду всю жизнь гордиться тем, что он ренился, и всю жизнь я буду ему благодарна. Теперь мне есть для чего жить — я должна когда-нибудь отплатить ему тем же.

— На что он решился? — прервал я, торопясь скрыть добраться до сути дела.

— Рассказать мне. Я бы никогда не посмела.

— Что же он рассказал?

— Ах, да это неважно. Просто чепуха. У него прошли какие-то схемы или чертежи и обещали за это заплатить. Он, правда, ничего еще не передал. Говорил, что только собирается, но вот этого я не понимаю. Я бы так никогда не сделала. А то, что он доверился мне... Я тоже теперь буду всем с ним делиться. Мы поймем друг друга. Мы будем все делать вместе. С ним мне нечего бояться. Он ведь не побоялся меня!

— Вы сказали «схемы или чертежи»? Но разве вам не известно, что снимать какие бы то ни было чертежи категорически запрещено, что это рассматривается как преступление против Империи?

— Да, конечно, известно, я ведь и говорю, что в этом смысле я его не понимаю, — ответила она нетерпеливо. — Но теперь мы поймем друг друга. Нам легко будет вместе. Вы представьте себе только — я его боялась. А он меня — нет. Раз он смог заговорить со мной об этом! У него нет никаких причин бояться меня. И никогда не будет. Никогда. Я понимаю, что это я...

— Итак, — снова перебил я, — он договаривался с кем-то о передаче схем. Что это были за схемы?

— Да лабораторий, — отозвалась она равнодушно. — Но я понимаю, что тут...

— А вы не знали, что это карается как преступление против Империи? И что, скрывая его действия, вы сами становитесь преступницей?

— Да, да, знала. Но ведь не это главное.

— Вам известно что-нибудь о человеке, который интересовался схемами?

— Я спрашивала, но он сам толком не знал. Этот тип подсек к нему в подземке. Он пообещал вернуться, но не сказал когда. И сказал, что заплатит, если получит эти схемы. Но раньше мы должны были...

— Достаточно, — сказал я, обращаясь наполовину к Риссену, наполовину к Карреку. — Она сказала все, что должен был передать ей муж. Остальное несущественно.

— Да, это действительно интересно, — отозвался Каррек. — Чрезвычайно интересно. Неужели такое простое средство вызывает людей на откровенность? Но вы уж простите меня, я по натуре скептик. Конечно, я целиком и полностью полагаюсь на вашу честность и добросовестность, но мне бы все-таки хотелось попробовать еще за каким-нибудь экспериментом. Пожалуйста, поймите меня правильно. Думаю, вам не надо объяснять, как все это важно для полиции.

Разумеется, мы с величайшей радостью согласились позвать его снова. Одновременно я подсунул ему запрос на новую группу жертв-добровольцев. «Может быть, на этот раз нам повезет, и испытуемых окажется больше», — подумал я, но тут же меня охватил панический страх. Ведь мысль, только что пришедшая мне в голову,

была, по сути, ужасна — я невольно пожелал, чтобы в нашей Империи оказались предатели. В моей памяти всплыли вчерашние слова Риссена о том, что ни один из подданных старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью. И впенанно во мне вспыхнула пенависть к Риссену, словно он внушил мне антиимперские мысли. И правда, если бы не эта его фраза, я бы никогда не подумал о противоречии между моим желанием и интересами Империи.

Между тем женщина вздрогнула и застонала. Риссен протянул ей стакан воды.

Внезапно она с криком вскочила и, вся изогнувшись, прижал ладони ко рту, громко зарыдала. Действие каллокана прекратилось, она пришла в себя и осознала все, что произошло. Зрелище было не из приятных, но я почувствовал какое-то удовлетворение. Когда она только что сидела тут, по-детски беззаботная, я тоже против воли начал дышать как-то глубже и равномернее. От нее исходило спокойствие, какое бывает во сне и какого я сам не испытывал уже давно. Она стала такой, потому что поверила в другого человека, в своего мужа, а ведь он предал ее, предал с самого начала, так же, как она, сама того не ведая, сейчас предала его. И недавнее спокойствие и теперешний ее ужас — все было обманом, таким же, как мнимое преступление ее мужа. Я вспомнил о миражах — о пальмах, оазисах, родниках, которые возникают перед людьми, заблудившимися в пустыне. Бывает, что несчастные падают на землю, лизнут корку солончака, думая, что пьют из ручья, и в конце концов когибают. Нечто подобное случилось и с ней. Но она сама виновата. Ее история — пример того, как губительно черпать из источника индивидуалистических настроений.

Тут мне пришло в голову, что следует сказать всю правду. Не для того, чтобы унять ее дикий страх, а для того, чтобы показать цену мужнипого доверия.

— Успокойтесь, — сказал я. — Вам нечего волноваться за мужа. И слушайте меня внимательно. На самом деле он никогда не встречал этого типа. Он ни в чем не виноват. Всю эту историю он рассказал вам по нашему поручению. Это был эксперимент — эксперимент над вами.

Она смотрела на меня и, казалось, ничего не понимала.

— Вся эта история со шпионажем выдумана, — повторил я и даже улыбнулся, хотя, конечно, улыбаться тут было нечему. — Вы говорили о доверии — в действительности никакого доверия не было. Ваш муж действовал по нашему приказу.

Кажется, она снова была близка к обмороку. Но в следующую же минуту овладела собой и выпрямилась. Мне больше нечего было сказать ей, но я не мог отвести от нее глаз. Невысокая и хрупкая, она неподвижно стояла посреди комнаты, вся напрягшись и словно окаменев, — какой контраст с недавней счастливой уверенностью! Сейчас она вызывала во мне только сострадание. Я знаю, это было постыдной слабостью, но я больше не мог. Я забыл о начальнике полиции, о Риссене. Меня всего захлестнуло какое-то непонятное чувство, мне хотелось сказать ей, что и я испытывал нечто подобное, что и мне бывало тяжело... К счастью, голос Каррека вывел меня из забытья.

— Я считаю, что эту женщину следует оставить под стражей, — сказал он. — Хотя сама история со шпионажем — фикция, ее участие вполне реально. Правда, есть тут одна загвоздка — мы не можем так сразу вынести ей приговор. Надо все это оформить по закону.

— Но это невозможно! — воскликнул Риссен. — Во первых, это эксперимент; во вторых, все это касается наших служащих — вернее, членов их семей...

— Ах, да неужели это так важно? — возразил Каррек со смехом.

Но в данном случае я решительно встал на сторону Риссена.

— Даже если мы уволим ее мужа и устроим его на другую работу, — а это ведь не так легко при его здоровье, — даже в этом случае история может выйти наружу, — сказал я. — И это, конечно, едва ли будет способствовать увеличению числа жертв-добровольцев. А ведь их и сейчас уже не хватает! Очень прошу вас в интересах дела освободить ее.

— Вы преувеличиваете, — ответил Каррек. — История вовсе не обязательно должна выйти наружу. И зачем переводить ее мужа на другую работу? С ним вполне может произойти несчастный случай по дороге домой.

— О нет, нет, надеюсь, вы не лишите нас одного из испытуемых, вы ведь знаете, как их мало и как они

для нас ценные. Что касается женщины, то, я думаю, впредь она уже не будет такой легковерной. К тому же, — добавил я, пораженный внезапно пришедшей мне в голову мыслью, — ее арест будет означать, что применение каллокайна уже узаконено, а на это вы и сами еще не можете дать согласия.

— Ничего не скажешь, вы умеете убеждать. Ну ладно, в интересах дела отпущу ее. Сейчас мне нужно идти, — тут он взглянул на часы, — но я еще зайду к вам.

Он вышел, и с женщины сняли наручники. Я почувствовал облегчение оттого, что и с опытом и с ней самой все обошлось благополучно. Но, выходя из комнаты, она двигалась как лунатик, и я снова опустил приступ страха: а вдруг я все-таки допустил ошибку и мой каллокайн, как многие препараты этого типа, оказывает вредное побочное действие, пусть даже не всегда, а только на особо чувствительную первую систему? Но, как выяснилось потом, я волновался напрасно. Ее муж немного погодя сообщил мне, что жена чувствует себя нормально, только стала несколько более замкнутой. Впрочем, по его словам, она всегда была нелюдимой.

Когда мы снова остались одни, Риссен сказал:

— Вот вам и связь другого типа.

— Связь? — удивился я. — О чём это вы?

— Да об этой самой женщине.

— Ах вот что, — сказал я, еще более удивленный. — Но ведь такого рода связь существовала еще в каменном веке! В наши дни это перекиток, и притом вредный. Разве не так?

— Хм, — только и мог ответить он.

— Ведь эта история — наглядный пример того, куда заводят отдельных лиц слишком сильная тяга друг к другу, — настаивал я. — В таких случаях ослабевают самые основные узы — узы, связывающие нас с Империей!

— Хм, — снова произнес он. И добавил через минуту: — А знаете, не так уж плохо, наверно, было в каменном веке.

— Ну разумеется, это дело вкуса. Если кто-то предпочитает прекрасно организованной, основанной на взаимопомощи Империи извечную борьбу всех против всех... А вообще-то любопытно представить себе, что среди нас еще бродят неандертальцы.

Я, конечно, имел в виду Риссена, но мне самому стало страшно, когда я так сказал, и я добавил:

— Я говорю об этой самой женщине.

По-моему, он отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Я прикусил губу — подумать только, что иной раз может вырваться у тебя даже и без всякого каллокайна!

Когда я вернулся домой, вахтер сообщил, что днем ему звонила какая-то женщина. Она просила разовый пропуск для выхода на поверхность — якобы специально для того, чтобы увидеться со мной. Он назвал имя — Кадидья Каппори, но оно ничего мне не говорило. Странно! Чего она хотела, вахтер толком не понял, но уверял, что ясно слышал слово «развод». Это звучало совсем уж таинственно, и в конце концов меня разобрало такое любопытство, что, забыв всякую осторожность, я написал на листке бумаги «согласен» и назначил время. Вахтер приписал внизу, что осведомлен о приглашении и обязуется проконтролировать время визита. Оставалось только послать бумагу в районный контрольный пункт, чтобы там выписали пропуск.

Дома мы с Линдой торопливо поели и отправились на военную службу. В последние дни она отнимала все большие и большие времена. Я страшно уставал, тем более что домой приходилось иногда возвращаться глубокой ночью. Хорошо хоть я довел до конца все, что связано было с моим открытием. Сейчас я бы нипочем с этим не справился — сказывалось напряжение и усталость последних дней. В сущности, оставалось лишь окончательно проверить действие препарата на практике, а это уж был только вопрос времени. Надо сказать, что присутствие Риссена постоянно меня подстегивало. Впрочем, нетрудно было заметить, что и он порядком устал.

Между тем наш эксперимент застрял на мертвой точке. Жены и мужья всех наших испытуемых тут же обращались в полицию; мы ежедневно получали их доносы целыми пачками. А ведь скольких трудов стоило найти среди жертв-добровольцев женатых и замужних! Последний раз нам пришлось ждать целых три дня, пока их набралось несколько человек. Так что, когда, наконец, наступил мой свободный вечер, меня не тянуло ни к каким развлечениям и хотелось только одного —

как можно раньше лечь спать. Дети были уже в постелях, горничная ушла; я завел будильник и начал раздеваться, как вдруг у двери раздался звонок.

Кадидья Каппори! — вспомнил я. Теперь я уже прогнил свою дурацкую вежливость. Хуже всего было то, что, если не считать детей, я оказался дома один. Лишь пришлося пойти на собрание комиссии по подготовке вечера в честь директрисы — управляющей городскими пищевыми трестами, которая собиралась уйти на пенсию.

Я открыл дверь. На пороге стояла рослая пожилая женщина с простым, грубым лицом.

— Соратник Лео Калль? — спросила она. — Я Кадидья Каппори. Вы были так любезны, что согласились уделить мне внимание.

— Очень сожалею, но я сейчас дома один и не могу принять вас, — ответил я. — Возможно, вы проделали долгий путь, и, право же, мне перед вами очень неудобно, но вы ведь сами знаете, как иногда бывает: человек подвергается провокации, а доказать свою невиновность не может, потому что у него нет свидетелей, а полиция по чистой случайности как раз на эту комнату не составила рапорта.

— Но я не сделаю вам ничего плохого, — сказала она просительно. — Уверяю вас, я пришла сюда с открытым сердцем.

— Я не имею в виду лично вас, но поймите: мы же с вами незнакомы. И я не знаю, что вы потом скажете обо мне. Боюсь, что мне все-таки придется попросить вас уйти.

Я нарочно говорил громко — на всякий случай, чтобы слышали соседи. Она, видимо, поняла это и предложила:

— Может быть, вы позовете кого-нибудь из соседей. Хотя, конечно, я предпочла бы поговорить с вами наедине.

Ну что ж, выход из положения был найден. Я позвонил в ближайшую дверь. Там жил врач, обслуживающий персонал столовых при экспериментальной лаборатории. Мы, собственно, не были знакомы, я только знал его в лицо да еще слышал иногда, как бранится его жена — надо сказать, слишком громко для наших тонких стен. Он сам открыл дверь (как оказалось, тоже сидел дома один), и я изложил свою просьбу. Выражение недоволь-

ства, которое я заметил у него на лице в первый момент, исчезло, сменившись заинтересованностью. Он так быстро согласился, что я успел раскаяться в своей затее: у меня мелькнула мысль — не говорились ли они заранее. Но, если рассуждать трезво, это все-таки едва ли было возможно.

Мы вошли в спальню взрослых. Я торопливо закрыл приготовленную на ночь постель.

— Вы, разумеется, не знаете меня, — начала она. — Дело в том, что я жена Того Бахара из Службы жертв-добровольцев.

У меня упало сердце. Итак, это была одна из тех лояльных соратниц, что срывали мой эксперимент. Несомненно, она явилась, чтобы донести на мужа. Да, но почему именно сюда? Заподозрила что-то? Или ей показалось, что прийти и сообщить обо всем мне — начальнику ее мужа — будет как-то достойнее, нежели обращаться прямо в полицию? Но как бы то ни было, остановить ее я уже не мог.

— У нас дома случилась ужасная вещь, — продолжала она, опустив глаза. — На днях мой муж пришел и сказал, что он совершил, ну, самое худшее, что только можно придумать... преступление против Империи. Я упав своим не поверила. Мы с ним больше двадцати лет живем, у нас дети, и я всегда считала, что вижу его насквозь. Ну, конечно, бывает у него плохое настроение, иногда нервничает, раздражается, но уж такая профессия! Я-то работаю в районной прачечной, мы и живем там поблизости. Ну да ладно. В общем, я думала, что все про него знаю. Не то чтобы мы с ним очень уж много разговариваем; но ведь когда проживешь вместе хотя бы два года, и то уже наперед знаешь, что тебе человек может сказать, а если топчешься все в тех же двух комнатах целых двадцать лет... Ну да что говорить! И вдруг такое!.. Сперва я подумала: шутки какие-то. Не мог он этого сделать! А потом сказала сама себе: «Ни в ком нельзя быть уверенными!» Ох, да разве я думала когда-нибудь, что со мной случится такое! Чего только я за ту ночь не пережила. Наверно, поседела бы, если бы уже не была седая. Ну как я могла представить себе, что Того, мой Того, станет предателем! Да ведь то-то и оно, что с виду предатели такие же, как обыкновенные люди. Только нутро у них другое. А так ведь притворяются, негодяи. Ну вот, я лежала и думала

о Того. И утром, когда я встала, он для меня был уже не человек. Он был уже больше не человек, он был хуже дикого зверя. В первую минуту, как я утром взглянула на него, мне показалось, что это просто страшный сон. Ведь Того был такой же, как всегда. И я подумала, что если быть с ним поласковой, все еще, может быть, обойдется. Но потом я поняла, что нечего жалеть предателей, от этого они не станут лучше — нет, нет, о таком и думать опасно. Он конченый человек, он испорчен до глубины души. И вот только я пришла на работу, как сразу же позвонила в полицию. А что, по-вашему, еще я должна была делать? И, конечно, я думала, что его тут же заберут, так что когда он вечером пришел с работы, то заметил, что я чего-то жду, и сказал: «Так и есть, ты донесла на меня. И зря. Это был такой эксперимент, а теперь ты все испортила». Ну сами посудите, могла я ему поверить? А когда, наконец, поверила и хотела на радостях его обнять, он вдруг как разозлится. И знаете, что сказал? Что он хочет со мной развестись.

— Да, очень странно. — Это было единственное, что я мог сказать.

Она судорожно глотнула — наверное, чтобы не расплакаться.

— Я не хочу, чтобы он уходил. Это будет просто несправедливо. Я не сделала ничего плохого.

Да, это была святая правда. Нельзя наказывать за поступок, свидетельствующий о подлинной преданности Имиерии. Наоборот, за это слодует наградить. Ее Того должен оставаться при ней.

— Он речил, что больные не может мне доверять, — продолжала она, глотая слезы. — Да, если он предатель, тогда конечно, но если он человек, то это же совсем другое дело. Почему он тогда не может мне доверять?

В моей памяти вновь всплыло изможденное одухотворенное лицо той, другой, женщины, и вновь чувство грустной безнадежности охватило меня. Что за бессмысличное ребяческое желание — непременно иметь кого-то, кому можно доверить все, что бы ты ни сделал! В глубине души я сам сознавал, что в этом есть нечто успокаительное, нечто влекущее... Нет, в каждом из нас заложено что-то от малого ребенка или от первобытного дикаря, только в одном больше, а в другом меньше. И как раньше я почувствовал себя обязанным разрушить

иллюзии той женщины, так и сейчас я должен был сделать это же самое для мужа Кадиды Каппори, пусть даже ценой еще одного свободного вечера.

— Приходите ко мне оба, — сказал я, записывая на листке бумаги свои свободные часы. — Если он не одумается, я с ним поговорю.

Она принялась горячо благодарить. Я проводил их с соседом до двери. Он, по-моему, воспринял все это как развлечение — во время нашего разговора без конца юсмевался, да так и ушел с ухмылкой. Но мне было не до смеха. Я слишком хорошо понимал суть дела.

На другой день на работе я не удержался и рассказал Риссену всю эту историю. Она, правда, не имела прямого отношения к нашему эксперименту, но была, на мой взгляд, просто любопытна. А может быть, — я и сам не знаю — мне захотелось показаться Риссену таким мудрым и всезнающим человеком, к которому другие идут со своими бедами и который шутя разрешает чужие трудности. Как ни странно, при всем своем критическом отношении к Риссену, при всем недоверии к нему я почему-то очень дорожил его мнением. Много раз я пытался произвести на него хорошее впечатление, но, как правило, он оставался совершенно равнодушным, и в результате я испытывал только стыд. И все-таки я снова и снова буквально лез из кожи, чтобы исправить этому сграиному человеку, который, казалось, ни к чему на свете не питал уважения. Временами, когда я чувствовал, что ничего не выходит, я старался нарочно рассердить его — наверно, где-то в подсознании у меня таилась мысль, что, если я сумею вывести его из себя, его характер станет мне хоть немного понятнее.

Между прочим, рассказывая про Кадидью Каппори, я вспомнил ее слова: «Он был уже больше не человек».

— Человек! — сказал я. — Подумать только, какой прямо-таки мистический смысл вкладывают люди в это слово. Как будто быть человеком бог весть какая заслуга. Это ведь чисто биологическое понятие. И тому, кто думает иначе, следовало бы как можно скорее избавиться от своих заблуждений.

Риссен посмотрел на меня с какой-то странной улыбкой.

— Ну вот, например, эта Кадидья Каппори, — продолжал я. — Ее рассуждения о том, что муж перестал быть человеком, — все это идет от предрассудка. Ведь

в чисто биологическом смысле он всегда был и останется человеком. Правда, в конце концов она приняла правильное решение, ну, а как в подобном случае поступили бы другие? Да и она, если бы еще колебалась и медлила, могла бы, сама того не ведая, оказаться изменницей. Нет, я считаю, что прежде всего нужно отучить людей обозначать словом «человек» что-нибудь помимо чисто биологического понятия.

— Не думаю, чтобы заблуждение, о котором вы говорите, разделяли многие, — медленно отозвался Риссен.

Глаза его были прикованы к мензурке, которую он держал в руках. У Риссена была привычка говорить вещи, в которых вообще-то не было ничего особенного, но со страшно многозначительным выражением, так что я потом часами ломал себе голову, пытаясь разгадать, что же крылось за его словами.

Впрочем, следующая неделя была заполнена такими важными событиями, что у меня не оставалось времени размышлять о чем-то постороннем. Каллокайн, наконец, пробил себе дорогу, но об этом после, а сейчас я расскажу, чем закончилась история супругов Бахара-Каппори.

Они пришли ко мне ровно через неделю после первого посещения Кадиды. Линды снова не было дома, но так как на сей раз я заранее знал их намерения и, кроме того, муж фактически был у меня в руках, я не стал звать свидетелей.

По мрачному, подавленному виду обоих я понял, что они так и не помирились.

— Итак, — начал я, чтобы помочь им разговориться (лучше всего было свести все это дело к шутке), — итак, соратник Бахара, на сей раз вы сами устроили эксперимент, и кажется, вознаграждение не очень-то вас устроило? Но развод — это ведь нечто вроде постоянного недуга, не так ли? Этот ваш костыль — он что, следствие экспериментов или... хм... семейных распри?

Он по-прежнему кисло молчал. Жена подтолкнула его.

— Того, милый, ну что же ты, отвечай своему начальнику. Чтобы люди были женаты двадцать лет — и вдруг разошлись из-за такой ерунды! Нет, как хотите, это никуда не годится: сначала приходит и морочит тебе

голову каким-то экспериментом, а когда ты сама поступаешь как полагается, вдруг начинает злиться.

— Ты ведь все равно хотела засадить меня в тюрьму, так неужто теперь без меня не обойдешься? — угрюмо отозвался муж.

— Да это же совсем другое дело! — воскликнула она. — Если бы ты и вправду был предателем, тогда ни за что в жизни я не потерпела бы тебя в доме. Но ведь на самом-то деле это не так, на самом деле ты такой же, какой был все двадцать лет. И конечно, я хочу, чтобы ты остался со мной. Я же не сделала ничего плохого, я не понимаю, почему ты хочешь уйти.

— Ответьте мне, пожалуйста, Бахара, — сказал я уже более строгим тоном, — вы действительно считаете, что, сообщив о вас в полицию, ваша жена поступила плохо?

— Ну, я не знаю...

— Как поступили бы вы сами, если бы какой-то человек пришел и сказал вам, что он шпион? Я надеюсь, вы не стали бы долго колебаться. Или, может, я должен вам подсказать, что вы должны были бы тут же пойти к ближайшему почтовому ящику или позвонить по ближайшему телефону и сообщить обо всем куда следует? Ну что, вы бы так и поступили?

— Да, да, конечно, но все-таки... все-таки это не одно и то же.

— Очень рад слышать, что вы бы так и поступили, ибо в противном случае вы совершили бы преступление. Ваша жена как раз и сделала то, о чем говорили мы с вами. Что вы подразумеваете под словами «это не одно и то же»?

Ему, видно, нелегко было объяснить. Он все никак не мог сбраться с мыслями.

— Я хочу сказать, если она может поверить про меня всему, что угодно... После двадцати лет... А вдруг бы я правда сделал какую-нибудь глупость и пришел бы к ней и сказал бы...

— Ну, тогда было бы поздно раскаиваться. А что касается того, чтобы «проверить всему, что угодно», как вы выражаетесь, так разве вам не известно, что наш долг быть щедрительными? Этого требует благо Империи. А двадцать лет — долгий срок, за двадцать лет человек может и измениться. Нет, вам не на что жаловаться.

— Ну да, а если она...

— Знаете, Бахара, боюсь, что еще немножко, и мое терпение лопнет. Ваша жена сообщила в полицию о шпионе. Правильно она поступила или нет?

— Ну да... в общем, правильно.

— Итак, она поступила правильно. Она сообщила в полицию о шпионе, но при чем здесь вы? Ведь вы-то не шпион. Правильно она поступила или нет?

— Но когда я смотрю на нее, я сейчас уже не знаю... не представляю, что она про меня думает.

— Будь я на вашем месте, я не стал бы разводиться с женой из-за того, что она поступила правильно. Я уже не говорю о том, что человеку вашей профессии вообще нелегко жениться. К тому же ни одна честная женщина не захочет встречаться с вами, когда узнает всю эту историю, а уж о том, чтобы все ее узнали, позабочусь я сам. На вас ляжет позорное пятно.

— Да нет, — пробормотал он, видно совсем сбитый с толку, — не хочу я, чтоб так получилось.

— Вы меня удивляете, — продолжал я все более строгим тоном. — Боюсь, что обо всем этом нам придется поговорить в лаборатории. Едва ли это будет вам приятно...

Последние слова, наконец, возымели действие. В его тупом взгляде мелькнул испуг. Остановившись на минуту, я продолжал уже более дружелюбно:

— Но я уверен, что вы сумеете преодолеть свои заблуждения. У вашей жены исчезли все подозрения, так что сейчас уже нет никаких причин для развода, не правда ли?

— Да, да, — отозвался он, успокоенный, наверно, не столько самими словами, которых он, кажется, толком и не понял, сколько моим дружеским тоном. — Конечно, теперь уже нет никаких причин для развода.

Жена, которая, напротив, сразу сообразила, что опасность уже позади, так и просияла. Ее благодарность была моей единственной наградой за два потерянных вечера. Того Бахара сохранил все тот же угрюмый вид, но я подумал, что со временем все у них наладится. Я еще крикнул вслед жене:

— Пожалуйста, немножко погодя зайдите ко мне! Поможем, действительно ли ваш муж осознал все, что произошло!

Бахара знал, что я его начальник. Брак Кадиды Каппори был спасен.

На этой неделе условия для эксперимента оказались очень благоприятными. На трех человек из десяти не поступило доносов; полиция тут же произвела аресты, и мы, таким образом, получили в свое распоряжение сразу троих. Начальник полиции Каррек сам присутствовал при разговоре с ними. Высокий и худой, с загадочным выражением прищуренных глаз, он сидел, откинувшись в кресле и вытянув перед собой длинные ноги, — сидел и ждал. Каррек был, безусловно, выдающейся личностью, из тех, про кого говорят «он далеко пойдет». И хоть осанка у него была такая же расслабленная, как у Риссена, он никогда не производил впечатления человека сугубо штатского. И если расхлябанность Риссена шла от того, что он жил больше чувствами, чем рассудком, если он готов был скорее подчиняться, чем управлять, то в сгорбленной позе Каррека чувствовалось нечто иное — казалось, он конит силы для решающего удара. Выражение его сурового лица, блеск прищуренных глаз — все напоминало о диком звере, сжавшемся в комок перед последним, безошибочно настигающим жертву прыжком. Я не только почитал Каррека, но и возлагал большие надежды на его могущество, и будущее показало, что я не ошибся.

Арестованных вводили по одному. Двое из них оказались заурядными корыстолюбцами, с которыми нам до сих еще не приходилось иметь дела, — они просто-напросто польстились на деньги, которые якобы посыпил шпион. При этом одна женщина еще доверительно рассказала об интимных привычках мужа, чем доставила нам с Карреком немалое развлечение. Впрочем, она была человеком, несомненно, образованным и неглупым, но беспредельно эгоистичным. Зато третий дал нам обильную пищу для размышлений.

Почему он промолчал, этого не понимали не только мы, но даже, кажется, и он сам. По всему было видно, что он вовсе не испытывал к жене той восторженной благодарности за доверие, которую мы наблюдали у одной из первых наших испытуемых. С другой стороны, и предложенная сумма его, видимо, не прельщала. Он вроде бы и не отрицал возможности того, что его жена могла оказаться предательницей, и в то же время не был уверен, что все происходило именно так, как она говорила. В общем, в нем чувствовалась какая-то вялость или леность мысли, мешающая ему додумать все до кон-

ца. И если бы Каррек уже заранее не решил помиловать их всех, из-за этой своей инертности он мог бы серьезно пострадать. В сущности, именно такие люди и представляют опасность для Империи: пока они соберутся что-то предпринять, преступление уже совершится. Да и сама его нерешительность и сомнения свидетельствовали о полном равнодушии к благу Империи. Поэтому я ни-чуть не удивился, когда он, наконец, пробормотал:

— Ах, все это такие пустяки по сравнению с нашим делом!

Я навострил уши. Каррек тоже весь обратился в слух.

— С вашим делом? Но кто вы, собственно, такие?

Он покачал головой. На губах его блуждала бессмысличная улыбка.

— Не спрашивайте. У нас нет названия, нет никакой организации. Мы просто существуем, и все.

— Что значит «вы существуете»? Как вы можете говорить «мы», если у вас нет ни названия, ни организации? Кто вы такие?

— Нас много. Не знаю, сколько всего. Некоторых я видел, но по именам почти никого не знаю. Да мне это и не нужно, и никому из наших не нужно. Мы просто знаем, что мы — это мы, и этого достаточно.

Кажется, действие каллокайна заканчивалось. Я вновь проследил на Риссена, потом на Каррека.

— Во что бы то ни стало пусть продолжает, — прощедил сквозь зубы Каррек.

Риссен тоже кивнул. Я ввел еще одну дозу.

— Итак, имена тех, кого вы знаете?

Совершенно спокойно и без малейших колебаний он назвал пять имен и сказал, что больше не знает. Каррек велел Риссену записать их.

— И какой же переворот вы хотели совершить?

Он не ответил. Заерзal в кресле, потом весь напрягся, но ничего не сказал. Сперва я снова подумал, что в отдельных случаях каллокайн не действует, и меня прошиб холодный пот. Но тут мне пришло в голову, что я, возможно, неправильно поставил вопрос и испытуемый просто не в состоянии ответить на него. Может быть, надо спросить как-то иначе, проще... И я начал осторожно:

— У вас ведь есть какая-то цель или желание, не так ли?

— Да, да, конечно, есть.

— А чего именно вы хотите?

Снова молчание. Затем неуверенно и с усилием:

— Мы хотим быть... хотим стать... кем-то другим...

— Вот как? Кем же вы хотите быть?

Опять молчание. Глубокий вздох.

— Вы имеете в виду какие-либо должности?

— Нет, нет. Совсем не то.

— Вы не хотите быть подданными Мировой Империи?

— Нет, впрочем, пожалуй... нет, не совсем так.

Я был совсем сбит с толку. Но тут Каррек бесшумно подтянул к креслу свои длинные ноги, выпрямился и спросил резким тоном:

— Где вы встречались?

— Дома у одного... Я его не знаю.

— Где? И когда?

— В районе RQ две недели назад.

— Много вас было?

— Человек пятнадцать-двадцать.

— Ну тогда не так трудно все это проверить, — сказал Каррек, обращаясь к нам. — Вахтер ведь должен быть в курсе дела.

И он продолжил допрос:

— У вас были пропуска? Наверно, фальшивые?

— Пет, почему же? Мой, по крайней мере, был настоящий.

— Ага, отлично! А о чем вы говорили?

Но тут даже Каррек ничего не добился. Ответ был сбивчивый и невнятный.

Нам пришлось отпустить этого бестолкового типа, тем более что и действие второй дозы уже кончалось. Чувствовал он себя неважно, но не стал особенно жаловаться. Конечно, он был обеспокоен, но не проявлял никакого отчаяния. И по-моему, он испытывал не столько стыд, сколько удивление.

Когда он вышел, начальник полиции снова вытянулся во всю длину своего худого, гибкого тела, глубоко вздохнул, словно проветривая легкие, и сказал:

— Да, тут придется поработать. Он-то ничего не знает, но, может, его приятели знают больше. Мы будем проверять одного за другим, пока не доберемся до сути. А вдруг это настоящий заговор?

Он зажмурил глаза, и его жесткие черты разгладились, приобрели выражение покоя и довольства. Наверно,

в ту минуту он подумал, что благодаря этой истории слава о нем разнесется по всей Империи. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Мы с Карреком были слишком разными людьми, чтобы я мог судить о его затаенных помыслах.

— А сейчас, — продолжал Каррек, испытующе поглядывая то на меня, то на Риссеня, — сейчас я должен ненадолго уехать. Может быть, и вас скоро вызовут в другое место. На всякий случай будьте готовы. Вызов может прийти и домой, и на работу. Я вам советую сбрать все необходимое и оставить в лаборатории, чтобы не пришлось потом из-за этого задерживаться. Вещей берите немного — если вы и уедете, то не больше чем на несколько дней. И все свое снаряжение тоже держите в порядке. Может быть, вам понадобится взять его с собой.

— А военная служба? — спросил Риссен.

— Ну если это дело у меня выйдет, то вам нечего беспокоиться, — ответил Каррек. — А не выйдет — так же выйдет, обещать я ничего не могу. Чем вы собираетесь заниматься в ближайшие дни?

— Ставить новые и новые эксперименты.

— По-моему, необходимо ухватиться за ту нить, которую дал этот последний тип. Жертвы-добровольцы вам теперь ни к чему. Я предлагаю вам постепенно размотать весь этот клубок. Будете слушать и записывать. Ну как, согласны?

Риссен задумался.

— В наших инструкциях такие случаи не предусмотрены, — сказал он паконец.

Начальник полиции язвительно рассмеялся.

— Ну, не будем бюрократами. Если вы получите предписание начальника лаборатории — как его там, Муили, кажется? — то, наверно, не станете так педантично придерживаться инструкций, а? Я сейчас иду прямо к Муили. Потом нужно будет сообщить все имена в управление полиции. Тут дело идет о безопасности Империи, а вы — инструкции!

Он вышел, и мы с Риссеном посмотрели друг на друга. Я был буквально переполнен восхищением и радостью победы. Такому человеку, как Каррек, можно было спокойно вверить свою судьбу. У него была железная воля, его не страшили никакие трудности. Но Риссен только смириенно вздохнул.

— Мы становимся просто-напросто еще одним бюро Департамента полиции. Прощай, наука.

Я невольно вздрогнул. Я любил свою научную работу и совсем не хотел ее лишаться. Но я утешал себя тем, что Риссен вообще по натуре пессимист. Передо мной же в тот момент встала моя лестница, только куда она вела? Но это должно было выясниться в самом ближайшем будущем.

Час спустя мы получили предписание начальника лаборатории, где было сказано, что отныне наша работа переходит под контроль Департамента полиции. Там уже все были предупреждены, и нам оставалось только позвонить и сообщить имена тех, кого следовало арестовать. Их должны были доставить в течение суток.

Первым попал к нам юноша, лишь недавно покинувший Унгдомслэгер. Его отличало забавное сочетание неуверенности и заносчивости. То и дело он нападал на имперские порядки, к которым, видимо, не успел еще привыкнуть и приспособиться. Но его юношеская самоадеянность, проявившаяся под влиянием каллокайна во всей своей полноте, производила на нас, взрослых людей, скорее комическое впечатление. Он долго рассказывал о своих далеко идущих планах, но в то же время признавался, что ему трудно ладить с окружающими, так как они, по его мнению, плохо к нему относятся.

После того как наш предыдущий испытуемый оказался таким тугодумом, я предложил давать всем остальным выговариваться до конца. Но этот юноша был уже слишком словоохотлив, и вряд ли те проблемы, о которых он говорил, могли быть интересны Карреку. Поэтому я решительно перебил его, спросив, знаком ли он с предыдущим испытуемым.

— Да. Он мой сослуживец.

— А вне работы вы с ним где-нибудь встречались?

— Встречались. Он пригласил меня на вечеринку...

— В районе RQ? В среду, две недели назад?

Юноша засмеялся. Кажется, он готов был с радостью говорить и на эту тему.

— Ну да. Такая смешная вечеринка. Но мне они понравились. В каком-то смысле понравились...

— Вы помните, что там было?

— Конечно, помню. Это все было так странно. Во-первых, я ни с кем раньше не был знаком. То есть в этом-то как раз нет ничего странного. Если люди в свой

свободный вечер уходят из дома и собираются вместе, так уж, наверно, чтобы обсудить какое-то дело, насчет работы, или еще что-нибудь — ну, скажем, как лучше провести праздник или как написать прошение начальству — в общем, что-нибудь такое. И ничего удивительного нет. Но здесь-то было совсем другое. Они вообще ничего не обсуждали. Так, сидели и болтали обо всем на свете, а то и вовсе молчали. Иногда они так долго молчали, что я просто засыпал. А знаете, как они здороваются? Берут друг друга за руку! Ну какой в этом смысл? Во-первых, негигиенично, а во-вторых, это же просто стыдно — нарочно дотрагиваться до тела другого человека. А они говорили, что это старинный обычай и они только возобновили его, но если кто не хочет, то может этого не делать. Они никого ни к чему не призывают. Но вначале я их боялся. Нет ничего противнее, чем сидеть и молчать. Кажется, что другие видят тебя насквозь. Как будто ты совсем голый, нет, даже еще хуже, в моральном смысле голый — понимаете? Особенно когда кругом пожилые люди. Потому что они умеют так — разговаривать себе, а сами все за тобой замечают. Правда, я тоже так умею, это очень помогает. Начинаешь чувствовать себя спокойно, как будто избавился от большой опасности. Но там я так не мог. Там это не годилось. Потому что, когда они говорили, то говорили совсем тихо, и вид у них был такой, словно ни о чем другом они и не думают. Вообще-то я считаю, что лучше разговаривать громко. Тогда уже никто не может сосредоточиться ни на чем другом, а ты говоришь и говоришь, а про себя думаешь что хочешь. Они были такие странные. Но под конец мне там понравилось. Как-то спокойно мне стало, понимаете?

Все это было не слишком вразумительно. Но юноша принадлежал к числу новичков, его еще не успели посвятить ни в какие таинства. На всякий случай я спросил:

— Заметили вы там какого-нибудь руководителя? Были у них какие-либо знаки различия?

— Нет, как будто не было. То есть я не заметил.

— Ну, а что они все-таки делали? Говорили о том, что уже совершили или что им предстоит совершить?

— Я ничего такого не слышал. Правда, я и еще кое-кто ушли, не дождавшись конца, и я не знаю, что там

было потом. Но, прощаясь с нами, один сказал: «Теперь, когда мы встретимся в мире, мы узнаем друг друга». Он произнес это так торжественно; и, понимаете, я и вправду поверил, что узнаю их — не только тех, кого я в этот день видел, а вообще их. В них есть что-то особенное, а что — не могу объяснить. Вот когда я вошел сюда, то сразу почувствовал, что вы (тут он кивнул в мою сторону) не принадлежите к ним, а вот насчет вас (его затуманенный взгляд обратился к Риссену) я не так уверен. Может быть, вы из их числа, а может, нет. Я только знаю, что с ними мне спокойнее, чем с другими. У меня нет такого чувства, что они хотят мне зла.

Я быстро взглянул на Риссена. Вид у него был совершенно озадаченный. Скорее всего он никогда не принимал участия в каких-то тайных сбояцах, но замечание юноши было все же не лишено оснований. Он правильно угадал в Риссене индивидуалистические черты, нечто такое, что в моем представлении ассоциировалось со слепым кротом.

Придя в себя, юноша впал в полное отчаяние, хотя все, что он выболтал, было сравнительно безобидно. Впрочем, насколько я понял, его больше всего беспокоили излияния насчет собственной личности — те самые, что мы, соскучившись, репитительно прервали.

— Я хотел бы многие слова взять обратно, — бормотал он. Ноги его не держали и, стоя на полу, он шатался. — То, что я говорил насчет других, — это все неправда. Я просто хочу знать, как они ко мне относятся. Я совсем не думаю, что они все желают мне зла. И насчет того, что я хочу сделать и кем хочу стать, — так это ведь чистые фантазии, тут нет ни капли правды. И когда я говорил, что с теми странными людьми мне лучше, чем с обычными, это тоже было преувеличение. Я хорошенко подумал и понимаю, что мне лучше с обычными...

— Мы тоже в этом не сомневаемся, — дружелюбно ответил Риссен. — В будущем вам лучше держаться обычных людей. Мы подозреваем, что сбояца, на одно из которых вы случайно попали, представляют собою угрозу для Империи. Пока вы вне опасности, но будьте осторожны! А то не успеете отглянуться, как они вас запутают.

После этих слов юноша как ужаленный выскочил за дверь.

Я и сам не знаю, какие зловещие планы мы собирались разоблачить, но мы твердо верили, что после ухода юноши и еще нескольких человек со странной вечеринки какие-то планы там строились. И кто-то же должен был при этом присутствовать! Мы подробно и основательно расспрашивали еще четверых задержанных, во всех деталях записывали их ответы, и облик таинственного союза мало-помалу начал вырисовываться перед нами. Не раз мы переглядывались и в недоумении качали головами. Ведь можно было подумать, что речь идет о сборище сумасшедших. Ничего более фантастического я в жизни своей не слышал.

Прежде всего мы пытались узнать, что это за организация, насколько она велика, кто стоит во главе и т. д. Но нам каждый раз отвечали, что ни организации, ни руководства вообще не существует. Однако меня это не смущало. При подготовке крупного заговора второстепенные действующие лица нередко и понятия не имеют о планах Центра; все, что они знают, — это имена двух-трех участников, играющих роль столь же незначительную, как они сами. Видимо, и к нам попала только мелкая сопка. Но мы не сомневались, что, прощупывая одного за другим, доберемся и до осведомленных кругов. Это был только вопрос времени.

«Что же происходило после того, как новички ушли?» — этот вопрос мы без конца задавали себе. Кое-что нам все-таки удалось выяснить из показаний одной женщины.

— Одни из нас берет нож, — рассказывала она, — передает его кому-нибудь другому, а сам ложится на кровать и делает вид, что спит.

— Ну, а дальше что?

— Ничего. Если кто-нибудь еще хочет лечь и на кровати есть место, то он тоже ложится. Но это не обязательно. Можно сесть и положить голову на край кровати — или стола, в общем, все равно чего.

Я с трудом подавил смех. Еще бы, сценка, которая представилась мне, производила весьма комическое впечатление. Один человек с серьезным видом сидит посреди комнаты, сжимая в руке большой столовый нож (конечно, столовый, откуда же возьмется какой-нибудь другой, — надо только не забыть оставить его, когда начнут убивать посуду) — значит, он сидит посреди комнаты, а кругом... Один вытянулся на постели, сложив руки на

животе, и изо всех сил старается заснуть — может, даже пробует храпеть. Все остальные устраиваются поблизости кто как может, большей частью в неудобных позах. Кто-то еле удерживается на самом краю кровати, упираясь затылком в спинку, кто-то зевает, — и вот наступает мертвая тишина.

Даже Риссен не смог удержаться от улыбки.

— А какой во всем этом смысл? — спросил он.

— Символический. Передавая нож, один человек как бы отдает себя во власть другого. Но ему при этом нечего бояться, с ним не случится ничего плохого.

(Не случится ничего плохого! Когда в комнате полно народу, и все притворно храпят, и могут сколько угодно подсматривать друг за другом. Когда один из гостей — кстати, по всем правилам зарегистрированный вахтером, — сжимает в руках тупой столовый нож, которым за ужином тщетно пытались резать мясо, и слушает, насколько естественно другие храпят...)

— Да, но с какой целью вы все это делаете?

— Нашиими усилиями будет вызван к жизни новый дух, — ответила женщина с полной серьезностью.

Риссен в задумчивости потер подбородок. Из лекций по истории я знал (и он, конечно, должен был знать тоже), что в первобытные времена дикии передко выкрикивали заклинания и производили так называемые магические действия, чтобы вызвать воображаемых существ, которых они называли духами. Так, значит, нечто подобное происходит и в наши дни?

От этой же особы мы услышали об одном умалишенном, который в их кругах слыл героем. Да, воистину иногда немного нужно, чтобы стать для кого-то предметом поклонения!

— Вы разве не слышали про Реора? — спросила женщина. — Нет, его уже нет в живых, он жил лет пятьдесят тому назад. Точно не знаю где — одни говорят, что в каком-то Городе Мукомолов, другие — что в одном из Текстильных. Подумать только, вы ничего не знаете про Реора! А я могла бы говорить о нем без конца... Только это нужно говорить посвященным, они одни могут понять. Ну вот, он переходил из одного места в другое, тогда ведь с пропусками было проще... Некоторые впускали его в дома — больше из страха, думали, что он из полиции; другие прогоняли — считали преступником. Те, которые впускали, они, конечно, не все понимали, что

он за человек, — некоторым казалось, что он просто чудной, и все тут. Зато другие рядом с ним чувствовали себя как дети под защитой матери — им было хорошо и спокойно, и они ничего не боялись. Многие о нем забыли, но многие помнили и рассказывали о нем все новым и новым людям. Но их понимали только посвященные. Он никогда не запирал свою дверь. И он делал что хотел и не думал, будут ли у него свидетели и сможет ли он потом что-то доказать. Он не защищался от воров и разбойников, и в конце концов его самого убили. А убил его разбойник, который думал, что у Реора в котомке лепешка — тогда ведь были голодные времена. А у него ничего не было, он все разделил с людьми, которых встретил на дороге. Но убийца думал, что у него еще остался хлеб, и вот ногубил его...

— И вы считаете, что этот Реор был великим человеком? — спросил я.

— Да, он был великий человек. Он был один из наших. Еще живы люди, которые встречались с ним.

Риссен многозначительно посмотрел на меня и покачал головой.

— Потрясающая логика, — сказал я. — Его убили, поэтому давайте будем как он. Я ничего не понимаю.

Но Риссен, не обращая на мои слова никакого внимания, повернулся к женщине:

— Вы говорили о посвящении. Что вы под этим подразумеваете? Как это делается?

— Не знаю. Это приходит к каждому как-то само собой. Но другие посвященные тоже это замечают.

— Но ведь тогда любой человек может утверждать, что он посвященный. Наверно, существует все-таки определенный ритуал, вновь посвященному сообщают какие-то тайны, разве не так?

— Да нет, ничего такого у нас нет. Я же говорю — человек это просто чувствует. К одним это приходит, а к другим — нет, вот и вся разница.

— А в чем это проявляется?

— Ну во всем... И в том, как это делают с ножом... и все становится так ясно и хорошо... и во многом другом...

Да, этот разговор не очень-то обогатил нас. Мы так и не разобрались, одна эта женщина сошла с ума или другие тоже помешались на той же почве. Из рассказов других явствовало, что вся эта процедура с ножом и

притворным сном действительно имела место, но было это один раз, случайно, или они постоянно устраивали такие церемонии? Опять же и признаки легенды о Реоре проскальзывали в некоторых признаниях, но далеко не у всех. Мы не могли понять, что, собственно, их объединяло. Пока общим было только одно — то, что все они производили странное впечатление.

Зато другая женщина назвала нам несколько новых имен. Поэтому мы особенно настойчиво принялись расспрашивать ее о структуре организации. Но ее ответ оказался таким же невнятным и путанным, как у остальных.

— Организация? — переспросила она. — А зачем нам это? То, что живет, то, что естественно и органично, не нуждается ни в какой организации. Вам нужна форма, а нам — сущность. Вы строите общество, как кладете камни, по своему произволу, а потом так же разрушаете его. А наше сообщество — как дерево, оно растет изнутри. Мосты, соединяющие нас, вырастают сами, а у вас они искусственные, они держатся на одном принуждении. Мы — носители жизни, а за вами стоит мертвое, отжившее.

Хотя речь женщины показалась мне не более чем бесмысленным набором слов, она все же произвела на меня впечатление. Может быть, причиной тому была глубина и проникновенность ее голоса, невольно вызывавшего во мне дрожь? Может быть, эта чужая женщина напомнила мне Линду — ведь и у Линды, когда она чувствовала себя бодрой, а не измученной, тоже был глубокий и проникновенный голос. А что, если бы это Линда сидела сейчас здесь и с такой же страстью раскрывала передо мной свой внутренний мир! Да, я надолго запомнил эту женщину и потом повторял в уме некоторые из произнесенных ею фраз, сам себя убеждая, что при всей своей бесмысленности они красиво звучат. Лишь долгое время спустя я начал догадываться об их значении. Но, думаю, уже тогда ее слова дали мне первое, еще смутное представление о том, почему они узнают друг друга в толпе, и что это значит — входить в круг посвященных, которые не нуждаются ни в специальной организации, ни в знаках различия, ни в какой-либо официально признанной доктрине.

Когда женщина вышла, я сказал Риссену:

— Знаете, что мне пришло в голову? Мы с вами неправильно понимали слово «дух». Они, очевидно, под-

разумевают под этим какую-то жизненную позицию, отношение к происходящему, что ли. А вам как кажется? Может быть, я не прав и слишком усложняю образ мысли этих умалишенных?

Его взгляд испугал меня. Он меня отлично понял, это я видел по его лицу, но одновременно видел и нечто другое. Сильная и страстная натура только что ушедшей женщины произвела на него еще большее впечатление, чем на меня. И я понял, что его взгляд и даже молчание увлекали меня на путь, куда честь и чувство долга запрещали вступать. И если я поддался чуждой, но притягательной силе лишь на мгновение, то Риссен, судя по всему, был уже целиком в ее власти. Недаром же юноша сказал, что Риссен мог бы принадлежать к этой таинственной секте сумасшедших. А разве сам я не ощущал постоянно, что от Риссена исходит угроза и опасность? Теперь я твердо знал, что в глубине души мы с ним враги.

Нам оставалось допросить последнего арестованного — пожилого человека с интеллигентным лицом. Мне было немножко страшно: вдруг и в нем живет та же сила, что в женщине? Но, с другой стороны, скорее всего именно он мог знать какие-то важные детали, и если бы повезло, мы наконец-то получили бы показания, на основании которых всех членов секты можно осудить и отправить куда следует — к великому облегчению для меня и для многих других. Но едва он вошел и сел в кресло, как взволновал внутренний телефон. Нас обоих — Риссена и меня — вызывали к Муили, начальнику лаборатории.

Кабинет Муили находился в другом здании, но нам не пришлось выходить на поверхность; миновав подземный переход и три ведущих вниз лестницы, мы очутились у дверей его приемной. Тут мы предъявили пропуска и после того, как секретарь, позвонив по телефону, убедился, что нам действительно назначено явиться, нас провели к Муили. Это был седой тощий человек болезненного вида. Он едва взглянул на нас. Голос у него звучал тихо, словно ему трудно было говорить, и тем не менее каждое предложение он произносил тоном приказа. Как видно, он вообще не привык выслушивать других, если только они не отвечали на его собственные вопросы.

— Соратники Эдо Риссен и Лео Калль, вас временно отзывают, — начал он. — Работу, которую вы сейчас про-

водите, пока отложите. Вам дается час па сборы, потом полицейские проводят вас. От военно-полицейской службы вы временно освобождаетесь. Есть вопросы?

— Нет, мой шеф, — ответили мы с Риссеном одновременно.

Мы молча вышли и, вернувшись к себе, помылись и переоделись в форму свободного времени. Дорожные сумки с личными вещами и ящик с лабораторными принадлежностями мы приготовили заранее. Через час пришли двое полицейских и, не говоря ни слова, повели нас в подземку.

Я не переставал восхищаться Карреком. Ничего не скажешь, дело двигалось быстро! И суток не прошло, а он уже добился своего. Как видно, его слово кое-что значило, и думаю, не только в Четвертом Городе Химиков.

Выйдя из подземки, мы увидели перед собой ангар. Радостное предчувствие небывалых приключений охватило меня. Куда мы полетим, может быть, в столицу? Я ведь никогда еще не выезжал за пределы города и сейчас буквально сгорал от нетерпения.

Вместе с группой других пассажиров мы вошли в самолет, и полицейский тщательно занес, а потом запломбировал дверь. Когда рев моторов возвестил о том, что мы поднялись в воздух, я вытащил из сумки последний номер «Химического журнала». Риссен сделал то же самое. Но нам обоим было не до чтения. То и дело кто-нибудь из нас поднимал голову от книги и откладывался на спинку сиденья. Я, как ни старался, не мог сдержать любопытства. На экране (в том числе и в настоящих движущихся фильмах) мне приходилось видеть желтые поля, зеленые луга и леса, стада коров и овец, так что причин для любопытства, строго говоря, у меня не должно было быть. И все-таки мне приходилось подавлять в себе смешное детское желание — чтобы где-нибудь в самолете была хоть крохотная щелочка, через которую можно выглянуть наружу. Разумеется, совсем не в целях шпионажа, о нет, а просто так... В то же время я сознавал, что это опасное желание. Конечно, я никогда не добился бы таких успехов в науке, если бы своего рода любопытство не влекло меня к тайнам материи, и все-таки... То же любопытство движет порой и дурными поступками, опо может привести к опасности, к преступлению. Мне захотелось узнать, приходится ли Риссену бороться с подобными наклонностями. А впрочем, разве он когда-нибудь против чего-ни-

будь борется, с его-то расхлябанностью! Наверно, сидит сейчас и думает, что хорошо бы делать самолеты из стекла, и ему при этом ни капельки не стыдно. Да, уж такой это тип. Если бы я только мог применять каллохайн по собственному усмотрению...

В конце концов я задремал. Разбудил меня стюард, принесший ужин. Оказалось, летим мы уже пять часов, но я сообразил, что значительная часть пути еще впереди — ведь иначе нас не стали бы кормить. И правда, мы прилетели на место только через три часа. Зная скорость самолета, можно было бы вычислить расстояние, но, к счастью, скорость сохранялась в тайне, хотя нетрудно было догадаться, что она очень велика, и расстояние тоже весьма большое. Направления полета мы не видели; в самолете скоро стало прохладно, но это свидетельствовало лишь о том, что мы находимся на большой высоте.

Наконец, мы приземлились. На аэродроме нас встретила группа полицейских, которые должны были сопровождать всех вновь прибывших в город. Отсюда я сделал вывод, что у каждого из пассажиров было важное служебное дело; некоторые, возможно, прилетели по вызову, как мы с Риссеном. Нас провели на военно-полицейскую линию подземки. Поезд с огромной скоростью понесся к станции под названием «Дворец полиции». Скорее всего мы находились в столице. Через подземные ворота мы вошли в больницу, где наш багаж тщательно проверили, а нас самих подвергли личному обыску. После этого Риссену и мне отвели по маленькой, но вполне приличной комнатке, где нам предстояло переночевать.

Утром нас проводили в одну из столовых. Мы были, конечно, не единственными гостями Дворца полиции — в большом зале вокруг стола толпилось не меньше семидесяти мужчин и женщин разного возраста. Кто-то кивнул нам. Это оказался Каррек; со своей тарелкой кукурузной каши он сидел неподалеку. Всех остальных мы видели впервые. Хотя по чину Каррек стоял много выше нас, мы очень обрадовались — как-никак знакомый, — да и он, казалось, ничего не имел против нашего общества.

— Я уже просил министра полиции принять нас всех троих, — сказал он. — Думаю, что ждать придется недолго. Сходите, пожалуйста, за своим оборудованием, и по возможности скорее.

Я торопливо позавтракал и побежал к себе за ящиком. Но я зря спешил — потом нам пришлось больше часа сидеть у дверей кабинета, где, кроме нас, аудиенции ожидали еще трое.

Однако первыми все-таки вызвали нас. Открылась дверь соседней комнаты, и в приемную вышел невысокий проворный человек — видимо, секретарь. Он что-то пропел на ухо Карреку, и тот указал на нас. Затем нас пригласили в другую комнату, где снова тщательно обыскали. Да, здесь правила безопасности соблюдались куда строже, чем в нашем Городе Химиков, но это и не удивительно: ведь жизнь работавших здесь людей была драгоценнее, чем чья бы то ни было в Империи. И потому эту комнату, не говоря уже о самом кабинете министра полиции, постоянно охраняли полицейские с пистолетами наготове. Но вот, наконец, нам разрешили войти в кабинет.

Грузный, широкоплечий мужчина повернулся к нам вместе со столом и в знак приветствия поднял кустистые брови. Он был явно рад приходу Каррека. Я сразу же узнал министра полиции Туарега, чью фотографию не раз видел в «Альбоме солдата», — узнал его маленькие медвежьи глазки, мощную нижнюю челюсть, толстые губы. Да, я не раз видел его на фотографиях, и все же живой он произвел на меня едва ли не ошеломляющее впечатление. Может быть, причиной тому было сознание, что я вижу перед собой олицетворение власти. В Туареге воплотился мозг, управлявший теми миллионами ушей и глаз, что ежедневно и еженощно улавливали самые тайные, самые сокровенные слова и нюансы подданных Империи; в нем сконцентрировалась воля, движавшая миллионами рук, — тех рук, что защищали Империю; среди них были и мои руки. И вот, стоя лицом к лицу с ним, я испытывал дрожь, словно сам был преступником! А ведь я не совершил ничего дурного. Но откуда тогда это чувство неуверенности? Наверно, все то же проклятое внушение: ни один подданный старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью. Так говорил Риссен.

— Итак, наши новые помощники, — сказал Туарег, обращаясь к Карреку. Затем он повернулся к нам: — Вы в состоянии провести парочку пробных опытов — так что-нибудь часа через два? На третьем этаже есть комната, которую мы обычно используем как лабораторию. Обо-

рудование там не акти какое, но, думаю, вам подойдет. Если понадобится что-нибудь еще, скажете персоналу. А подопытных мы вам предоставим.

Мы сказали, что будем рады продемонстрировать здесь свои опыты. Аудиенция окончилась, и нас проводили в лабораторию. Для небольшой серии опытов оборудование там было вполне приличное.

Каррек тоже пошел с нами. Он уселся на край стола и принял столь свободную позу, что, будь это кто-то другой, она производила бы впечатление отвратительной расхлябанности.

— Ну, соратники, — спросил он после того, как мы внимательно осмотрели лабораторию, — выяснилось что-нибудь насчет тех таинственных сборищ?

Риссен, как мой руководитель, имел право — да, пожалуй, и был обязан — ответить первым. Но он отозвался не сразу.

— Я, со своей стороны, никак не могу назвать этих людей преступниками, — сказал он. — Немножко не в себе — это другое дело, не преступники... нет.

— До сих пор, — продолжал он после паузы, — нам вообще не приходилось сталкиваться с людьми, совершившими действительно противозаконные действия. Я не говорю о том человеке, который умолчал о проступке жены, якобы совершившей государственную измену, — мы ведь договорились с вами, что сейчас милосердие важнее правосудия, особенно если учесть, что в Службе жертв-добровольцев так не хватает людей. А что касается этих несчастных, так они никакие не заговорщики, просто секта умалищенных. Да их даже и сектой не назовешь. Ведь, насколько я понимаю, у них нет ни организации, ни руководителей, ни регистрации членов, нет даже названия. Я не думаю, что их можно подвести под закон о союзах, находящихся вне контроля Империи.

— А вы, оказывается, большой формалист, соратник Риссен, — отозвался Каррек, иронически сощурившись. — Любите рассуждать о том, что напечатано в инструкциях, что можно и чего нельзя подвести под закон... Как будто на свете нет ничего важнее типографской краски. Ну скажите, вы и в самом деле так думаете?

— Законы и инструкции пишутся для того, чтобы охранять нас, — хмуро возразил Риссен.

— Охранять кого, позвольте вас спросить? — взорвался Каррек. — Не Империю, во всяком случае. Империи

куда больше пользы от трезвых голов, которые в случае необходимости могут наплевать на эту самую типографскую краску...

Риссен молчал, но я чувствовал, что он не согласен. Наконец он сказал:

— Так или иначе, опасности для Империи они не представляют. По-моему, можно отпустить арестованных и вообще оставить в покое всю эту компанию. У полиции и так полно хлопот с убийцами, ворами и клятвопреступниками.

И тут я почувствовал, что настало мое время. Сейчас, вот сию минуту я должен схватиться с ним.

— Мой шеф Каррек, — медленно начал я, упирая на каждое слово, — позвольте мне возразить. Хоть я и подчиненный, но не могу молчать. Эти таинственные сбороища представляются мне отнюдь не такими невинными.

— Меня чрезвычайно интересует ваше мнение, — откликнулся Каррек. — Вы, видимо, считаете, что это союз или общество обычного типа?

— Я не собираюсь выискивать в законе подходящие параграфы, — продолжал я, — но ни минуты не сомневаюсь в том, что эти люди, все вместе и каждый в отдельности, представляют опасность для Империи. Я хочу задать вам один вопрос: считаете ли вы, что нашим соратникам следует изменить свои представления о жизни, свое мировоззрение? Поймите меня правильно: я убежден, что людям порой не хватает сознательности, что от них нужно больше требовать, но пересмотр жизненных позиций — это ведь совсем другое дело! Разве призыв к такому пересмотру уже сам по себе не является оскорблением Империи и ее солдат? А ведь именно это, несомненно, имела в виду одна из арестованных, когда говорила: «Нашими усилиями будет вызван к жизни новый дух». Сначала мы решили, что речь идет о самом банальном суеверии — и это, разумеется, тоже скверно, — но оказалось, что в действительности дело обстоит гораздо хуже.

— По-моему, вы преувеличиваете, — прервал меня Каррек. — Я по опыту знаю, что чем абстрактнее понятия, тем меньше вреда они приносят. Общие фразы можно употреблять и так и этак; сегодня им придается один смысл, завтра — прямо противоположный.

— Но мировоззрение — вещь отнюдь не абстрактная, — возразил я. — И я утверждаю, что интересы этих

умалищенных противоречат интересам Империи. Это лучше всего видно из их собственных мифов о каком-то Феоре, которого они почитают, потому что он был еще более сумасшедший, чем все они. Снисходительность к преступникам, небрежное отношение к собственной безопасности (ведь нельзя же забывать, что человек — это самый важный и дорогостоящий инструмент!), чувства личной привязанности, превышающие любовь к Империи, вот к чему они призывают нас! На первый взгляд все их обряды просто безобидная чепуха. Но только на первый взгляд. Все это безграничное доверие между людьми — пусть лишь между определенными людьми — уже это, по моему мнению, представляет опасность для Империи. Слишком легковерный рабо или поздно кончит как этот самый Реор, которого убили разбойники. Разве на этой основе выросла Империя? Если бы ее фундаментом служило людское доверие, Империя вообще бы не возникла. Священная и необходимая основа существования Империи — это взаимное и обоснованное недоверие друг к другу. Тот, кто ставит под сомнение необходимость этого недоверия, тот ставит под сомнение сами принципы, на которых базируется Империя.

— Уф! — с неожиданной горячностью воскликнул Риссен. — Но ведь были же причины экономического и культурного характера.

— Я о них прекрасно помню. И не думайте, пожалуйста, будто я нехожу из интеллигентского предрассудка о том, что Империя существует для нас, а не мы для Империи. Я только хочу сказать, что отношение каждого отдельного индивидуума к Империи определяется двумя моментами: материальными потребностями и интересами собственной безопасности. Если мы вдруг заметим — я не говорю, что мы уже заметили, я говорю, если это когда-нибудь случится, — так вот, если мы заметим, что наш гороховый суп стал жиже, мыло никак не годится, а дом вот-вот обвалится и никто не хочет взяться и все это наладить, разве мы станем проявлять недовольство? Нет, мы знаем, что благосостояние не есть самоцель, и наши жертвы приносятся во имя высшего смысла. Если в один прекрасный день мы обнаружим, что наши дома обнесены колючей проволокой, неужели мы станем жаловаться на ограничение свободы передвижения? Нет, ибо мы знаем, что это делается для блага Империи. И если когда-нибудь нам придется поступиться свободным вре-

менем ради необходимой военной подготовки или отказаться от приобретения излишних знаний, чтобы иметь возможность получить профессию для работы в какой-то самой важной в данный момент отрасли, — разве мы станем роптать? Нет, и еще раз нет! Мы полностью сознаем и одобляем тот факт, что Империя — это все, отдельная личность — ничто. Мы принимаем и одобляем мысль о том, что, если отбросить технические знания, то значительная часть так называемой «культуры» — это не более чем предмет роскоши, пригодный лишь для тех времен, когда никто и ничто не будет угрожать нам — если только эти времена вообще когда-нибудь наступят. Простое поддержание человеческого существования и неустанно развивающиеся военно-полицейские функции — вот суть жизни Империи. Все остальное — побочные продукты.

Риссен молчал, на лице его застыло мрачное выражение. Ему нечего было возразить на мои не слишком оригинальные высказывания, но я был уверен — и наслаждался сознанием этого, — что его питатская интеллигентская душа изнывает от раздражения.

Между тем Кэррек резкими шагами ходил взад и вперед по комнате. Кажется, он, к моему огорчению, слушал не особенно внимательно. Когда я кончил, он сказал нетерпеливо:

— Да, да, все это прекрасно. Но, насколько мне известно, полиции пока еще не приходилось иметь дела с духами. До сих пор они считались сверхъестественными существами, и их никто не трогал. Одно дело, когда люди за ужином болтают что-нибудь неподходящее или удирают с официального праздника, но духи... Нет уж, увольте!..

— До сих пор у нас не было средств для борьбы с ними, — вставил я. — Каллокани дает возможность контролировать мысли и чувства.

Но и в эти слова он, по-моему, не очень-то вник и только весьма недружелюбно отозвался:

— Этак кого угодно можно засадить.

И вдруг он остановился, словно смысл собственных слов не сразу дошел до него.

— Этак кого угодно можно засадить, — повторил он, на сей раз тихо и очень медленно. — Может быть, вы не так уж не правы... не так уж не правы...

— Но ведь вы сами говорите, мой шеф, — в ужасе воскликнул Риссен, — что так кого угодно...

Но Каррек не слушал его. Он снова ходил взад и вперед по комнате, и его узкие прищуренные глаза смотрели прямо и непреклонно.

Желая помочь ему, я, хотя и со стыдом, рассказал о выговоре, который получил от Седьмой канцелярии Департамента пропаганды. Это его явно заинтересовало.

— Вы говорите, Седьмая канцелярия Департамента пропаганды? — повторил он. — Это любопытно. Это в высшей степени любопытно.

Прошло еще сколько-то времени. В комнате было тихо, только поскрипывали подметки без устали ходившего Каррека, да доносился иногда отдаленный шум метро, и из соседней комнаты слышались слабые звуки голосов. Наконец он остановился, прикрыл глаза и произнес медленно и раздельно, словно взвешивая каждое слово:

— Позвольте мне быть совершенно откровенным. Если у нас будут хорошие связи с Седьмой канцелярией, мы сумеем провести закон о преступных помыслах.

Насколько я помню, в тот момент у меня было лишь одно желание — помочь Карреку, оказать ему услугу. А может быть, — сейчас уже трудно сказать, — меня тогда уже захватил его грандиозный план, о котором я вначале и не помышлял.

Между тем он продолжал:

— Я пошлю одного из вас — лучше того, кто умеет хорошо и убедительно говорить, — в Седьмую канцелярию. Мне самому ввиду некоторых обстоятельств туда ходить не стоит... Как, соратник Калль, вы справляйтесь? Впрочем, я сначала спрошу руководителя. Можно Каллю поручить это дело?

Немного поколебавшись, Риссен ответил:

— Да, можно. Безусловно.

Но говорил он с явной неохотой. В этот момент он впервые открыто проявил свою неприязнь ко мне.

— Тогда давайте поговорим с глазу на глаз, соратник Калль.

Мы прошли в мою комнату, и тут он без всякого стеснения прикрыл «ухо полиции» подушкой. Должно быть, на моем лице отразилось недоумение, потому что он рассмеялся:

— Я ведь сам начальник полиции. А если дело выгорит, тогда держись, Туарег...

И как я ни восхищался им, даже этой последней его дерзостью, мне стало немного неприятно, что он проявляет

такое рвение не столько из принципиальных соображений, сколько ради карьеры.

— Ну вот, — продолжал он, — вам нужно придумать, о чем бы вы могли побеседовать с Лаврис в Седьмой канцелярии. Ну, хоть об этом выговоре, но только чтобы связать его с вашим открытием. А потом вы мимоходом — только учтите, именно мимоходом, потому что законодательство не входит в компетенцию Седьмой канцелярии, — потом вы упомянете, какое значение имел бы этот наш новый закон, — ваши и мой... Я вам скажу, в чем тут дело: Лаврис имеет влияние на министра юстиции Тачо...

— Так не проще ли обратиться прямо к нему?

— Из этого ничего не выйдет. Даже если бы у вас было какое-то важное дело помимо нашего проекта, вы попали бы к нему не раньше чем через несколько недель. А ведь вы нужны у себя в городе, вам нельзя так долго отсутствовать. Если же идти только с проектом, то вас скорее всего вообще не впустят: кто вы такой, чтобы изменять законы? Индивид подчиняется законам, но не отменяет и не придумывает их. А вот если бы за это дело взялась Лаврис... Но ее нужно заинтересовать. Как вам кажется, вы сумеете?

— Ну не удастся, так не удастся, — сказал я. — Риссена ведь нет никакого.

Но в глубине души я был уверен, что мне все удастся. Наконец-то я дождался дела, где смогу проявить все свои способности и умение. Каррек, видимо, догадывался о том, что творилось у меня внутри. Испытующе взглянув на меня прищуренными, как всегда, глазами, он сказал:

— Ладно, идите. Пропуск и рекомендации получите завтра. А пока возвращайтесь к работе.

Мы сидели и ждали Туарега. Когда привыкнешь к тому, что все твое время строго расписано и ты твердо знаешь, что должен делать в любую минуту дня и ночи, такое пустое времяпрепровождение кажется особенно мучительным. Но все на свете, даже самое худшее, имеет конец. Туарег пришел, и мы начали работу. Я бы никогда не подумал, что мне понадобится столько выдержки, чтобы унять дрожь в руках, когда небритый верзила — первый из испытуемых — закатал рукав, обнажив локтевой сгиб. Оттого, что маленькие медвежьи глазки Туарега бук-

вально вливались мне в затылок, я чувствовал себя так, словно это мне сейчас делают укол. Но все сошло хорошо. Хотя вначале испытуемый, мучительно напрягаясь, с трудом подбирал слова (что вызвало улыбку у министра полиции и тем несколько разрядило обстановку), в конце он не только полностью признался в том преступлении, в котором его обвиняли (хотя и не могли вынести окончательного приговора за недостатком улик), но и рассказал о других своих проступках, совершенных в одиночку или вместе с сообщниками. Глазом не моргнув, он выложил все имена и детали. У Туарега даже ноздри раздулись от удовольствия.

Один за другим входили испытуемые. Мы с Риссеном по очереди делали уколы, секретарь министра вел протокол. Для большей наглядности нам время от времени подсовывали невинных людей. Я хочу сказать «невинных» лишь в том смысле, что они не преступали закона, ибо в другом, более общем значении, это слово, к явному удовольствию Туарега, отнюдь нельзя было применить ни к одному из них. После того как за весьма короткий срок мы таким образом допросили шестерых, министр полиции поднялся и сказал, что вполне удовлетворен. Он добавил, что отныне наш метод должен заменить все другие способы расследования преступлений по всей Мировой Империи. Нас он собирался оставить в столице еще на два-три дня, с тем чтобы мы могли подготовить себе на смену нескольких специалистов; по возвращении домой нам предписывалось в широких масштабах наладить производство калюкана и одновременно обучить этому делу других. Туарег ушел в прекрасном расположении духа, а к нам в лабораторию вскоре явилось примерно два десятка человек, которых мы должны были инструктировать.

Перед дверью лаборатории выстроилась длинная очередь испытуемых. Все это были преступники, привезенные сюда прямо из мест предварительного заключения.

На следующий день меня вызвал к себе Каррек. Он велел временно передать всю работу Риссену, а мне вручил целую пачку разных пропусков, удостоверений и рекомендации для Департамента пропаганды.

Я совсем забыл рассказать, что все-таки написал ходатайство о проведении пропагандистской кампании в связи с новым набором в Службу жертв-добровольцев. Я носил его в разные учреждения в нашем Городе Химиков и

за несколько дней собрал массу подписей. Теперь это ходатайство было у меня с собой — я хотел лично представить его в Департамент пропаганды. На всякий случай я сообщил об этом Карреку, и он дал мне много полезных советов. Моих рекомендаций должно было хватить и для Третьей канцелярии, ведавшей подобными кампаниями. Итак, вскоре я уже выходил из подземки у массивных подземных ворот Департамента пропаганды.

Нужно сказать, что еще с утра я чувствовал недомогание, и полицейский врач напичкал меня всяческими лекарствами. Видимо, от этого мне было не по себе, и я в страшном возбуждении ждал разговора с руководительницей Седьмой канцелярии Лаврис. В сущности, я пришел сюда не по собственной инициативе, а по поручению Каррека, ибо это он — непонятно почему — был особенно заинтересован в проведении нового закона. Но в своем экзальтированном состоянии я испытывал странное ощущение — словно бы я оказался здесь не по приказу Каррека и не по собственному желанию, а подчиняясь какой-то неодолимой силе, которая управляла ростом и развитием нашей великой Империи, приближая ее к окончательному совершенству. И мне, ничтожной частице могучего целого, к тому же порядком отравленной всяческими порошками и каплями, предстояло начать оздоровительную работу, которая должна очистить организм Империи от вредных примесей и ядов, занесенных преступными помыслами. Когда меня после бесконечных формальностей, личного обыска и долгого ожидания пригласили, наконец, в приемную Лаврис, у меня было такое чувство, будто я иду на встречу собственному очищению и вернусь успокоенный и полностью освобожденный от той наносной муты, которая была мне так противна, но все-таки нет-нет да и оседала где-то в темных углах моего сознания и которая раз и навсегда была теперь связана для меня с именем Риссена.

Кабинет Лаврис ничем не отличался от сотен других, и только по фигурам часовых, которые постоянно несли вахту так же, как в кабинете министра полиции, можно было догадаться, что тут находится святилище имперской власти. Я глубоко вздохнул, в висках у меня застучало. Передо мной за письменным столом сидела высокая женщина с тонкой шеей, с застывшей на лице гримасой иронии. Это была Калипсо Лаврис.

Даже если бы я мог определить ее возраст, даже если

бы она не сидела неподвижно, как изваяние древнего божества, все равно в моем лихорадочном состоянии я воспринял бы ее как некое почти сверхъестественное существо, начисто лишенное человеческих слабостей. Даже большой прыщ, вскочивший у нее на левой стороне носа и пыле достигший полной зрелости, не мог в моих глазах свести ее на грешную землю. Ведь она олицетворяла собою высшую этическую инстанцию Империи или, по крайней мере, ведущую силу той высшей этической инстанции, которой являлась Седьмая канцелярия Департамента пропаганды! На ее лице нельзя было прочесть никаких личных чувств, как у Туарега, неподвижность не таила скрытого напряжения Кэррека — в ней воплотилась только кристально чистая логика, лишенная каких бы то ни было примесей и несовершенств, свойственных отдельным личностям. Все это подсказывало мне в тот момент возбужденное воображение, но я думаю, что созданный мною образ более или менее соответствовал действительности.

Итак, я не мог прямо говорить о введении нового закона, потому что официально Седьмая канцелярия не занималась такими делами. Но я был уверен, что найду выход. Ведь то, что я хотел предложить, необходимо для спасения Империи, для спасения меня самого.

К счастью, я сообразил, что мой визит можно связать с недавно полученным письмом. Пока посыпали за моей карточкой, хранящейся в тайной картотеке полиции, мне пришлось не меньше двух часов просидеть в маленькой приемной рядом с кабинетом. «Ничего, — думал я, — нужно научиться и этому, нужно научиться ждать». Наконец эти два часа миновали. Да и то сказать, карточка была доставлена сравнительно быстро. Ведь картотека всех жителей Мировой Империи должна была занимать огромную площадь! Я, правда, никогда не видел эту картотеку, но представлял себе, что путь от входа до того места, где стоит моя карточка, отнимет, по крайней мере, час — и соответственно столько же придется идти обратно. На поиски времени уйдет немного, потому что картотека, безусловно, содержится в идеальном порядке, но надо еще учесть, что она находится наверняка не в здании Департамента пропаганды, а во Дворце полиции, так что двухчасовое ожидание — это не так уж много.

Когда меня снова вызвали в кабинет, Лаврис изучала мою карточку — то есть это только называется «карточ-

ка», на деле это была целая переплетенная тетрадь, — а рядом на столе лежали еще какие-то бумаги, очевидно имеющие отношение к письму Департамента пропаганды. Лаврис, по-видимому, уже забыла эту историю, да и не удивительно — у Седьмой канцелярии было достаточно работы с более важными донесениями и прочими проблемами, возникавшими во всех уголках Империи.

— Итак, — сказала Лаврис высоким, лишенным оттенков голосом, — я прочла вашу карту. Тут сказано, что вы уже послали заявку на выступление в «Часе покаяний», но ваша очередь еще не подошла. Чего вы, собственно, хотите?

— На меня произвели глубокое впечатление слова «разоблачение страдающих раздвоенностью есть долг каждого преданного Империи солдата», — сказал я. — И вот я даже сделал открытие, которое даст возможность разоблачать их систематически и более основательно, чем раньше.

И я рассказал о каллокайне, вложив в свои слова всю силу убеждения, на которую был способен.

— Теперь, — закончил я, — на очереди введение нового закона, который по глубине содержания превзойдет все, какие до сих пор знала история, — закона, карающего преступные мысли и чувства. Может быть, он появится не сразу, но появится непременно.

Она молчала. Тогда я решил пустить в ход те слова, что подействовали на Кэррека.

— Под этот закон можно подвести кого угодно, — сказал я и после паузы добавил: — Я имею в виду, разумеется, только тех, кто в своих мыслях недостаточно лоялен.

Лаврис не произнесла ни слова. Казалось, лицо ее застыло еще больше. Вдруг она протянула вперед крупную красивую руку, осторожно взяла двумя пальцами карандаш и медленно стала сжимать его, пока кожа на суставах не побелела. Потом она подняла на меня глаза и спросила:

— У вас все, соратник?

— Да, все, — ответил я. — Я лишь хотел обратить внимание Седьмой канцелярии на открытие, благодаря которому можно обнаружить предосудительную внутреннюю раздвоенность, даже если она еще не успела привести к нарушению закона. Прошу прощения, если я напрасно побеспокоил вас.

— Седьмая канцелярия благодарит вас за добрые намерения, — ответила она бесстрастно.

Я попрощался и вышел, исполненный, как и прежде, возбуждения и одновременно всяческих сомнений.

Когда я со своими списками дошел до дверей Третьей канцелярии, раздался сигнал, возвещавший конец рабочего дня, и меня едва не сбили с ног выскочившие из комнаты служащие. Только один пожилой человек с кислым лицом еще сидел над какими-то расчетами, и мне ничего не оставалось как обратиться к нему. Он поморщился, но, увидев мои рекомендации, взял списки и просмотрел их.

— Вы говорите, тысяча двести человек? Все научные работники? Жаль, что вы пришли так поздно. То, что вы предлагаете, уже осуществляется. Мы получили подобные же прошения, по крайней мере, из семи Городов Химиков, некоторые пришли еще месяцев восемь тому назад. Подготовка к пронагандистской кампании идет полным ходом.

— Очень рад, — ответил я, слегка разочарованный тем, что не смогу лично принять участие в этом почетном деле.

— Следовательно, вам тут больше нечего делать, — заключил мой собеседник, снова склоняясь над колонками цифр.

— Но разве мне нельзя посидеть где-нибудь в уголке? — воскликнул я. Сам не знаю, откуда взялась во мне эта смелость, наверно, все от того же лихорадочного возбуждения. — Вы же видели, насколько я заинтересован в этом деле, так почему же мне нельзя принять участие в подготовке самой кампании? У меня такие рекомендации, посмотрите, вот... вот... и вот...

Одним глазом глядя в свои цифры, он другим покосился на мои рекомендации, потом с глубоким вздохом посмотрел вслед последнему из уходящих сотрудников, однако отказать мне не решился. Наконец он принял решение, которое, по-видимому, было связано с наименьшей потерей времени.

— Я вам дам пропуск, — сказал он.

Затем быстро вставил в машинку листок бумаги, отпечатал несколько строк, поставил внизу большую печать Третьей канцелярии и протянул листок мне.

— Дворец кино, приходите в восемь вечера. Не знаю, что там у них сегодня, но что-нибудь да будет. С этой

бумагой вас пропустят. Меня, правда, никто не знает, по тут есть печать. Ну что, довольны теперь? Надеюсь только, что я не сделал ничего предосудительного...

Но то, что он сделал, в конечном итоге все-таки оказалось предосудительным. Только спустя несколько дней я понял, что по правилам меня нельзя было допускать во Дворец кино. Требовалась совсем иная подготовка, может быть, даже иной характер образования, чтобы избежать потрясения, которое я тогда получил; я думаю, что, если бы я обратился со своей просьбой к компетентному лицу, мне бы, конечно, отказали. Разумеется, тут сыграло роль и мое лихорадочное состояние, но так или иначе, впечатления, испытанные во время вечера, остались во мне след надолго.

Пребывание в мире возвышенных принципов оказалось для меня кратковременным. Непроницаемая холоданость Лаврис поколебала мою убежденность и прежде всего веру в себя. Кто я, собственно, такой, чтобы строить великие планы спасения Империи? Больной и усталый человек, слишком больной и усталый, чтобы искать прибежища у безупречно функционирующего воплощения этических принципов, наделенного высоким, линиенным оттенком голосом. У Лаврис должен был быть глубокий материнский голос, как у той женщины из секты умалшенных, она должна уметь утешать как Линда, она должна быть самой обыкновенной женщиной.

Когда я в своем состоянии усталой полудремы додумался до этого, сон с меня как рукой сняло, и я торопливо выскочил из вагона подземки. Бумага со штампом Третьей канцелярии, которую дал мне медлительный чиновник, служила вместо пропуска, и вскоре я, сам толком не зная как, очутился у подземных дверей, ведущих во Дворец кино. В столице все имперские учреждения имели подземный вход, и мне за все время пребывания тут ни разу не удалось выбраться на свежий воздух.

Когда я в своем внезапном порыве попросил у чиновника разрешения посидеть где-нибудь в уголке, мне почему-то представлялось, что я буду смотреть, как снимается фильм. Это было бы и интересно и в моем состоянии просто приятно спокойно посидеть где-нибудь на более или менее удобном месте в качестве рядового зрителя. Но я ошибся. Комната, куда я попал, представляла

собою обычный лекционный зал. Не было ни прожекторов, ни кулис; около сотни слушателей в форме свободного времени сидело на скамьях. При входе меня спросили, кто я и откуда, внимательно проверили документы и, наконец, проводили к одной из задних скамеек.

Начались приветственные речи. Я понял, что собравшиеся пришли сюда для того, чтобы предварительно обсудить ряд сценариев, произвести первоначальный отбор и наметить направления дальнейшей работы. Тут был представлен ряд учреждений, в частности, различные канцелярии Департамента пропаганды, лидеры деятелей искусства, Департамент здравоохранения. От самой Службы жертв-добровольцев никто не пришел, что, впрочем, меня не удивило. Появился основной докладчик, как я догадался, психолог по специальности. Когда он вышел на трибуну, я так и винился в него глазами. У нас в Городе Химиков, по существу, не было психологов, если не считать нескольких консультантов в Унгдомслэгер и психотехников, проводивших пробы при распределении молодежи по разным специальностям.

Дин Каумита был небольшого роста и хрупкого сложения, с блестящими черными волосами. Он говорил, сопровождая свои слова отлично рассчитанными жестами. К сожалению, я не могу воспроизвести его речь дословно, так как многое ускользнуло из моей памяти. Но основное содержание я помню хорошо.

— Соратники! — начал он. — Как вы видите, передо мной лежит огромная пачка рукописей — всего их триста семьдесят две. Разумеется, я не могу останавливаться на каждой в отдельности; те, кому будет предложено участвовать в дальнейшей разработке, надеюсь, извинят меня. (Смех в зале: разумеется, никто из этих халтурщиков, представивших абсолютно сырой материал, не был приглашен для дальнейшей квалифицированной работы.) Вместо этого я хочу привести ряд критических замечаний и указаний общего характера, которые вам следует положить в основу всей вашей деятельности.

Прежде всего я позволю себе разделить все эти истории на две основные группы: с так называемым счастливым концом и, соответственно, — с несчастливым. Так как задача фильмов — привлекать людей в Службу жертв-добровольцев, то можно было бы подумать, что наиболее целесообразны ленты со счастливым концом. Но в действительности дело обстоит вовсе не так — сейчас я дока-

жу это. Для кого притягательны такие фильмы? Для лиц слабых и вялых, для тех, кто больше всего боится боли и смерти, а ведь мы обращаемся не к ним. Психологические исследования свидетельствуют о том, что лишь очень небольшая — и все время уменьшающаяся — часть сотрудников Службы вербуется из людей подобного типа. Когда они видят счастливый конец, они забывают все содержание фильма. Они приходят домой и спокойно ложатся спать, убежденные, что теперь герою и героине обеспечено благополучие. Такие не записутся в Службу жертв-добровольцев. Я не против фильмов с счастливым концом, но они не годятся для периода кампаний. Их можно показывать в другое время, чтобы одобрить и успокоить родных и друзей наших жертв-добровольцев. Пусть люди смотрят и вспоминают своих близких, быть может, погибших на этой работе. Не нужно только демонстрировать эти фильмы один за другим, а так пусть себе идут, и пусть в них будет не только счастливый конец, но и хорошая доля юмора, смешные эпизоды, трогательные — только не героические — ситуации. Тут нужно сказать, что многие сценарии имеют один общий недостаток — в них смешиваются настроения, допустимые лиць в период между кампаниями, и настроения, которые желательно культивировать именно во время проведения кампаний.

В качестве наиболее действенных зарекомендовали себя как раз фильмы с так называемым несчастливым концом. Я говорю «с так называемым», ибо вопрос о том, что считать счастьем, а что несчастьем для отдельной личности — это вопрос не только чисто субъективный, но, в сущности, и лишенный всякого смысла, так как, строго говоря, ничто не должно рассматриваться с точки зрения отдельно взятого индивида. В общем, я имею в виду фильмы, заканчивающиеся смертью героя. Мы можем при всех обстоятельствах рассчитывать на определенный процент наших соратников, которые почтут такой исход высшим счастьем, особенно если гибель героя свершается на благо Империи. Именно из людей подобного типа в основном вербуются сотрудники Службы, и я имею все основания надеяться — я еще вернусь к этому позже, — что теперь у нас появится особению много таких сотрудников. Нужно лишь пробудить наклонности людей и развить их в должном направлении.

Большое значение имеет то, каким именно образом

герой погибает. Смерть должна быть красивой. Прежде всего следует тщательно избегать изображения таких болезней, в которых есть что-то смешное или унижающее. Показывать состояние, когда человек превращается в развалину, когда он не может владеть собой и сохранять чувство собственного достоинства, когда он не в силах элементарно обслужить себя — все это сейчас совершенно недопустимо! В фильмах, предназначенных для периодов между кампаниями, — пожалуйста! И притом со счастливым концом и упором на комическую сторону. Но страдания, которые привлекают подлинных героев, должны: а) достойно выглядеть, б) быть целесообразными.

Стремление чувствовать и осознавать свое «я» исключительно как инструмент для достижения высшей цели есть движущая сила всей жизни тех героических натура, о которых я говорил. Никто не может всерьез считать, что его жизнь представляет ценность сама по себе. Когда мы говорим о ценности жизни, мы не имеем в виду жизнь той или иной личности. Разве мы посмеем сказать, что хоть один день, один час нашей жизни представляет собой ценность сам по себе? Никогда! И я утверждаю, что каждый индивид, ощущая ничтожность собственного существования, неизбежно приходит к осознанию господствующих над всем требований Высшей Цели. Страдающий в фильме герой должен добиться наглядного результата — его гибель должна спасти не одного человека, ибо тот и сам мог бы себя спасти! — не небольшое количество людей, а тысячи, миллионы, может быть, всех солдат Империи!

Под целесообразностью в изображении страданий я подразумевал вот что: герой во что бы то ни стало должен одержать победу. Дело совсем не в том, чтобы в конце он непременно пожинал лавры — это только снизит уровень фильма и не произведет надлежащего впечатления на людей, обладающих подлинно подвижнической натурой. Нет, герой должен восторжествовать над собственной слабостью. Пусть он столкнется с негодяем с эгоистическими замашками, легко поддающимся соблазнам и пасующим перед болью и смертью. Грубый и вульгарный, урод или вылощенный красавчик, слабый и недисциплинированный, трусливый и распущенный — пусть везде и во всем он будет противопоставлен главному герою. Только не надо ничего утрировать.

Пусть образ негодяя будет как бы предупреждением, как бы напоминанием для чуткой совести: а я не похож на него? Боязнь оказаться трусливым, бесчестным, внутренне убогим играет огромную роль для тех героических натура, о которых я говорил и на которых мы, проводя нашу пропагандистскую кампанию, должны рассчитывать прежде всего.

Наша очень немногие из сценариев отвечают этим строгим требованиям. В дальнейшем мы сделаем следующее: разделим весь материал на части по числу отделов нашей студии, затем рассортируем его и отберем то, что годится. Все это мы постараемся улучшить и отшлифовать. Через две недели эта работа должна быть закончена, и тогда мы встретимся снова и обсудим результаты. А теперь благодарю за внимание и предлагаю приступить к обсуждению.

Он сошел с трибуны. Надо сказать, что у меня испортилось настроение, сам не знаю почему. Конечно, все собравшиеся не видели ничего плохого в том, что докладчик говорил о своих соратниках как квалифицированный техник о хитроумных механизмах; больше того, каждый из сидевших в зале наверняка хотел сам быть на его месте. То ли по причине своего лихорадочного состояния, то ли просто так, но я чрезвычайно отчетливо вспомнил своего первого испытуемого, № 135, и единственный великий час его жизни, из-за которого я ему так завидовал. Я мог сколько угодно презирать этого человека, мог дурно обращаться с ним в мыслях или на деле, но до тех пор, пока я завидовал ему, я не мог относиться к нему как к машине.

Началось обсуждение. Некоторые указывали на то, что в большинстве фильмов герои должны быть молодыми, чтобы привлечь юношей и девушек. Не потому, что Служба жертв-добровольцев предпочитала молодых работников. Статистика свидетельствовала о том, что все сотрудники Службы, как правило, могли функционировать определенное число лет, независимо от того, в каком возрасте они поступали на эту работу. Следовательно, для Империи было бы даже выгодно, если бы тот или иной солдат сначала потрудился в другой области, а уж потом отработал свои несколько лет в Службе. Но тут следовало учесть другой момент — молодые люди легче поддавались воздействию. Супружество и активная трудовая жизнь, как правило, не способствовали переходу в Службу.

Конечно, нельзя забывать, что среди лиц любого возраста и профессии всегда найдутся такие, которые сами не знают, чего хотят; так называемое счастье и так называемая жизнь не удовлетворяют их, и они вечно рвутся к новым ощущениям. Но именно юных, как ни заботятся о них в лагерях, чаще всего постигает разочарование и одиночество, пожалуй, даже опасное одиночество, и юных следует поэтому стараться привлечь в первую очередь.

Следующий оратор согласился с этим утверждением и добавил, что делать ставку на молодежь стоит еще и по другой причине: так как после каждой умело проведенной кампании заявления из Унгдомслэгер идут буквально потоком, то имеется возможность делать выбор. Просто опрометчиво забирать в Службу всех желающих, ибо среди них может оказаться немало одаренных юношей и девушек, которых куда уместнее было бы использовать в другой области. Отсюда следовало, что нельзя набирать добровольцев слишком юного возраста, так как вопрос о профессиональной пригодности человека решается не раньше чем в пятнадцать-шестнадцать лет.

Новый выступающий возразил, что нередко способности бывают ярко выражены уже у восьмилетнего ребенка и, следовательно, в Службу жертв-добровольцев можно записывать с восьми лет, а в связи с этим неплохо было бы снять несколько фильмов специально для детского возраста.

По следующий оратор заявил, что в восемь лет талант проявляется чрезвычайно редко; кроме того, попытка привлечь детей едва ли даст значительные результаты, скорее всего нельзя будет даже покрыть расходы по производству фильмов. Есть и другие возражения — в частности, то, что детям, которые выразят желание записаться в Службу, уже не придется получать образование. Надо также учитывать, что подлинно героические наклонности могут проявиться лишь в зрелом возрасте.

Еще один выступавший говорил о том, что фильмы нужно выпускать один за другим, чтобы не было больших промежутков. Для вербовки добровольцев не следует оказывать на людей давление, да оно, в сущности, и не потребуется. Иной раз момент внезапности играет большую роль и оказывает такое же действие, как применение силы. Человека неожиданно ставят перед выбором: теперь или никогда — если ты не сделаешь того-то и того-то

в отведенный тебе срок, потом будет поздно. Страх, который так часто возникает у людей в критические моменты жизни, усиливается, если они вынуждены сделать мгновенный выбор, но при правильно поставленной пропаганде именно наличие этого страха может привести к благоприятным результатам.

Эту мысль развил новый участник обсуждения. Он отметил, что страх, который действительно время от времени появляется буквально у каждого, вполне может быть обращен на пользу Империи. Надо только, чтобы в дело вмешался опытный психолог. Когда страх предшествует окончательному решению, он не может повредить, если само решение представляется неизбежным. Человек осознает, что не может поступить иначе, и уже это приносит ему огромное облегчение, а восторг первых добровольцев тем более вызывает желание идти за ними. Не следует умалять значения всех этих переживаний — они могут привлечь гораздо больше людей, чем если относиться к ним с иренебрением. Нет смысла требовать, чтобы люди завербовывались на всю жизнь, даже принятый сейчас десятилетний срок слишком велик. Его следовало бы снизить до пяти лет, и никто бы от этого не пострадал. Все равно через пять лет у сотрудников Службы уже не остается ни сил, ни возможностей для перехода на другую работу. При правильно поставленной пропаганде можно обойтись без применения силы и тем самым избежать сопротивления.

Не забудьте, что я был нездоров. Иначе просто невозможно объяснить, почему я вдруг встал и попросил слова. № 135 по-прежнему не выходил у меня из головы. Когда он сидел передо мной, я делал все, чтобы унизить его, но теперь мне захотелось выступить в его защиту.

— Позвольте мне сделать одно замечание, — начал я медленно и неуверенно. — У меня такое впечатление, что вы относитесь к вашим соратникам как к своего рода механизмам, и это, на мой взгляд, свидетельствует... ну, о недостатке уважения...

Мой голос прервался, и я ощущал головокружение. Кажется, я не в состоянии был говорить связно.

— Ни в коем случае! — резко и нетерпеливо воскликнул один из предыдущих ораторов. — Что за инсинации! Никто не может с большим уважением относиться к героическим натурам! Как будто я не знаю, насколько они необходимы Империи! Я, который столько лет жизни по-

святили изучению именно этого типа людей! Неужели я стал бы заниматься этим, если бы искренне не ценил их? И вдруг являетесь вы и говорите о недостатке уважения!

— Да, да, — сказал я смущенно, — уважения к результату... по... но...

— Но что? — воскликнул мой противник. — Что вы, наконец, имеете в виду?

— Ничего, — тихо сказал я, садясь на место. — Вы правы, я ошибся и прошу извинения.

Я вытер пот со лба. Хорошо, что я вовремя остановился. А правда, что я хотел сказать? «У вас недостает уважения к № 135. К этому жалкому человеку, скрывающему под маской благородной черты эгоизма и индивидуализма?» Я начинал бояться самого себя.

Нет, не самого себя. Мне приходилось защищаться во все не от собственной натуры. Это был не я. Это был Риссен.

Опасность, которой я чудом избежал, так потрясла меня, что долгое время я никак не мог сосредоточиться на том, что происходит вокруг. Когда, наконец, я пришел в себя, на трибуне снова стоял Дин Какумита. Он, видимо, говорил уже давно.

— Этих, так сказать, пассивных героических натур сейчас требуется в имперской действительности все больше и больше. Они нужны не только в Службе жертв-добровольцев, но и в других учреждениях в качестве рядовых сотрудников; они нужны для того, чтобы рожать и поставлять Империи детей. Особенно велика потребность в них в военное время, когда каждый из наших соратников должен перейти в этот разряд. Разумеется, всем должно быть ясно, что такие люди нежелательны на руководящих постах, где требуется трезвый ум, деловитость, решительность и сила. Проблему следует поставить так: каким образом при необходимости можно увеличить количество этих людей, принадлежащих к благороднейшему человеческому типу, этих одиноких и отважных героических душ, разочарованных в жизни и готовых на смерть и страдания? Итак...

И тут я почувствовал себя настолько скверно, что решил уйти. Поскольку я был здесь чужой и не являлся официальным участником дискуссии, меня должны были свободно выпустить. Стараясь ступить как можно тише, я стал пробираться к двери. Там я показал вахтеру свои

документы и шепотом начал объяснять, как я сюда попал, но меня прервал внезапно появившийся у дверей высокий смуглолицый мужчина в военно-полицейской форме. Судя по нашивкам на рукаве, он состоял в весьма высоком чине. Видимо, у него были основания явиться сюда так поздно. После проверки документов вахтер не только пропустил его, но и проводил в зал; я же без помех выскользнул в коридор. Затем я услышал из зала низкий и твердый голос снова припiedшего, однако слов не разобрал: вслед за тем в зале поднялся шум. Вахтер вернулся на место, и я, не удержавшись, спросил его, в чем дело.

— Ш-ш, — прошептал он, оглянувшись по сторонам. — Ну, ладно, соратник, раз вы еще не ушли, так я скажу. Производство пропагандистских фильмов для Службы жертв-добровольцев прекращается. Все силы будут брошены на другое. Вы понимаете, что это значит, и я тоже, но никто не имеет права понимать это до конца...

Говорить так — уже значило понимать до конца. Но я слишком устал и, не ответив ему ни слова, поспешил в лифт. Однако он был прав: я отлично сознавал, что это значит. Мировая Империя находилась на пороге новой войны.

Я утолил свою жажду приключений. В столице мне пришлось испытать столько разнообразных впечатлений: решающее испытание каллокаина в присутствии Туарега, визит в Седьмую канцелярию и, наконец, дискуссия о фильмах, к которой я внутренне не был подготовлен. Да, не был подготовлен, это нужно сказать прямо; и мне становилось страшно стыдно всякий раз, как я вспоминал свой нелепый вынад. Казалось бы, теперь, когда я полностью осознал всю неправильность своего поведения, можно было и успокоиться. Впервые в жизни я услышал такую ясную, деловитую и объективную оценку качеств и возможностей наших соратников, так почему же меня не покидало ощущение, что все те колоссальные усилия, свидетелем которых я был, предпринимаются ради никчемной цели? Я понимал, что это ложный и нездоровий взгляд, и всеми возможными аргументами пытался сам себя опровергнуть. Но для той пустоты, которая все росла и росла во мне, я не находил иного слова, кроме как «бессмыслица».

«А что будет, — думал я с ужасом, — если какой-нибудь шутник-полицейский или даже Риссен в один прекрасный день заберет из моих рук шприц и сделает укол мне самому? Легко представить, что скажет о моем душевном состоянии Седьмая канцелярия. Уж наверное Риссен охотно воспользовался бы возможностью разоблачить меня и лишний раз найти подтверждение своей любимой злее о том, что «ни один подданный старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью». Разве не к этому он все время стремился? И вообще, разве не он своими коварными замечаниями вызвал у меня все эти жестокие мысли? Он представляет явную опасность — и для меня и для других. Но страшнее всего было думать о том, насколько он сумел опутать Липцу и не готовят ли они оба заговор против меня.

Все эти опасения жили во мне как бы подспудно — я был слишком занят, чтобы уделять им много времени. Туарег уже отдал приказ о применении каллокайна во время следствия и судопроизводства, и теперь в наш город со всей Мировой Империи съехалась масса народа — все участники курсов, которые нам поручено было открыть. Нас с Риссеном передали — на время, как было сказано, — в распоряжение полицейского управления, и нам пришлось перебраться туда. Каррек велел направлять всех арестованных прямо в наши аудитории — таким образом, можно было и провести следствие, и дать курсантам возможность попрактиковаться. На занятиях всегда присутствовал в качестве судьи какой-нибудь офицер высокого ранга; протокол вели как полицейский секретарь, так и кто-либо из курсантов.

Вскоре стало ясно, что работы у нас непочатый край. На курсы пришлось принять гораздо больше людей, чем было запланировано, да еще оставались желающие, которые ждали своей очереди. Подследственных мы пропускали буквально в бешеном темпе, даже обеденный перерыв пришлось сократить до получаса, и все равно мы не успевали. Работа судов всегда была засекреченной, и я не мог сравнить нынешнюю ситуацию с прежними временами. Но меня поразило обилие ложных обвинений или, если выражаться мягче, обвинений, сделанных по пустякам. Курсанты десятками вопросов буквально выворачивали каждого подследственного наизнанку, а между тем вина его, с точки зрения суда, часто оказывалась столь смехотворно малой, что невольно возникали сомнения

в необходимости всей этой процедуры. К тому же нам не хватало каллокайна, который пока еще производился только в лабораторных условиях.

Однажды у нас возникла дискуссия во время обеденного перерыва. (Нам — то есть Риссену, мне и курсантам — было предоставлено несколько длинных столов в помещении, где питался вспомогательный персонал полицейского управления.) Как всегда, утро у нас прошло в дикой спешке, воздух в помещении был еще жарче и влажнее, чем обычно, и вдобавок несколько вентиляторов на нашем этаже испортилось. Кто-то начал возмущаться большим количеством необоснованных доносов.

— В течение последних двадцати лет число доносов неуклонно возрастает, — сказал Риссен. — Я это слышал от самого начальника полиции.

— Но это не означает роста преступности, — возразил я. — Увеличилась лояльность и преданность наших соратников, их нетерпимость ко всему, что недостойно...

— Увеличился страх, — отрезал Риссен с неожиданной энергией.

— Страх?

— Да, страх. Мы живем под все более строгим контролем, но это порождает у нас не чувство уверенности, как мы надеялись, а боязнь. Вместе с боязнью растет стремление наносить удары тем, кто окружает нас. Общеизвестно, что, когда дикий зверь, ощущая опасность, видит, что ему некуда скрыться, он бросается в нападение. Когда страх обволакивает нас, нам не остается ничего другого, как нанести первый удар. Ах, как трудно, если не знаешь, куда бить... Но недаром пословица гласит, что лучше быть молотом, чем наковальней. Если ты ударишь сильно и вовремя, то, может быть, сам спасешься. Есть старая легенда о фехтовальщике, который был настолько искусен, что выходил сухим из-под дождя: он так быстро размахивал шпагой, что ни одна капля не успевала упасть на него. Вот так же нужно уметь фехтовать и нам, живущим в эпоху великого страха.

— Вы говорите так, словно каждый непременно должен что-то скрывать, — начал я, но сам почувствовал, как неубедительно звучат мои слова.

Я не хотел верить ему, но перед моими глазами внезапно предстала картина, которая буквально ужаснула

меня. А вдруг он все-таки прав? И если мой визит к Лаврис возымел действие, если теперь не только слова и поступки, но также мысли и чувства будут подвергаться судебному преследованию, тогда... тогда... Как копошащиеся муравьи, все наши соратники придут в движение, но не для того, чтобы помочь себе подобным, а для того, чтобы паносить друг другу удары. Я видел, как люди, работающие вместе, доносят один на другого, как мужья пишут доносы на жен и жены на мужей, подчиненные обвиняют начальников и начальники подчиненных. Риссен был не прав. Я ненавидел его за то, что он обладал какой-то непонятной способностью внушать мне свои мысли. Но я успокоился, когда подумал, кто именно первым подпадет под действие нового закона.

Через несколько дней пришел новый приказ Каррека. В соответствии с ним все следственные дела (и соответственно обучение курсантов) передавались Риссену. Ему должны были помогать самые способные из учеников. Мне же предписывалось возглавить новые курсы по подготовке специалистов, которым предстояло наладить производство каллокайна в широких масштабах.

Я понимал, что это необходимо, и, с одной стороны, даже радовался возможности снова вернуться к химии. Но с другой — чувствовал некоторое раздражение и разочарование.

Однако вот что произошло в дальнейшем.

Среди наших испытуемых все еще находился тот пожилой человек из секты умалишенных, о котором я уже упоминал и которого мы не успели допросить из-за отъезда в столицу. Потом он долго болел, и, когда наконец выздоровел, моля как раз направили на вновь организованные курсы, то есть я уже не мог присутствовать при допросе. Жалость, которую я почувствовал по этому поводу, удивила и даже испугала меня. Я пытался понять, в чем тут дело. Может быть, я надеялся испытать нечто подобное тому, что при разговоре с женщиной из этой секты, которая произвела на меня столь глубокое впечатление, что меня вновь потянуло к тем же опасным ощущениям? Но мне самому не хотелось верить в такие унизительные мотивы. Прежде всего я должен был согласно приказу Каррека распутать этот клубок и узнать, что скрывалось за безумствами членов секты. Судя по интеллигентной внешности пожилого человека, он мог быть посвящен в тайны этой группы глубже, чем кто-либо дру-

гой. Мне хотелось присутствовать на его допросе еще и потому, что я подозревал Риссена в тайной симпатии к нему. Таким образом, говорил я сам себе, мой интерес чисто негативного характера — точно так же, как интерес к Риссену. И я решил непременно выяснить все подробности этого дела.

— Если разрешите, я хотел бы узнать, проводилось ли следствие по делу того пожилого человека? — спросил я на другой день Риссена.

— Да, сегодня, — сухо ответил он.

— Ну и как? Выяснилось что-нибудь противозаконное?

— Его приговорили к каторжным работам.

— За что?

— Нашли, что он настроен враждебно к Империи.

Больше ничего я от него добиться не смог. Но можно было еще прочесть протокол допроса.

— А вот этого я не могу ни позволить, ни запретить, — сказал Риссен. — Это дело полиции.

Я позвонил Карреку, и он тут же разрешил. В первый свободный вечер я отправился в полицейское управление, где меня уже ждал Риссен с ключами от сейфа. Он вручил мне протокол, который вел кто-то из курсантов (полицейский протокол хранился в другом месте). Но и этот протокол, как я заметил, был достаточно подробен. Я понял, что должен прочитать его здесь же. Риссен с какой-то работой по-прежнему сидел поблизости, и я догадался, что он намеревается давать мне пояснения, которых я вовсе не хотел слушать.

Однако, начав читать, я передумал. Раз уж он все равно тут, отчего бы не расспросить его.

— Кое-что мне не совсем понятно, — начал я. — Вот, например, «испытуемый начал воспроизводить странные песни». Что это значит? Почему их сочли странными?

— Странные, и все тут, — ответил Риссен. — Я никогда не слышал ничего подобного. Какие-то неясные слова, одни сравнения, картины... а уж мелодии... не представляю, как под них можно маршировать. Но они произвели на меня такое впечатление, такое... как ничто в мире.

Голос Риссена задрожал, и внезапно я почувствовал, что захватившее его чувство как бы передалось мне. Я ни за что не должен был приходить сюда! Я уже получил первое предупреждение, когда услышал проникно-

венный голос женщины, говорившей о мертвом и живом, — голос, который до сих пор звучал для меня как воплощение гармонии и покоя. И сейчас я опять словно бы наяву услыхал его, и одна мысль поразила меня. Какая чудовищная несправедливость, какое дьявольское коварство таится в том, что разъедающая душу зараза распространяется не только сама по себе, но и через третье лицо — ведь я не слышал, как пел тот чужой человек, но его мелодии, эхом прозвучав в голосе Риссена, действовали и на меня.

— А вы не можете дать мне хоть какое-нибудь представление о его песнях? — допытывался я. — Не можете их повторить?

Он покачал головой.

— Нет, они для нас слишком чужды. Они просто ошеломили меня.

Прочитав еще несколько страниц, я все-таки сделал попытку избавиться от ненавистного влияния.

— Вы сами должны признать, что здесь есть преступные мотивы, — сказал я Риссену. — Насколько я знаю, распространение любых сведений и даже слухов, связанных с информацией географического характера, карается по закону. А вот посмотрите: разрушенный город в недоступном месте! Неизвестный город в пустыне! Насколько я понимаю, испытуемый не смог уточнить его местонахождения, но говорить вслух даже такие вещи!..

— Кто знает, существует ли он на самом деле, этот город в пустыне, — отозвался Риссен. — Если верить испытуемому, он известен лишь избранным, некоторые из них якобы жили среди руин. Может быть, это только легенда.

— Ну тогда это вредная легенда, потому что в ней содержатся географические сведения! Если такой город действительно существует и ведет начало со временем, предшествовавших великой войне и возникновению Мировой Империи, если все его население на самом деле погибло от бомб, газа и бактерий, как же может кто бы то ни было жить там, даже сумасшедшие? Если бы это место было пригодно для жилья, Империя давно завладела бы им!

— А вы читайте дальше, — ответил Риссен. — Там сказано, что в этом городе и вокруг полно опасностей: от песка и камней поднимаются ядовитые испарения, в расщелинах живут колонии бактерий — словом, буквально

каждый шаг грозит опасностью. Но зато там встречаются чистые родники, там сохранилась и нетронутая почва, где можно возделывать съедобные растения. Немногочисленным жителям известны безопасные дороги и убежища, эти люди не знают раздоров и помогают друг другу.

— Вижу, вижу. Жалкая жизнь, полная неуверенности и страха. Но эта легенда весьма поучительна. Только такой, в постоянной тревоге и опасности, может быть жизнь людей, которые уходят из-под влияния великой связующей силы — Империи.

Он ничего не ответил. Я продолжал читать и в одном месте невольно вздохнул и покачал головой.

— Опять легенда. Опять история о том, чего нет на свете. Остатки мертвой культуры! В этой отравленной та-зами дыре они якобы сохранили остатки культуры от времени еще до великой войны. Но ведь никакой такой культуры не существует!

Риссен резко повернулся ко мне.

— Почему вы так уверены в этом? — спросил он.

Я удивленно взглянул на него.

— Это мы учили еще в детстве. То, что мы называем культурой, не могло существовать в цивильно-индивидуалистическую эпоху. Вспомните, что характерно для того периода; борьба одиночек и отдельных общественных групп друг против друга. Могучие силы, умелые руки, замечательные умы вдруг по чьему-то произволу выключаются из работы и общественной жизни. Противник лишает их всего, и они погибают, неиспользованные, без смысла... О какой культуре тут может идти речь? Это же просто джунгли.

— Согласен, — серьезно ответил Риссен. — И все-таки, все-таки... Разве нельзя себе представить, что где-то, пусть даже в джунглях, сохранился подземный источник, иссякающий, никому не известный, но чистый?

— Культура — это государственная жизнь, — ответил я кратко.

Но слова Риссена разожгли мою фантазию. Раньше я воображал, что буду читать этот протокол глазами критика, своего рода контролера, а получилось совсем иначе. Я жадно вчитывался в каждое слово, пытаясь понять, войти в неведомый мне мир. Но понять так и не удалось.

Одно место в протоколе буквально заставило меня вздрогнуть. Это снова легенда — о том, что какое-то

племя в соседней стране якобы состоит в родстве с населением одного из пограничных районов Мировой Империи.

Я отодвинул протокол в сторону.

— Ну вот, это уж слишком! — Мой голос дрожал от справедливого негодования. — Это и аморально, и антинаучно.

— Антинаучно? — рассеянно повторил Риссен.

— Да, именно антинаучно! Разве вам неизвестно, мой шеф, что наши биологи сейчас полностью установили истину: народы Мировой Империи и племена, живущие по ту сторону границы, принадлежат к совершенно разным расам. Они отличаются друг от друга, как день от ночи, так что еще неизвестно, можно ли вообще называть жителей соседней страны людьми.

— Я не биолог, — уклончиво ответил Риссен. — Мне об этом не приходилось слышать.

— Ну так я рад слушаю сообщить вам это. А то, что вся эта история аморальна, ясно и так. Кстати, не исключена возможность того, что появление этой секты помешанных со всеми их преданиями, обычаями и мировоззрением — лишь очередная попытка соседнего государства подорвать нашу безопасность. Может быть, это только маленькая частица той сети шпионажа, которой они, безусловно, опутывают нас.

Риссен долго молчал. Потом сказал:

— Его осудили в основном за эту историю.

— Меня удивляет, почему его не приговорили к смерти.

— Он был крупным специалистом по производству красок. А в этой отрасли людей всегда не хватает.

Я не ответил. Я прекрасно понимал, что его симпатии на стороне преступника. Но не смог удержаться от небольшой колкости:

— Скажите, мой шеф, разве вы недовольны тем, что мы, наконец, добрались до сути дела и знаем теперь, что представляет собой наша любимая секта?

— Я полагаю, что быть довольным есть долг каждого честного солдата, — ответил он с иронией, которая, возможно, и не предназначалась для меня. — И позвольте задать вам встречный вопрос, соратник Калль: вы вполне уверены в том, что в душе не завидуете жителям этого отравленного газом города в пустыне?

— Которого не существует, — ответил я со смехом.

Может быть, Риссен вовсе не так уж умен? Если с его стороны это шутка, то весьма скверная.

И все-таки его вопрос задел меня. Еще долгое время спустя он причинял мне боль, как многие другие его слова, как сдерживаемая дрожь в его голосе, как весь он — одновременно смешной и коварный, глубоко штатский человек.

Всеми силами я старался забыть о городе в пустыне — не только потому, что его не существовало в природе, но и потому, что сама мысль о нем казалась мне отвратительной. Отвратительной и влекущей одновременно. Против воли я готов был поверить в существование города, лежащего в развалинах, отравленного газом и микробами, города, чьи обитатели — жалкие разобщенные индивиды, вечно подстерегаемые смертью, — в страхе и тревоге пробираются между камнями в поисках ненадежного убежища. Но при всем том на этот город не простиралась власть Империи. Так что же тут влекло меня? «Предрассудки вообще обладают притягательной силой», — думал я с горькой иронией. — Человек дорожит ими, как шкатулкой, куда сложены все его сокровища, — воспоминание о прочувствованных словах женщины и дрожи в голосе мужчины, мечта о так и не наступившем часе безоглядной преданности, надежда на полное доверие, иной и утоление яажды».

Любопытство по-прежнему мучило меня. Я не смел расспрашивать Риссена о дальнейшей судьбе секты умалишенных, чтобы он не вообразил, будто я испытываю к ним какую-то симпатию. Единственное, на что я мог решиться, — это краткие иронические реплики за обеденным столом. Он отвечал на них тоже коротко и хмуро. Я сказал, например:

— Этот самый никому не ведомый город в пустыне — он, видимо, находится на Луне? На Земле его пока что не обнаружили?

Он ответил:

— По крайней мере, до сих пор его местонахождение не установлено.

Быстро подняв глаза, я поймал его взгляд. Только на секунду, он тут же отвернулся, но я успел прочесть в его глазах все тот же мучивший меня вопрос: «А вы вполне уверены, что не завидуете жителями этого отравленного газом города в пустыне?» Он, конечно, хотел, чтобы я завидовал. Он хотел, чтобы я первый проявил инициативу,

а сам все время нападал, вынуждая меня к капитуляции. Я проклинал свое чрезмерное любопытство.

Случайно мне удалось узнать еще кое-что, на этот раз не от Риссена. Одна слушательница курсов рассказала, что кто-то из арестованных упоминал о рукописях — толстых пачках бумаги со знаками, которые якобы передавали звуки музыки, но не имели ничего общего с нашими буквами. Больше всего они напоминали условные изображения птиц в клетке. Воспроизвести эти мелодии не мог никто — даже, кажется, обитатели города в пустыне, хотя у них будто бы сохранились какие-то книги или сборники от давно прошедших времен. Я ни минуты не сомневался в том, что если все это не обман и на листах и вправду записана музыка, то лишь самая примитивная и варварская. И все-таки у меня зародилась безумная мечта хоть раз услышать эту музыку. Неразумное, бессмысленное желание, которое никогда не осуществляется, — я сознавал это. Но даже если бы эта музыка и прозвучала для меня, что бы мне это дало? Разве можно в каких-то маршах найти объяснение, ключ к решению целой проблемы?

Все это время моя семейная жизнь была пустой и бесцветной. Мы с Линдой так отдалились друг от друга, что пытаться достичь взаимопонимания было бы бесполезно. К счастью, мы оба были заняты и виделись очень редко.

Прошло несколько дней, и в один из свободных вечеров меня пригласил к себе Каррек.

Сидя в подземке с пропуском в кармане, я чувствовал, что отыхаю. Каррек был одной из опор моего существования. В нем я никогда не ощущал того опасного для окружающих внутреннего нездоровья, которое отпугивало меня в Риссене.

Каррек принял меня в спальне; его жена сидела в это время в общей комнате и читала при свете ночника. Детей у них не было. В комнате, как и у нас, стоял полумрак (в последнее время электроэнергию экономили), и я лишь смутно видел лицо Каррека, но в его движениях угадывалось что-то необычное, и это обеспокоило меня. Он ни минуты не мог высидеть на месте, то и дело вскакивал и начинал ходить. Шаги его были слишком велики для такой маленькой комнаты, и иногда он даже стукался коленями об стену, словно хотел столкнуть с пути препятствие.

Когда он заговорил, я почувствовал в его голосе необычное оживление; он был чем-то взбудоражен и не скрывал этого.

— Ну, что вы скажете? — начал он. — Нам с вами повезло. Лаврис, должно быть, уговорила Тачо — он подписал закон об антиимперском складе характера. Закон вступает в силу с завтрашнего дня. Вот теперь начнется!

Услышав, что это действительно случилось и что роковой день так близок, я чуть не лишился дара речи. Каррек радовался, а у меня дрожали губы, и мне пришлось сделать огромное усилие, чтобы взять себя в руки.

— А хорошо ли все это продумано, мой шеф? Иногда мне кажется, что лучше бы ничего не было. Поймите меня правильно, это из чисто практических соображений. Просто уже сейчас на свет вылезло столько грязи, что мы и ее-то не успеваем убирать, хотя каждый день работаем сверхурочно. Нет, нет, я понимаю, будет гораздо легче, когда нам будут помогать все курсанты. Но ведь поступит множество новых доносов. Не можем же мы отправить на каторгу две трети населения!

— А почему бы и нет? — весело сказал он и стукнулся коленями об стену. — Не книгу собой разницы, да и фонд заработной платы сразу уменьшится. Но, если говорить серьезно, уже поступила жалоба от начальника городского финансового управления, и боюсь, что то же самое будет везде. Это значит, что мы из финансовых соображений должны очень внимательно подходить к доносам и делать строгий отбор. Аресты будут производиться только на основании подробных и четко обоснованных письменных заявлений. Это раз. Далее — в первую очередь мы займемся наиболее видными лицами, так как прежде всего — безопасность Империи. За мелкую сошку возьмемся уже потом, а всякие там грабежи и убийства на почве личной мести найдут в последнюю очередь. Отбор, отбор и еще раз отбор, но что говорить, конечно, работы хватит.

Он снова стал быстро ходить по комнате и вдруг разразился своим характерным отрывистым и презрительным смехом.

— Никому не удастся уйти, — сказал он.

Сейчас он стоял так, что свет лампы отражался в его зрачках. Освещенное снизу, его лицо внушало страх, и мои нервы напряглись до предела. Я весь похолодел, заглянув в его ягуары глаза — они были до жути близ-

ко и в то же время страшно далеко, не подвластные ничьей воле. Больше для того, чтобы успокоить себя, я спросил:

— Я надеюсь, вы не считаете, что у всех кругом совесть нечиста?

— Совесть нечиста? — повторил он и снова резко захохотал. — Да какая разница — чиста или нечиста! Как бы тихо они ни сидели в своих норах, все равно никому не удастся уйти.

— Вы имеете в виду — уйти от доноса?

— Я имею в виду — от доноса и суда. Вы понимаете, соратник, — тут он склонился надо мной, и я весь так и сжался на стуле, колени у меня тряслись, — вы понимаете, как это важно, чтобы были соответствующие консультанты и соответствующий судья. К счастью, у нас есть специалисты по всем отраслям. Приговор должен быть со смыслом. Одно дело — неисправимые, которых бесполезно отправлять на перевоспитание, другое — всякие дурачки с устаревшими взглядами. С этими надо поступать осмотрительно, вы сами знаете, что из-за низкой рождаемости у нас постоянно не хватает рабочей силы. Но, как я уже говорил, тут большее поле деятельности для тех, кто знает, чего хочет. Все устроится, если будет соответствующий судья.

Надо сказать, я не совсем понял, к чему он клонит, но сираинвать мне не хотелось. Я только кивнул с серьезным видом и продолжал смотреть, как он быстро ходит по комнате.

Молчание уже начинало становиться тягостным. Каррек, видимо, ждал моих высказываний. Его слова о различных мерах наказания напомнили мне о том, о чем я действительно хотел поговорить с ним.

— Мой шеф, — начал я, — есть одна вещь, которая меня удивляет я о которой я хочу рассказать вам. Несколько дней тому назад было проведено следствие по делу заговорщика, принадлежащего к опасной секте умалищенных. Он распространял не только запрещенные географические сведения, но и порочные измышления о том, что существа, живущие в соседней стране, якобы состоят в родстве с населением одного из наших пограничных районов. Он исполнял песни антиимперского характера. Его приговорили к каторжным работам. Может быть, в данном конкретном случае это и было пра-

вильно — дело закончено, и я не собираюсь критиковать приговор, — но достаточно ли хорошо это было продумано в чисто принципиальном смысле? Каторжник так или иначе приходит в соприкосновение с большим количеством людей — с конвоирами, с другими заключенными. Одни заключенные находятся на каторге дольше, другие меньше — во всяком случае, многие снова выходят на свободу. Разве можно упускать из виду тот вред, который приносит окружающим люди, подобные тому, о ком я сейчас говорю? Конечно, особенно разлагольствовать ему там не удастся, это так. Но знаете, мой шеф, только не смеяйтесь надо мной, я обнаружил одну вещь. Я заметил, что некоторые люди уже одним только фактом своего существования могут оказывать сильное влияние на других. Потому они опасны и тогда, когда молчат, — даже их взгляды, их движения источают яд и заразу. И вот я спрашиваю себя: правильно ли, что подобному индивиду сохраняют жизнь? Я прекрасно знаю, что у нас плохо с рождаемостью. Но даже если этого человека можно использовать в какой-то важной отрасли, неужели выгода от его работы превысит тот вред, который он принесет Империи?

Каррек не засмеялся. Но и не проявил удивления. Когда я кончил, на лице его промелькнуло нечто вроде сдержанной усмешки. Он остановился и сел на стул напротив меня. В его неподвижности я вновь почувствовал напряжение готовящегося к прыжку зверя.

— Не стоит ходить вокруг да около, дорогой соратник, — произнес он тихо и медленно. — Я и сам отнюдь не в восторге от сложившейся ныне ситуации: действительно, с очень многими нашими соратниками совершенно незаслуженно церемонятся только потому, что кривая рождаемости не хочет расти. Несмотря на всю пропаганду, наши достижения в супружеской постели все еще весьма скромны. Но что мы с вами можем тут поделать? В общем и принципиальном смысле дело обстоит именно так. Но за общим и принципиальным всегда стоит частное и конкретное. Так кого вам было бы желательно приговорить к смерти?

Я готов был провалиться сквозь землю. Его цинизм ужаснул меня. Я ведь говорил не только о Риссене, яставил вопрос вообще, в целом! Хорошенько же он был обо мне мнения!

— Вы очень помогли мне тем, что поговорили с Лав-

рис,— продолжал между тем Кэррек.— Я придерживаюсь правила «услуга за услугу»; тогда, по крайней мере, твердо знаешь, на кого можешь рассчитывать. Вы обладаете интеллектом совсем иного типа, чем я,— тут он снова резко рассмеялся.— Поэтому мы можем быть полезны друг другу. Отвечайте спокойно — кого бы вам хотелось отправить на тот свет?

Но я не мог ответить. До сих пор мои желания были фантастическими и неопределенными. Прежде чем начать действовать, я должен был еще раз обдумать все трезво и тщательно.

— Нет, нет,— сказал я,— это все общие соображения. Просто мне не раз приходилось встречать таких, фигурально выражаясь, бациллоносителей, и вот я подумал...

Я остановился. Может быть, и так уже сказано слишком много? Кэррек продолжал сидеть неподвижно, и я весь сжался под взглядом его зеленых глаз. Но вот он снова вскочил и стукнулся коленями об стену.

— Я вижу, вы не хотите. Боитесь меня. Я, собственно, ничего не имею против — боитесь на здоровье, но я все же постараюсь вам помочь. Когда надумаете послать донос — или доносы, уж как захотите, только не забудьте, они должны быть хорошо обоснованы, это теперь первое условие, и предварительный отбор произвожу не я,— так вот, в этом случае поставьте в углу вот такой знак (он нарисовал что-то на листе бумаги и протянул мне), и я сделаю все, что смогу. Я уже говорил, это не так уж сложно, если имеешь дело с соответствующим судьей. А такие у нас есть. Соответствующий судья и соответствующие консультанты. Я буду держать вас в поле зрения и думаю, что смогу еще вам пригодиться, хоть вы и боитесь меня.

Я всегда неважно спал по ночам, но в последнее время Бессонница меня совсем замучила. Месячной порции снотворного хватало мне теперь меньше чем на две недели; я до последней крупинки подбирал даже то, что оставалось у Линды. Обращаться к врачу я не хотел. Ведь тогда в моей тайной карте мог бы появиться штамп «первый субъект», а в такой характеристике хорошего мало, не говоря уже о том, что она совершенно не соответствовала бы действительности. Я считал себя са-

мым обычным, нормальным человеком, и моя бессонница тоже была вполне естественной и объяснимой — было бы, наоборот, странно и дико, если бы в такой ситуации я ухитрялся спокойно спать по ночам...

Однако мои сны ясно свидетельствовали о том, что мне отнюдь не хотелось испытать действие собственного препарата. Не раз я просыпался весь в холодном поту после очередного кошмарного видения, где я сам стоял среди подследственных в ожидании неминуемого позора. Как воплощение ужаса появлялись в моих снах Риссен, Кэррек, иногда кто-то из курсантов, но самый болезненный страх вызывала Линда. Она приходила как мой обвинитель и судья; это она склонялась надо мной со шприцем. Вначале, просыпаясь и видя рядом с собой в постели живую Линду из плоти и крови, я испытывал облегчение, но вскоре видения ночи стали как бы вторгаться в действительность, и пробуждение приносило все меньшее и меньшее радости. Мне казалось, что настоящая Линда приобретает черты злобного существа моих сновидений. Как-то раз я совсем уже собрался рассказать ей о своихочных мучениях, по вовремя остановился, вспомнив тот ледяной взгляд, которым награждала меня Линда во сне. Потом я неожиданно, что промолчал. Мысль о том, что Линда тайно сочувствует Риссену, стала для меня нестерпимой. Если бы только она узнала, какого я мнения о Риссене, она в тот же миг превратилась бы в моего врага, и — насколько я знал ее сильную натуру — врага беспощадного. Может быть, она уже давно стала мне врагом и только выбирала подходящий момент, чтобы нанести удар. Нет, рядом с ней я должен был молчать.

И тем более ни ей, ни кому-либо еще нельзя было рассказать про другой мой сон — о городе в пустыне.

Я стоял в начале какой-то улицы, твердо зная, что должен пройти ее до конца. Почему-то я был уверен, что от этого зависит вся моя судьба. Улица вся состояла из развалин. Кое-где остатки домов возвышались, как небольшие холмы, кое-где они совсем обвалились и их засыпало песком и мусором. В иных местах по обломкам стен подымались вверх вьющиеся растения, но рядом виднелись исклы голой, безжизненной земли. Все это освещалось ослепительным полуденным солнцем. Над участками обнаженной земли то здесь, то там я смутно различал слабый желтоватый дымок. В других

местах над песком подымалось неясное светло-голубое мерцание — и оно, и дым одинаково пугали меня. Я неуверенно шагнул вперед, стараясь миновать зону ядовитых испарений, но тут внезапно налетел ветер и, оторвав от одной из струек дыма легкое облачко, погнал его прямо навстречу мне. Я снова отскочил назад. Потом я заметил, что далеко впереди голубое мерцание стало ярче, поднялось высоко и вскоре, как стена неяркого пламени, загородило всю улицу. Я оглянулся посмотреть, не произошло ли чего-нибудь подобного и у меня за спиной — ведь тогда путь назад был бы мне тоже отрезан! — но там все оставалось по-старому. Я снова шагнул вперед. Ничего не случилось. Еще шаг. Тут я услышал за спиной короткий треск. Я быстро оглянулся и увидел нечто страшное. Камень, на который я только что наступил, весь как бы разрыхлился, покрылся порами и через минуту рассыпался в прах. В воздухе разлился слабый, но неприятный запах. Я стоял неподвижно, не решаясь ни идти вперед, ни оглянуться назад.

И тут я услыхал какие-то невнятные голоса. Я посмотрел в ту сторону и увидел полуразвалившиеся ворота, увитые какими-то растениями. Раньше я их не замечал и сейчас почувствовал облегчение, увидев так близко от себя живую зелень. С обвалившейся каменной лестницы кто-то звал меня подойти поближе. Не помню, как я очутился у ворот, — наверно, собрав все свои силы, перескочил через опасную полосу. Так или иначе я оказался в помещении с полуразрушенными каменными стенами, без потолка. Солнце свободно пропишло сюда, и над моей головой колыхались стебли цветов и травы. Накогда еще дом с крышей и прочными стенами не казался мне таким надежным убежищем! От травянистых кочек исходил аромат прогретой солнцем земли и ласковой беспечности, а где-то вдали все еще пели незнакомые голоса. Женщина, которая звала меня с лестницы, была сейчас рядом, и мы обняли друг друга. Я был спасен и, усталый, полный облегчения, хотел заснуть. Она спросила: «Ты останешься со мной?» — «О да, позовь мне оставаться», — ответил я и тут же почувствовал, что все мои горести куда-то исчезли и я стал беззаботным, как ребенок. Под ногами я ощущал какую-то влагу и, наклонившись, увидел, что по земляному полу бежит чистый ручей. Это наполнило меня бес-

конечной благодарностью. «Знаешь, это струится жизнь», — сказала женщина, и в тот же момент я понял, что все это только сон, который рано или поздно кончится. В мыслях я начал искать способ продлить его — и думал так лихорадочно, что от стука собственного сердца тут же проснулся.

Этот сон, как бы он ни был прекрасен, мог, в сущности, вызвать еще большие пароксизмы, чем мои ночные кошмары, и я не стал рассказывать о нем ни Линде, ни кому-либо другому. Не потому, что Линда могла бы приревновать меня к героине сна — эта женщина немногого походила на ту, с проникновенным голосом, о которой я не раз упоминал, но глаза у нее были Линдины, — так вот я никому не говорил об этом сне, потому что в нем заключался недвусмысленный ответ на вопрос Риссена, не завидую ли я жителям отравленного газом города в пустыне. Вот как далеко запло влияние Риссена — даже почю я не мог от него избавиться. Что толку от моих попыток уверить самого себя, что я ни в чем не виноват, что это все Риссен? Ни один судья в мире не посчитался бы с таким аргументом.

Все это случилось еще до того, как Каррек пригласил меня к себе, то есть до того, как вступил в действие новый закон. В ту пору моим единственным утешением была надежда на месть, которая должна свершиться где-то в неопределенном будущем.

Когда я узнал от Каррека, что проведению моих планов в жизнь большие ничто не препятствует, я испытывал, разумеется, состояние крайнего возбуждения. Цель, которая раньше казалась такой далекой, неожиданно приблизилась, но, когда я начинал обдумывать детали, она вновь представлялась мне недостижимой. Если Линда действительно любит Риссена, она наверняка сумеет каким-то образом узнать, кто донес на него. Что именно она тогда сделает, я не знал, но был твердо уверен, что она непременно добьется своего и отомстит. При этой мысли меня пробирала дрожь. Что бы ни случилось, я ни за что не хотел испытать на себе действие собственного препарата.

В эту ночь я почти не спал.

Наутро в газете появилась статья под заголовком «**МЫ СЛИ МОГУТ БЫТЬ НАКАЗУЕМЫ**».

Это было изложение и разъяснение нового закона. Упоминался, естественно, и мой каллокайн. В статье

излагались новые и, на мой взгляд, чрезвычайно разумные принципы системы наказаний. Судьи больше не должны были следовать формальным параграфам, предусматривавшим для каждого вида преступлений одну определенную меру наказания, независимо от того, кто очутился на скамье подсудимых — впервые оступившийся человек или закоренелый злодей. Объектом расследования становился не тот или иной отдельно взятый проступок, а весь человек в целом. Тщательно исследовался его характер, склад ума, нервная система — и вовсе не для того, чтобы ответить на старый бессмысленный вопрос «вменяем или невменяем», а для того, чтобы отделить пригодные к использованию ресурсы от непригодных. Мера наказания определялась не механически — «столько-то и столько-то лет каторжных работ», — а исходя из расчетов видных психологов и экономистов, устанавливавших, какие затраты окуют себя, а какие нет. Существа, физически и духовно неполноценные, не могущие принести Империи реальной пользы, не должны рассчитывать на то, что им сохранят жизнь лишь потому, что они не сумели совершить достаточно тяжелого преступления. С другой стороны, нельзя не учитывать и падения численности населения; поэтому в некоторых случаях будет использоваться и человеческий материал менее желательного характера, если он может найти применение в качестве рабочей силы. Закон об антиимперском складе характера вступал в силу уже с сегодняшнего дня, по одновременно в статье указывалось, что все заявления должны быть тщательно мотивированы и, в отличие от прежних анонимных, подписаны подлинным именем. Эта последняя мера была необходима, чтобы ограничить поток доносов по мелким поводам и тем самым предотвратить чрезмерные расходы на производство калюкаина и содержание судебных работников.

Во всяком случае, полиция оставляла за собой право принимать во внимание только те заявления, какие считала нужным.

Того, что под заявлением нужно подписываться, Каррек мне не говорил. Для Линды, если бы она захотела отомстить виновнику осуждения Риссена, это только облегчало дело.

Рабочий день прошел без особых сюрпризов и сенсаций, но я бы не сказал, что спокойно. Во время обе-

да мы с Риссеном не сказали друг другу ни слова. Я не смел даже взглянуть в его сторону. А что, если он догадался о моих намерениях и теперь в любую минуту сам может нанести удар? Но как ни мучила меня эта мысль, из-за Линды я ничего не решался предпринимать. Малейшее промедление грозило опасностью, но мне все-таки приходилось терпеть.

Дома, за ужином, я чувствовал себя так же скверно, как во время обеда. Я боялся встретиться глазами с Линдой — вдруг и сй все известно? Казалось, самый воздух насыщен был враждебностью. Минуты шли, и мне казалось, что горничная никогда не уйдет, а дети так и не лягут. Но вот, наконец, мы остались с Линдой вдвоем. На всякий случай я включил радио на полную мощность, а Линду усадил так, что громкоговоритель оказался как раз между нами и «ухом полиции».

Не помню, что за доклад передавали в тот день, я был слишком взволнован. На лице Линды не отразилось ничего — ни когда я включил радио, ни когда попросил ее сесть именно на этот стул. Но она, видимо, догадалась о моем состоянии и как будто тоже перестала слушать. Лишь когда я придвинулся к ней вплотную, она впервые взглянула на меня вопросительно.

— Линда! — сказал я. — Я должен тебя кое о чем спросить.

— Да? — отозвалась она без всякого удивления.

Я всегда знал, что самообладание у нее великолепное. И знал, что, если когда-нибудь мы дойдем до последней грани, до борьбы не на жизнь, а на смерть, она будет мне опаснейшим противником. Может быть, поэтому я и не решался уйти от нее? Боялся того, что может последовать потом? В самой моей любви заключался великий страх, я знал это давно. Но вместе со страхом жила и мечта о покое и уверенности, мечта о том, что моя упорная любовь когда-нибудь заставит Линду стать моей союзницей. Как это произойдет и, главное, как я об этом узнаю, я понятия не имел — это была лишь мечта, такая же неопределенная и далекая от действительности, как мечта о загробной жизни. Но одно я понимал ясно — через несколько минут я могу потерять даже эту мечту. До сих пор мы были пусты плохими, но все же союзниками, сейчас, быть может, превратимся в злейших врагов. А я даже не узнаю об этом, потому что она не позволит себе ни малейшей перемены

в лице, ни дрожки в голосе. И все же я должен исполнить задуманное.

— Я спрашиваю просто так, для проформы,— продолжал я, пытаясь улыбнуться.— Я и сам знаю ответ и никогда в нем не сомневался, а если я все-таки ошибаюсь... и что ж... ты сама понимаешь, что я не стану особенно переживать, мне в общем-то все равно... Я думаю, ты меня достаточно знаешь и я тебя тоже.

Я вытер лоб носовым платком.

— Итак? — сказала Линда и взглянула на меня испытующе.

Когда она смотрела таким образом, я чувствовал себя как под лучами прожектора.

— Итак, только одно, — тут мне удалось по-настоящему улыбнуться,— ты когда-нибудь была близка с Риссеном?

— Нет.

— Но ты любишь его?

— Нет, Лео, не люблю.

Вот и все. Скажи она «да», я бы, наверное, тут же поверил ей. Но она ответила «нет», и я больше не смел даже взглянуть на нее. Что толку было спрашивать дальше? Она видела, что я лгу, она прекрасно понимала, что мне далеко не все равно. Завтра или послезавтра она поймет и то, почему я спрашивал. А может, она знает это уже сейчас? Может, Риссен уже рассказывал о грозящей ему опасности? Не дыша, я впился в нее глазами. У меня чуть не остановилось сердце, когда я заметил, как в ее лице что-то шевельнулось, — это было слабое, почти неприметное движение, но оно для меня значило больше, чем все ее слова.

— Ты мне не веришь? — спросила она серьезно.

— Что ты, как ты могла подумать! — воскликнул я преувеличенно бодро.

Если бы только она сейчас поверила мне! Если бы я мог усыпить ее настороженность! Но я знал, что она не даст себя обмануть.

Больше мы не разговаривали. Уже эти несколько фраз стоили мне такого нервного напряжения, что я чувствовал себя совершенно разбитым,— а ведь выиграть мне ничего не удалось. Никогда еще пропасть между нами не казалась такой глубокой и такой непреодолимой. У меня не хватило сил даже попутить или начать разговор о повседневных делах; к счастью, через час мы

оба должны были уходить на военную службу. Линда тоже не произнесла ни слова, и это тревожное молчание было хуже всего.

Наконец прошел и этот час.

Мы вернулись поздно ночью, совершенно измученные. Линда быстро заснула; я слушал ее ровное дыхание, но сам заснуть не мог. Иногда я, правда, впадал в дремоту, но тут же просыпался от внезапного предчувствия опасности. Возможно, у меня просто разыгралось воображение, в комнате стояла тишина, и Линда спала глубоко, как раньше. Но я был близок к отчаянию. Как это никто до сих пор не задумывался, до чего рискованно лежать вот так бок о бок с другим человеком всю долгую ночь, и никого нет рядом, никаких свидетелей, только «глаз» и «ухо полиции» на стене. Но они ведь не гарантируют безопасность — они только фиксируют то, что происходит в комнате, да и то, я думаю, не всегда; когда-нибудь и их выключают. Два человека рядом, и больше никого, ночь за ночь, год за годом, а может, они ненавидят друг друга, и однажды жена проснется в темноте, и тогда... Если бы внести Линде дозу каллооксина...

Как волна швыряет щенку, так тряхнуло меня от этой мысли. У меня нет иного выбора, я должен действовать в целях самозащиты, ради спасения жизни. Я все устрою. Под каким-нибудь предлогом унесу домой немногого каллооксина. Я должен узнать ее тайны любой ценой.

Тогда она будет в моей власти, а не наоборот. Тогда она ни за что не осмелится причинить мне вред. Тогда я смогу пойти дальше и написать донос на Риссена.

Тогда я, наконец, почувствую себя свободным.

В эту ночь я почти не спал, но, придя утром на работу, почувствовал, что не испытываю большие страха и нерешительности, мучивших меня в последние дни. Я был готов к действию; уже это приносило мне облегчение.

Взять нужное количество каллооксина не составило никакого труда. Все равно какая-то часть его при экспериментах пропадала, а контрольное взвешивание производилось сравнительно редко, особенно сейчас, при нашей вечной спешке. Взвешивал, кстати, сам Риссен. Если сегодня или завтра ему не придет в голову сделать про-

верку, то все в порядке. Наблюдающий за Риссеном помощник в общей суматохе, конечно, не станет входить в такие детали. Послезавтра я уже могу ни о чем не беспокоиться. Я уповал на свое везение и вечную загруженность Риссена.

Итак, когда я вечером пришел домой, в кармане у меня лежал шприц и маленькая бутылочка с безобидной на вид светло-зеленой жидкостью. Радость от того, что первый шаг уже сделан, придала мне новые силы, и я даже смог за ужином поболтать и пошутить с детьми и горничной. Линде я только кивнул и отвернулся, не смея задерживаться взглядом на ее лице. Ее глаза снова пронзили меня как луч прожектора, но то, что лежало у меня в кармане, действовало посильнее.

После ужина мы опять ушли на военную службу и вернулись поздно.

Лежа в постели, я долго ждал, пока Линда заснет. Наконец, я осторожно вылез из-под одеяла и при свете ночника завесил простыней «глаз полиции». «Ухо полиции» я загородил подушкой так же беззастенчиво, как это однажды сделал Кэррек. Разумеется, такие вещи категорически запрещались, но я находился на грани отчаяния и для меня было важно только одно, чтобы никто ничего не узнал.

В слабом свете ночника Линда выглядела на редкость красивой. Ее обнаженная смуглая рука лежала поверх одеяла, натянутого до самого подбородка, хотя в комнате было очень тепло. Казалось, что ей хотелось как-то прикрыть, защитить себя. Голову она откинула набок, так что правильный профиль четко выделялся на подушке; на коже, как на теплом золотистом бархате, чернели густые брови и ресницы. Всегда напряженно изогнутые губы казались во сне мягкими, совсем девическими и очень усталыми. Такой юной я никогда не видел ее днем — разве что когда мы только познакомились, — и никогда она не выглядела такой трогательной. Я, всегда отступавший перед ее внутренней силой, испытывал сейчас едва ли не сострадание при виде этой детской слабости и беззащитности. К той Линде, которая лежала сейчас передо мной, я хотел бы приблизиться совсем иначе, ласково и бережно, как в нашу первую встречу. Но я знал, что стоит мне разбудить ее, как губы опять напрягутся, словно натянутый лук, и глаза вонзятся в меня, будто лучи прожектора. Она сидет на постели,

прямая и подтянутая, наморщит лоб и, конечно, тут же заметит и наброшенную на «глаз полиции» простыню, и стоящую не на месте подушку. А если даже я разбуджу ее для любви, что ждет меня? Кратковременная иллюзия взаимности, опьянение, которое пройдет к утру, и я снова буду мучиться и гадать...

Прежде всего я носовым платком завязал ей рот, чтобы во время борьбы она не могла вскрикнуть. Конечно, она тут же проснулась и попыталась освободиться, но, во-первых, физически я был сильнее, а во-вторых, как-никак я застал ее врасплох. Мне удалось довольно быстро связать ее по рукам и ногам. Ведь у меня самого обе руки должны были быть свободны.

Она вздрогнула, почувствовав прикосновение иглы, но больше ни разу не шевельнулась. Видимо, поняла, что сопротивление бесполезно.

Препаратор начинал действовать самое большое через восемь минут после укола. Когда эти восемь минут прошли, я снял с ее рта платок. По ее лицу я увидел, что все в порядке. Оно стало почти таким же девически ясным, как во сне.

— Я понимаю, что ты делаешь, — сказала она задумчиво, и даже в ее голосе прозвучала та же детская безмятежность. — Ты хочешь что-то узнать. Вот только что? Тебе многое придется узнать, потому что я должна многое сказать. Не знаю даже, с чего начать. Я сама хочу говорить, зачем ты меня заставляешь? Хотя, может быть, первая я все равно бы не заговорила. Так было все годы. Хочу что-нибудь сказать или сделать, а как — сама не знаю. Наверно, это относилось ко всяkim пустякам — дружбе, ласке, уюту, но когда я увидела, что ничего у меня не выходит, я стала думать, что в большом и важном тоже ничего не выйдет. Одно только я знаю твердо — я хотела бы убить тебя. Если бы только я была уверена, что это никогда не откроется, я бы тебя убила. А если даже и откроется, пускай. Хуже, чем сейчас, все равно не будет. Я ненавижу тебя за то, что ты не можешь спасти меня от всего этого. Я убила бы тебя, если бы не боялась. А вот теперь почему-то не боюсь. Ведь сейчас я разговариваю с тобой, а раньше не могла. Ты боишься, я боюсь, и все боятся. Одиночество, всегда одиночество, и совсем не такое, как бывает в юности. Это ужасно. Я не могла говорить с тобой о детях, о том, как мне тяжело, что Осса больше

не живет с нами, и как я боюсь того дня, когда Марил тоже уйдет, а потом Лайла. Я думала, ты будешь меня презирать. Ты, наверно, сейчас меня презираешь, ну и пусть! Как я хотела бы снова стать молодой девушкой, только чтобы у меня была несчастная любовь. Люди не понимают, как это замечательно — быть молодой девушкой и любить безответно. В молодости человек верит, что любовь приносит свободу, что у любимого находишь какое-то прибежище, что есть в мире человеческое тепло и покой, хотя на самом деле ничего этого не существует. Ты влюблен безответно, но даже в твоем горе есть какая-то сладость — пусть тебе не досталось большого счастья, но оно досталось другим, у кого-то оно есть, оно существует на свете. И ты думаешь, что если в мире так много радости и всякую жажду можно утолить, то не так уж странно быть несчастным. Во всяком случае, не стоит отчаяваться. А счастливая любовь влечет за собой пустоту. Нет больше никакой цели, есть только одиночество. И откуда возьмется что-то другое, откуда возьмется смысл жизни для нас, одиноких? Я слишком любила тебя, Лео, но ты совсем не такой, как я выдумала. Наверно, теперь я могла бы убить тебя.

— А Риссен? — торопливо спросил я. Драгоценные минуты уходили, а я до сих пор ничего не узнал. — Что ты думаешь о Риссене?

— Риссен? — повторила она удивленно. — Ну что Риссен... В нем есть что-то особенное. Он не такой далекий, как другие. Он никого не пугает и сам не боится.

— Ты любила его? Сейчас еще любишь?

— Риссена? Любила ли я Риссена? Да нет же, нет. Если бы я только могла! Он был совсем не такой, как другие. Близкий. Спокойный. Никому не угрожал. Если бы кто-нибудь из нас был таким же, как он, или даже мы оба, оба, Лео... Нет, это ты должен был бы походить на него. Потому я и хочу убить тебя. Чтобы уйти от всего этого. Все равно никого у меня не будет, но пусть и тебя не будет...

Она забеспокоилась, наморщила лоб. Сделать второй укол я не решался, а о чем еще спросить, не знал.

— Как это может быть? — прошептала она со страхом. — Как это может быть, что человек ищет того, чего не существует? Как это может быть, что человек чувствует себя смертельно больным, хотя на деле он здоров и все идет как полагается...

Голос Линды упал до неясного бормотания, по щекам разлилась зеленоватая бледность, и я понял, что сейчас она придет в себя. Осторожно поддерживая ее под подбородок, я взял со столика стакан с водой. До этой минуты Линда все еще лежала связанная, и теперь я, хоть и не без трепета, освободил ее. Все это время я со смешанным чувством страха и торжества ждал ее пробуждения. Какой ужас и стыд охватят ее сейчас, после вынужденной откровенности! Я почувствовал, что рука, которой я поддерживал голову Линды, сильно дрожит. Я опустил ее голову на подушку, убрали руку и с нетерпением и испугом стал вглядываться в ее лицо.

Но ожидаемой реакции не последовало. Когда Линда открыла глаза, они казались задумчивыми, но такими же спокойными и широко открытыми, как обычно. Она без страха встретила мой взгляд. Что-то странное было с ее губами. Они не напряглись, как натянутый лук, они все еще казались слабыми и мягкими, и лицо сохранило прежнее полудетское выражение. Я и не подозревал, что в расслабленных, умиротворенных чертах может быть такая пугающая торжественность. Губы Линды тихонько шевельнулись, словно она повторяла что-то про себя. Мне больше нечего было делать, оставалось только сидеть и смотреть на ее лицо.

Я сидел и сторожил ее, и, наконец, она заснула. Я тихо разделился и тоже залез под одеяло, но успокоиться не мог. Меня переполняли глухой стыд и страх. Могло быть подумать, что это не Линду, а меня подвергли обследованию и разоблачили. Я все время твердил себе: теперь она в моей власти. Мне известны ее тайны, и я могу пригрозить, что раскрою их всем, если она вздумает чем-нибудь повредить мне. Впрочем, возможно, она уже успела это сделать. Что касается ее намерения убить меня, то я еще на работе наслышался подобных угроз и знал, что они редко приводятся в исполнение. Но все равно — высказывать такую мысль вслух... Может быть, Линда уже целиком в моих руках, и все идет, как намечено.

Кроме одного: я никогда не смогу воспользоваться своим преимуществом. Под всем, что говорила Линда, мог бы подписатьсь и я. Я, как в зеркале, увидел самого себя, и это терзало меня больше всего. Я и не подозревал, что она, со своими напряженными, как натянутый лук, губами, со своими пронизывающими глазами

и умением молчать, была из той же слабой породы, что я. Так как же мог я угрожать ей, как мог принуждать к чему-то!

Я все-таки заснул, но ненадолго. Когда я открыл глаза, Линда еще спала. Ночные переживания тут же вспомнились мне, но одновременно возник противный сосущий страх и тягостное ощущение чего-то несделанного. Через минуту я уже твердо понял: Риссен! Сегодня.

А может быть, все-таки не надо? Подождать еще немного? Но разве что-нибудь изменилось? Риссен остался тем же, что и раньше. Ну, он не был мне соперником, но ведь мое отвращение к нему вызывалось гораздо более глубокими причинами. Теперь я стал к нему лишь чуточку терпимее — и только. Нет, если я не сделаю этого сегодня же, то буду всю жизнь презирать себя. По чистой случайности сейчас, пока Линда спала, у меня было достаточно времени, чтобы продумать и написать заявление. События ночи имели, по крайней мере, один хороший результат: я узнал, что Линда не станет мстить мне за Риссена.

При слабом мерцающем свете ночника я набросал черновик. Основная мотивировка не составила труда — я ведь не раз повторял все это мысленно. Все, о чем я в общих словах говорил Кэрреку, я написал и здесь, только более подробно и убедительно. До утра оставалось еще много времени, и, сидя в постели и подложив под лист бумаги «Химический журнал», я стал переписывать все начисто. Получилось достаточно аккуратно. Свое имя и адрес, раз уж так требовалось, я решительно поставил внизу; на конверте написал адрес полицейского управления. После этого меня опять одолели сомнения, и я не меньше получаса вновь и вновь перечитывал написанное. Наконец, когда за стенкой у соседа зазвонил будильник, напомнив, что скоро и мне пора на работу, я поставил в угол бумажного листа тайный знак Кэррека (в воображении я уже не раз проходил эту операцию), положил письмо в конверт, а конверт засунул в журнал.

Линда проснулась по звонку нашего будильника. Она взглянула на меня так, как будто все, что произошло ночью, нам только приснилось. Я-то представлял себе этот момент совершенно по-другому. Я воображал себя победителем и судьей, диктующим свои условия разоб-

лаченной и подавленной Линде, целиком сдающейся на мою милость. Но все вышло иначе.

Мы встали, оделись, молча вышли из квартиры, вместе поднялись наверх и расстались у остановки подземки. Я не выдержал и через секунду обернулся, но в тот же момент и она обернулась и кивнула мне. Я вздрогнул. Не собиралась ли она усыпить мою бдительность, чтобы потом легче было отомстить? Но не знаю почему, вопреки всем доводам разума, я в это не поверили. Когда она скрылась в подземке, я достал письмо и бросил его в почтовый ящик.

Удивительное дело — маленький значок в углу бумаги. Зная Кэррека, я ни минуты не сомневался, что этого жалкого росчерка пера будет достаточно, чтобы уничтожить Риссена. И в середине улицы, в толпе моих соратников, спешащих на утреннюю гимнастику и на работу, я внезапно остановился, пораженный устрашающим сознанием собственного могущества. Я ведь еще не раз смогу начертить такой же значок! Пока мои интересы не пришли в столкновение с интересами Кэррека, он охотно пожертвует каким-нибудь десятком жизней в обмен на ту услугу, которую я ему оказал. Значит, я обладаю силой и могуществом.

Я уже говорил, что жизненный путь всегда рисовался мне в виде лестницы. Вполне невинный образ и даже, пожалуй, немного смешной — так и представляется прилежный школьник, примерно переходящий из класса в класс, или мелкий чиновник, усердно продвигающийся по службе. И с неожиданным чувством отвращения я ощущал себя стоящим на самой верхней ступени. Не то чтобы мне не хватало фантазии вообразить более высокую степень власти, чем та, которой обладал начальник полицейского управления в Четвертом Городе Химиков. Я повидал достаточно — присуждение военных чинов, столичные министерства, Туарега, Лаврис — и вполне мог представить себе достаточно большие высоты и широкие горизонты. Но для меня все эти могущественные инстанции олицетворяла именно та ничтожная доля власти, которой я располагал. И это возбуждало во мне отвращение.

То, что такого опасного вредителя, как Риссен, следовало уничтожить, не вызывало сомнений. Дело было не в этом. Ну, его не станет, но что изменится для меня? Какой-нибудь день тому назад все казалось очень

простым: Риссена приговаривают к смерти, и он погибает, а вместе с ним погибает и Риссен внутри меня, потому что его существование целиком зависит от существования другого, настоящего Риссена. Риссен погибает, и я вновь становлюсь настоящим солдатом, здоровой клеткой имперского организма. Да, еще вчера я думал так, по мою решительность поколебали события ночи и неудача с Линдой.

То, что это была неудача, я не мог скрыть даже от себя самого. Правда, я узнал то, что хотел, — она не помешает мне привести в исполнение свой план. Правда, я мог не бояться мести с ее стороны, потому что теперь, после всего, что произошло, она была так же крепко и неразрывно связана со мной, как я с ней. Правда, теперь она находилась в моей власти, и я владел тайнами, которых она не хотела открывать. Все правда. Все в порядке, если иметь в виду ту глупую ограниченную цель, что я себе поставил. Но по-настоящему... по-настоящему это была большая и непоправимая неудача.

Ее слова о несчастной любви, которая достойна зависти, подошли бы скорей романтически настроенной молодой девушке, но в них была и какая-то доля правды, и я вполне мог применить их к своим отношениям с ней. Весь мой брак строился на несчастной любви — не безответной, нет, но все равно несчастной. Я воображал, что за серьезным лицом, за напряженными, как настинутый лук, губами, за суровыми, широко раскрытыми глазами скрывается таинственный мир, который, если только суметь проникнуть в него, утолит мою жажду, облегчит тревогу, принесет покой на все времена. И вот теперь я силой проник в этот мир, принудил ее дать мне то, чего добровольно она не хотела давать, но жажда моя осталась прежней, а тревога и неуверенность возросли. Если этот желанный мир где-то и существовал, для меня он был закрыт. И я, как Линда, хотел вернуть пору иллюзий, когда верилось, что рай за стеною можно завоевать.

Какую связь все это имело с моим отвращением к силе, я сам не понимал, но чувствовал, что связь есть. И еще я чувствовал, что гибель Риссена ничего не изменит. Казалось бы, я добился от Линды всего, что хотел, и все-таки потерпел такую неудачу, что сейчас меня грызло подлинное отчаяние. Так же, предчувствовал

я, будет и с Риссеном — его осуждение и казнь не принесут мне того, к чему я стремлюсь.

Впервые в жизни я ощущал, что такое власть, пользовался ею как оружием — и испытывал отвращение.

Странные слухи расплзались по полицейскому управлению. Точно никто ничего не знал, никто не мог поклониться за свои слова, но, встречаясь в коридорах или на лестницах, люди, если поблизости никого не было, шептали друг другу: «Вы слышали... сам министр полиции Туарег... арестован... нет, это только слухи... за антиимперский склад характера... тсс!..»

Думал об этом Каррек? Ведь он был так близок с Туарегом и так добивался введения нового закона. Знал он об этих слухах? Может быть, как раз он?.. Но мне было некогда раздумывать над этим, времени и так не хватало.

За обедом я больше не избегал взгляда Риссена. Догадывался он о чем-нибудь или нет, участь его уже была решена. У меня даже возникло ощущение, что передо мной не живой человек из плоти и крови, а некий мираж. И хоть он сидел за столом и весьма громко сморкался в носовой платок, мне казалось, что это какое-то видение, что передо мной сравнительно безобидное зеркальное отражение неправильного и дурного принципа, который я все еще пытался понять. Как будто я размахнулся для удара и тут же осознал, что мгновение спустя моя рука коснется лишь зеркального отражения. Но я еще пытался убедить себя, что это все равно.

Ощущение реальности пришло только по дороге домой. У меня вдруг отяжелели ноги, когда я подумал, что вот сейчас увижу Линду. Сегодня свободный вечер, и скоро мы окажемся вдвоем, с глазу на глаз. Я не представлял, как смогу вынести это.

И вот этот час наступил. Должно быть, она ждала его, потому что на сей раз она сама составила вместе стулья и включила радио, но никто из нас не слушал.

Мы долго сидели, не говоря ни слова. Я украдкой поглядывал на ее лицо: что скрывалось за его неподвижностью? Она молчала. А что, если я ошибся и мои вчерашние опасения были справедливы?

— Ты написала на меня донос? — глупо спросил я, наконец.

Она отрицательно покачала головой.

— Но собираешься написать?

— Нет, Лео, нет.

И она снова замолчала, а я не знал, что еще спросить. Мне было страшно тяжело. Под конец я закрыл глаза и откинулся на стуле, покорно отдавшись во власть неизбежного. Я вспомнил одного из наших подследственных, молодого человека, от которого мы узнали о тайных собраниях секты умалишенных. Он говорил тогда о том, что в молчании заключено нечто пугающее, и тот, кто молчит, чувствует себя до ужаса беспомощным. Только теперь я понял его.

— Я хочу поговорить с тобой, — наконец сказала Линда с трудом. — Мне многое нужно сказать. Ты должен выслушать. Хочешь?

— Да, — сказал я. — Линда, я сделал тебе больно. Она вымученно улыбнулась.

— Ты открыл меня силой, как консервную банку. Но это неважно. Потом я поняла, что или умру со стыда, или расскажу тебе все. Рассказывать? Хочешь еще послушать меня, Лео?

Я не ответил. И сейчас не могу объяснить, что происходило тогда во мне, потому что я весь обратился в слух. У меня было такое ощущение, словно до сих пор я никогда в своей жизни никого по-настоящему не слушал. Просто мои уши делали свое дело, память механически регистрировала все происходящее, но мои мысли были где-то в другом месте. А сейчас для меня исчезло все на свете и осталось лишь то, о чем она говорила.

— Ты уже многое знаешь, Лео. Ты знаешь, что я хотела убить тебя. Но ночам, когда нет ни стыда, ни страха, я думала, что смогу сделать это, но теперь знаю, что не смогу. Я могу только воображать себе жуткое и несбыточное. Наверно, это не потому, что я боюсь наказания. Но об этом я лучше скажу потом. Сейчас я хочу говорить о другом. О детях и обо всем, что я пережила из-за них. Это долгая история. Я ведь никогда не смела говорить об этом. Я начну с Оссы. Помнишь, когда я была беременна, мы все время считали, что родится обязательно мальчик. Может быть, ты просто хотел сделать мне приятное, но ты тоже говорил, что непременно будет мальчик. Знаешь, если бы тогда у нас ро-

дилась девочка, я бы чувствовала себя по-настоящему оскорблённой. Я бы считала это страшно несправедливым — ведь я была так предана Империи, что с радостью согласилась бы умереть, если бы вдруг нашли такое средство, чтобы дети могли появляться на свет без женщин. Да, я относилась к женщинам как к необходимому злу — пока еще необходимому. Официально мы считались такими же — или почти такими же — достойными соратниками, как мужчины, но только потому, что рожали новых мужчин — и новых женщин, разумеется, которые, в свою очередь, давали жизнь следующему поколению мужчин. Каждому хочется стать какой-то, пусть маленькой — нет, не маленькой, лучше большой величиной, — а я вдбавок была тщеславной, и как же мучило меня сознание, что я могу так мало! «Женщины хуже мужчин, — твердила я себе, — они слабее физически, не могут подымать больших тяжестей, боятся бомбёжек, не выдерживают рукопашных схваток, они неполноценны как бойцы, как солдаты. Они годятся только на то, чтобы поставлять новых бойцов. Официально их ценят так же высоко, как мужчин, но это простая вежливость. К ним проявляют вежливость, чтобы они были веселыми и покладистыми. Может быть, наступит время, — думала я, — когда женщины вообще окажутся не нужны — тогда будут сохранять только их яичники, а все остальное выбрасывать в канализацию. Тогда Империя будет состоять из мужчин, и не придется больше тратить деньги на питание и обучение девушек. Не очень-то приятно чувствовать, что все твое назначение — быть своего рода хранилищем, которое хоть и необходимо, но зато обходится слишком дорого. Так неужели не обидно, особенно если рожаешь первый раз в жизни, произвести на свет существо, которому тоже суждено быть только хранилищем и ничем больше?» К счастью, этого не произошло, родился Осса, будущий мужчина, и это так радовало меня. Вот какой я была тогда, Лео.

Осса подрос и начал ходить, а я уже была беременна Марил. После того, как я перестала кормить Оссу, я видела его только утром и вечером — после работы, и это было так удивительно. Я твердо знала, что он принадлежит Империи, что на детской площадке, где он проводит целый день, его воспитывают как будущего солдата и то же самое будет в Унгдомслэгер. Хотя на-

следственность имеет большое значение — тут, насколько я знала, у Оссу все было в порядке, — хотя в нем должны были проявиться не только наши с тобой черты, но и черты многих поколений до нас, — так вот, несмотря на это, я понимала, что его личность будет складываться прежде всего под влиянием руководителей детской площадки и Унгдомслэгер, их собственного примера и принципов воспитания. Но я все время замечала в нем занятные черточки, унаследованные от тебя или от меня. Он морщил нос, и я думала: «До чего забавно, ведь точно так же делала я, когда была маленькая!» И я ощущала себя как бы частицей своего сына. Это было гордое чувство: ведь так я словно становилась мужчиной. Я замечала, что он смеется так же, как ты, и это переносило меня в твое детство. А его манера вертеть головой и еще форма глаз... И от всего этого у меня возникало преступное чувство обладания. «Это значит, — думала я, — что он наш... и добавляла с сознанием вины: сын». Я понимала, что это нехорошее чувство, которого не должно быть у честной соратницы. Нет, не то чтобы совсем нехорошее, но что-то неподобающее в нем все-таки было. И хуже всего то, что оно все росло и росло, и особенно усилилось, когда я вновь почувствовала себя беременной. Ты, может быть, помнишь, что в тот раз роды у меня были долгие и тяжелые. Смешно, конечно, но я тогда вообразила и потом уже не могла отдельаться от этой мысли, что это неспроста, а потому, что я так не хотела расстаться с Марил, оторвать ее от своего тела. Когда родился Оссу, я была матерью, которая рожает детей только для Империи. С появлением Марил я стала настоящей самкой, эгоистичной и жадной. Я хотела, чтобы дети принадлежали только мне, я считала, что имею право на них. Совесть подсказывала, что я не права, что у меня не должно быть таких мыслей, но ни стыд, ни чувство вины не могли побороть эту жадность. Если и есть у меня властолюбие — совсем небольшое, согласись, Лео! — так вот, оно проявилось именно после рождения Марил. В те короткие часы, когда Оссу был дома, я командовала им как могла, только чтобы почувствовать, что он еще мой. Он слушался меня — ведь на детской площадке учат прежде всего послушанию, — и я знала, что имею на это право, потому что это соответствует интересам Империи и помогает воспитанию будущего солдата. Но ведь делала я это сов-

сем не ради Империи. Мне просто хотелось целиком использовать то право на него, которое я пока еще имела.

Когда родилась Марил, я даже сама удивилась, почему меня ничуть не волнует, что это девочка, а не мальчик. Больше того — я была довольна. Она не принадлежала Империи так безраздельно, как мальчики, она была больше моя, в ней было больше от меня самой. Как рассказать тебе обо всех моих переживаниях? Ты сам знаешь, Марил — необыкновенный ребенок. Она не похожа ни на тебя, ни на меня. Может быть, в ней есть, что-то от наших далеких предков, не знаю. Она Марил — и этим все сказано. Это как будто так просто, и в то же время так удивительно. Она все видит по-своему, и так было всегда, еще до того, как она научилась говорить. А потом — ты сам знаешь. Ты знаешь, что она совсем особенная.

Я заметила, что больше не испытываю такой страшной жадности. Марил была не моя. Я могла подолгу сидеть и слушать, как она что-то напевает, или читает, или рассказывает... — как бы их называть? — в общем, фантастические, выдуманные истории, которые она не могла услышать на детской площадке. Но тогда откуда она их узнала? Не могут же такие выдумки передаваться по наследству и всплывать в памяти через многое поколений! У нее была и собственная мелодия, которой не знали ни мы с тобой, ни другие дети. Я просто голову теряла от страха и волнения. Она была Марил. Она была не такая, как другие. Не бесформенная глина, из которой ты, или я, или Империя могут вылепить все, что угодно. Не мое творение и не моя собственность. Мой же ребенок словно околдовал меня, и это было так чудесно, но непривычно, и немножко пугало. Когда Марил была рядом, я всегда чего-то ждала. Я даже стала думать, что и Оссу, может быть, тоже особенный, только он уже научился скрывать свои чувства. Я жалела, что раньше так им командовала и в конце концов оставила его в покое. То время было полно надежд, тогда я жила по-настоящему.

И вот я снова ждала ребенка. Кажется, что может быть естественнее, но меня это открытие буквально оплеменило. Я испугалась, нет, это не то слово. Я не боялась тяжелых родов, осложнений, ничего такого. Я испугалась потому, что вдруг поняла то, чего не понимала

раньше. У меня было уже двое детей, а я только сейчас осознала, что это значит — родить ребенка. Я больше не считала себя детородной машиной, содержание которой обходится чересчур дорого. Но я не была и жаждой собственницей. Чем же я была? Не знаю, как объяснить... То, что происходило, не зависело от меня, но происходило благодаря мне, понимаешь? И это наполняло меня восторгом. Во мне росло новое существо, и у него были свои черты... что-то свое... Я была как цветущая ветка... я ничего не знала о своем стволе и корнях, но чувствовала, как из неведомой глубины поднимается сок... Я так долго говорю, а сама не знаю, понимаешь ты меня или нет. Ты понимаешь: существует что-то над нами и внутри нас. Оно создается в нас. Я знаю, что так нельзя, что мы все принадлежим только Империи. И все-таки я тебе это говорю. Иначе все бессмысленно.

Она замолчала, и я не сказал ни слова, хотя мне хотелось кричать. «Ведь это как раз то, против чего я боролся,— думал я, как во сне,— все, против чего я боролся, чего боялся и чего желал».

Она ничего не знала о секте умалишенных, об их городе в пустыне, но так же неизбежно, как они, подпадала под новый закон — ведь она мечтала об иной общности, иной связи, не той, что дает Империя. И со мной было то же самое, потому что я чувствовал эту страшную и неотвратимую связь между нею и мной.

Я весь дрожал. Мне хотелось крикнуть: да, да! Казалось, сейчас наступит облегчение, которое вконец измученный человек испытывает, погружаясь в сон. Я спасен, я освободился от нут, душивших меня, и принимал новую веру, простую и ясную, которая поддерживала, но не сковывала.

Я мучительно старался найти нужные слова — и не мог. Я хотел идти куда-то, хотел действовать, сломать все и начать заново. Для меня не существовало больше окружающего мира, не существовало пристанища. Ничего, кроме нерушимой связи между Линдой и мной.

Я подошел к ней, опустился на колени и прижался головой к ее ногам. Я не знаю, делал ли кто-нибудь так раньше и сделает ли когда-нибудь потом. Я никогда об этом не слышал. Я знаю только, что не мог иначе. В этом было все, что я хотел и не мог сказать.

Она поняла меня. Она положила руку мне на голову. Мы оставались так долго-долго...

Поздно ночью я вскочил с постели.

Я должен снести Риссена. Я написал донос на Риссена.

Линда ни о чем не спрашивала. Я поднялся к вахтеру, разбудил его и попросил разрешения позвонить по домовому телефону. Я объяснил, что мне необходимо связаться с начальником полиции, и вахтер не стал возражать.

Поговорить с самим Карреком я не смог: он строго приказал ночью его не беспокоить. Но после долгих переговоров к телефону подошел более или менее толковый дежурный; он несколько успокоил меня, сказав, что почью никаких дел рассматривать не будут. Если я хочу видеть начальника полиции, мне нужно прийти утром, за час до начала рабочего дня; он, дежурный, заранее предупредит обо мне, и, возможно, Каррек меня примет.

Я вернулся к Линде.

Она по-прежнему ни о чем не спрашивала. Я не знал, почему — потому ли, что поняла все сама, или потому, что ждала, пока я заговорю первый. Но я не мог говорить, тогда еще не мог. До сих пор мой язык всегда был послушным и надежным инструментом, но сейчас он отказывался служить мне. Так же, как недавно я впервые в жизни по-настоящему слушал другого человека, так и сейчас я сознавал, что должен говорить совсем иначе, чем всегда, а к этому я еще не был готов. Ведь то, что жило во мне и грозило сейчас выплеснуться наружу, никогда раньше не требовало выражения. Я выразил все, что хотел, встав перед Линдой на колени,— и она поняла меня.

Мы оба молчали, но это было совсем не то молчание, что мучило меня раньше. Просто мы вместе терпеливо ждали, и самое трудное было уже позади.

Время шло, но заснуть мы не могли. Линда сказала:

— Как ты думаешь, есть еще люди, которые думают так же? Может, среди твоих подопытных? Я должна найти их.

Я вспомнил маленькую бледную женщину, которую так радовало мнимое доверие мужа. С каким наслаждением в приступе неосознанной зависти я отнял у нее эту счастливую иллюзию! Как она теперь, наверно, замкнулась в горьком недоверии к людям! А умалишенные, что притворялись спящими в кругу вооруженных людей? Конечно, все они сейчас в тюрьме.

Немного погодя Линда опять сказала:

— Как ты думаешь, кто-нибудь все-таки думает так же? Кто-нибудь начинает понимать, что это значит — родить ребенка? Другие матери, или отцы, или влюбленные? Может быть, сейчас они молчат, но если увидят, что другие не боятся, то заговорят тоже? Я должна найти их.

Я подумал о женщине с проникновенным голосом, о той, что говорила про живое, органичное, и мертвое, искусственное. Если даже она еще на свободе, все равно я не знал, где ее искать.

Немного погодя, уже сонным голосом, Линда снова спросила:

— А что, если бы можно было создать новый мир — мир матерей? Понимаешь, я говорю вообще, неважно, женщины это или мужчины и есть у них дети или нет. Но где они, эти люди?

Я вздрогнул, и сон с меня как рукой сняло. Меня обожгла мысль о Риссене, который все время чувствовал во мне то, что сам я открыл лишь сейчас. И он искал, он пытался нащупать и выявить это, пока я не приготовил его к смерти. Я громко застонал и в отчаянии прижался к Линде.

За час до начала работы я уже был в полицейском управлении. Каррек ждал меня. С его стороны это была действительно дружеская услуга — ему пришлось встать на час раньше, а ведь он не знал, зачем я пришел. Скорее всего он подумал, что я спешу рассказать о разоблачении банды шпионов или о чем-нибудь в этом же роде.

— Я, знаете... поставил этот знак... — начал я неуверенно.

— Я вас не понимаю, — сухо сказал он. — Что вы имеете в виду, соратник Калль?

Я сообразил, что он не хочет говорить прямо. В стенах полицейского управления тоже была скрыта определенного рода проводка, и ни одно слово или жест не могли остаться незамеченными. Стало быть, и самому начальнику приходилось остерегаться. Мне припомнились слухи о судьбе Туарега.

— Я ошибся, — сказал я (как будто это могло помочь!). — Дело в том, что я послал вам донос, а теперь хочу взять его обратно.

Лицо Каррека приняло чрезвычайно любезное выражение. Он тут же позвонил и попросил принести бумаги, среди которых находилось и мое письмо. Мне пришлось довольно долго ждать, пока он прочел его. Наконец Каррек поднял голову, и в его глазах я уловил неожиданный блеск.

— Это невозможно, — сказал он. — Даже если бы обвиняемый еще не был арестован — а он уже арестован, — полиция не имеет права пройти мимо столь серьезного и тщательно обоснованного документа. Я не могу удовлетворить вашу просьбу.

Я посмотрел в лицо Каррека, напряженное и неподвижное, но ничего не смог прочесть в нем. Да, видимо, каждое его слово фиксировалось, и он, естественно, не мог ответить иначе, особенно после моей идиотской фразы насчет его знака. А может быть — кто знает! — я уже успел винить в немилости. На что ему подручный, который вдруг заколебался! В любом случае говорить откровенно мы сейчас не могли.

— Тогда, — сказал я, — мне хотелось бы, по крайней мере, попросить вас, чтобы его... чтобы его не приговаривали к смерти.

Определение меры наказания не входит в мою компетенцию, — холодно ответил он. — Такие вопросы решает судья. Я мог бы выяснить, кому поручено это дело, но все равно не имею права сообщать вам имя, потому что попытка предварительного воздействия на суд считается уголовным преступлением.

Я почувствовал, что у меня дрожат ноги и, чтобы не упасть, ухватился за край письменного стола. Каррек этого не заметил, а может, только сделал вид, что не заметил. В этом отчаянном положении у меня вдруг мелькнула мысль: если сейчас он под наблюдением и потому не в состоянии оказать мне дружескую услугу, то, возможно, он сделает это потом, втайне от других. Все, что сейчас происходит, — только игра. В конце концов я же всегда полагался на него.

Но, подняв глаза, я увидел на лице Каррека злорадную улыбку. А через несколько секунд он заговорил медовым голосом:

— Может быть, вам интересно будет узнать, что на процессе Эдо Риссена именно вам предстоит сделать ему инъекцию. Вы для этого наиболее подходите, поскольку мы имеем дело не с рядовым обвиняемым, а с челове-

кем, который неоднократно сам проводил такого рода расследование. Мы могли бы, конечно, взять кого-нибудь из курсантов, но было решено, что эту честь следует предоставить вам.

Лишь много позже у меня возникло подозрение, что он сказал неправду, что никто ничего не решал, а идея эта появилась у самого Каррека в момент разговора со мной. Видимо, он считал, что в моем состоянии необходима хорошая встряска, а может быть, просто хотел причинить мне боль.

Но, как бы то ни было, после обеденного перерыва меня вызвали на процесс по делу Эдо Риссена. Курсантов на время моего отсутствия было велено занять тем угодно. До этого я чувствовал себя настолько скверно, что все происходящее представлялось мне сплошным хаосом, и не раз возникало желание бросить все и, скавшись больным, уйти. Но я все-таки остался, потому что должен был, потому что хотел присутствовать на процессе Риссена. Не затем, чтобы попытаться как-то повлиять на ход дела — тут я был бессилен,— а затем, чтобы еще раз увидеть и услышать человека, которого я прежде так боялся и, как мне казалось, так глубоко ненавидел.

Аудитория была уже полна. На возвышении сидел офицер высшего ранга — судья — и два секретаря. Перед ними лежали чистые блокноты. Рядом с судьей я заметил нескольких человек в военно-полицейской форме — видимо, консультантов по вопросам психологии, государственной этики, экономики и другим. На расположенных полукругом скамьях сидели курсанты в рабочих комбинезонах — ученики самого Риссена! Я смутно различал их лица, среди множества одинаковых комбинезонов они казались желтоватыми пятнами. Как вся эта молодежь реагирует на происходящее? Напрягая зрение, я пытался рассмотреть то одного, то другого, но все лица были неподвижны, как маски. Я перестал вглядываться, и они снова потеряли четкие очертания, расплылись в туманные пятна. В этот момент дверь открылась, и ввели Риссена в наручниках.

Войдя в зал, он осмотрелся, но ни на ком не задержал взгляда, даже на мне. Хотя почему, собственно, он должен был особенно интересоваться мной? Откуда ему было знать, что сейчас, в отчаянии безнадежности, я жадно ловлю каждое его движение? На секунду у ме-

ня промелькнула надежда: может быть, еще кто-нибудь в зале испытывает те же чувства? Может быть, даже многие?

Риссен уселся на стул, приняв одну из своих обычных нескладных поз, закрыл глаза и улыбнулся. Улыбка была усталая и беспомощная, он ни к кому ее не обращал, он все время сознавал свое полное одиночество и отдавался ему, ища в нем успокоения, как бредущий по ледяной пустыне обессиленный путник отдается сковывающей дремоте, хоть и понимает, что никогда больше не проснеться. И по мере действия каллоакина эта беспомощная улыбка все больше и больше преображала его изможденные черты, придавая им выражение покоя и умиротворенности. Я не отводил взгляда от его лица, и думаю, что, если бы даже пришлось ждать несколько часов, я все равно не мог бы оторваться от него. Где были раны мои глаза, почему я не замечал, какое ни с чем не сравнимое достоинство таится в этом глубоко штатском, смиренном на вид человеке! Это достоинство не имело ничего общего с надменной супровостью, которую воспитывала военная служба, оно как раз и состояло в полнейшей ленпринужденности и абсолютном равнодушии к тому, как он выглядит и какого мнения о нем другие. Когда он открыл глаза и заговорил, я невольно подумал, что точно так же, откинувшись на спинку стула, он мог бы сидеть где угодно. Вот так же, глядя на ослепительно белый потолок, он мог бы говорить без единой капли каллоакина. Он употреблял бы те же самые слова, потому что владевшие им чувства одиночества и пессимизма были сильнее страха и стыда, которые сковывали нас. Я мог бы просто подойти к нему и попросить, чтобы он заговорил, и он бы сделал это так же добровольно, как Липда, просто в подарок. Он рассказал бы обо всем, что я хотел узнать, — об умалишенных и их тайных традициях, о городе в пустыне и о себе самом, о своей тяге к неведомому — она была так сродни тому, что испытывала Линда. Да, он сказал бы все, если бы я, однажды поняв, что какая-то часть моего существа тайно и неодолимо отзывается ему, не выбрал бы путь вражды. Он говорил бы больше, чем сейчас, и, может быть, о гораздо более важных вещах; он и обо мне самом рассказал бы то, что я, наверно, никогда уже не сумею раскрыть. Меня мучило не чувство сострадания к нему, осужденному на смерть, а то, что,

предав его, я предал самого себя. И я слушал его так же жадно, как прежде слушал Линду, только со все растущим чувством страха.

Я хотел бы больше узнать о нем самом, но его волновали общие проблемы.

— Вот и все,— начал он.— Я здесь, так и должно быть, это ведь был только вопрос времени. Я здесь, чтобы сказать правду. Можете вы слушать правду? Люди не настолько искренни, чтобы выслушивать правду, это очень грустно. А ведь правда могла бы стать тем мостом, что связывает человека с человеком, но только пока она добровольна, пока она дается и принимается как дар. Разве не удивительно, что все па свете, даже правда, теряет свою ценность, как только становится принудительным? Нет, вы, конечно, не замечали этого, потому что тогда вам пришло бы понять и то, что вы нищие, ограбленные, что у вас отнято все,— а кто же стерпит такое! Кто захочет созерцать собственное убожество добровольно, без принуждения? И не люди к этому призывают, а пустота и холод — мертвящий холод, полный ненависти. «Общность? — говорите вы.— Сплоченность?» И эти слова вы кричите над разделившей вас пропастью. Неужели не было какого-то момента, одного момента на протяжении всей человеческой истории, когда можно было выбрать другой путь? Перекинуть мост через пропасть? Неужели ни разу нельзя было остановить броневик Насилия и не дать ему двигаться сквозь пустоту? Есть ли путь, ведущий через смерть к обновлению? Придет ли священный миг, который решит нашу судьбу?

Я годами думал о том, скоро ли он наступит. Может быть, когда мы поглотим соседнее государство или оно поглотит нас? Будут ли тогда пути от сердца к сердцу возникать так же легко, как они возникают между городами и районами? Только бы это время скорее пришло. Пусть пришло бы со всеми своими ужасами. Или тогда уже ничто не поможет? Потому что броневик станет таким мощным, что не захочет из божества превращаться в простое орудие. И захочет ли когда-нибудь божество, самое мертвое из всех богов, добровольно отказаться от своей власти? Мне бы хотелось верить, что в человеке таятся зеленые глубины, океан непронутых созидаательных сил, которые могут поглощать остатки мертвичины, могут исцелять и творить... Но я не видел их. Я знаю только, что из рук больных родителей и больных учи-

телей выходят еще более хилые дети, и в конце концов болезнь становится нормой, а здоровье — уродством. Одни производят на свет еще более одиноких, запуганных — еще более запуганных... Как же может хоть один здоровый росток пробиться сквозь броню? Несчастные, которых мы назвали сумасшедшими, тешались своими обрядами. Они, по крайней мере, чувствовали, что им чего-то не хватает. Пока они сознавали, что делают, им было к чему с пособься. Но, по существу, это все равно, потому что их путь никуда не ведет. Да разве вообще существует путь, который куда-то ведет? Если бы я вдруг очутился на станции подземки, целиком заполненной людьми, или где-то на большом празднике, с микрофоном в руках, кто услышал бы мои призывы? Ничтожная часть жителей Империи, да и те не обратили бы на них внимания. Кто я? Жалкий одиночка. У меня отняли жизнь... И все же именно в эту минуту я ощущаю, что живу. Я знаю, это каллокайн порождает неразумные надежды, это от него все кажется таким простым и ясным. Но я живу — хотя у меня все отняли, — и именно сейчас я сознаю, что мой путь куда-то ведет. Я видел, как силы смерти распространялись по свету все шире и шире, словно круги на воде, но ведь должны же существовать и силы жизни, хоть мне и не удалось их увидеть! Да, да, я понимаю, я говорю так, потому что на меня действует каллокайн, но разве это может быть правдой?

Он на секунду умолк.

Когда я шел сюда, у меня в голове рождались фантазии одна нелепее другой, я представлял себе, как все слушатели в какой-то момент вдруг отвлекутся и я смогу подойти и пропшептать Риссену на ухо свои вопросы. Уже тогда я понимал, что это одна игра воображения и ничего такого не произойдет, да так оно и вышло. Все, как один, смотрели на Риссена, ни на секунду не отводя взгляда. Но странное дело: теперь я сам не стал бы спрашивать, даже если бы мне представилась возможность. Что мне город в пустыне, что умалишенные и их обряды! Ни один город в пустыне не казался таким недостижимым — и в то же время таким надежным убежищем,— как то, к которому я шел. И оно было не где-то в неизвестной дали, а рядом, совсем рядом. Линда должна была у меня остаться. По крайней мере, она должна была остаться.

Риссен вздохнул и закрыл глаза, но тут же снова открыл их.

— Они что-то предчувствуют,— прошептал он.— Они боятся, оборошаются — значит, предчувствуют. Предчувствует моя жена, когда заставляет меня молчать. Предчувствуют ученики, когда с самодовольным видом смеются надо мной. Может, это жена донесла на меня или кто-нибудь из учеников, но, кто бы это ни был, он предчувствовал. Когда я говорю, они чьи-то слышат самих себя. Они боятся не меня, они боятся себя. О, если бы она существовала на самом деле, эта нетронутая зеленая глубина... Я верю, что она есть. Это все каллюсины, но я счастлив... что я... могу верить...

— Мой шеф,— сказал я судье, тщетно пытаясь сохранять равнодушный тон,— сделать ему еще инъекцию? Он сейчас придет в себя.

Но судья покачал головой.

— Не нужно,— сказал он.— Случай достаточно ясный. А впрочем, каково будет мнение консультантов?

Консультанты одобрительно зашумели, видимо соглашаясь с судьей. Через минуту все встали, чтобы удалиться на совещание. Но тут произошло нечто неожиданное. Молодой человек из группы Риссена вскочил со своего места, бросился к возвышению, где я как раз давал Риссену успокаивающие капли, и стал отчаянно размахивать руками, пытаясь остановить выходящих из комнаты представителей суда.

— Это я, это все из-за меня! — дико закричал он.— Это я написал донос на своего руководителя Эдо Риссена и обвинил его в антимперском складе характера! Вчера по дороге на работу я бросил письмо в почтовый ящик; сегодня я узнал, что он уже арестован. Но все, кто его слышал... все, кто его слышал... должны признать...

Я спустился с помоста, подошел к юноше и закрыл ему рот рукой.

— Успокойтесь,— прошептал я,— вы ничего не добьетесь и не спасете его, а только повредите себе. Не вы один донесли на него.

Всух я сказал:

— Подобные высказывания лиц, потерявших самообладание, совершенно недопустимы во время следствия. Попрошу вас, соратник на передней скамье, принесите, пожалуйста, стакан воды. А вы не волнуйтесь, придите

в себя, все поймут и извинят вас; действительно, вы были вынуждены написать заявление на своего руководителя, и это привело вас в смущение, как любого честного молодого солдата. Но, прошу вас, не принимайте этого так близко к сердцу. Сядьте, не нужно оправдываться. Все в порядке.

Он выпил воду и смущенно взглянул на меня. Кажется, он хотел еще что-то сказать, но я шепнул, чтобы он молчал, и пообещал поговорить с ним потом, когда все кончится. Он сел на край передней скамьи и закрыл глаза.

Когда я поднялся на помост, Риссен, уже полностью придя в себя, сидел неподвижно и смотрел прямо перед собой. Он по-прежнему улыбался, только теперь в улыбке его была горечь. Вдруг он встал и, пошатываясь, сделал несколько шагов навстречу аудитории. Я не мог, да и не хотел останавливать его.

Все, кто слышал меня сейчас...— начал он, и меня пронзила дрожь. Он говорил негромко и угрюмо, по голосу его, казалось, проникал во все уголки; была в нем сила и проникновенность, которой я не забуду до самой смерти.

Двое полицейских — они все время стояли наготове за спиной Риссена — бросились вперед, засунули ему в рот клин и силой посадили обратно на стул. В зале стояла мертвая тишина. Открылась дверь, и вошли консультанты с судьей; медленным шагом они прошествовали на свои места, и судья приготовился огласить приговор. Весь зал встал. Риссене полицейские тоже подняли и поставили по стойке «смирно».

— Бациллоситель должен быть обезврежен,— начал судья торжественным тоном.— Но индивид, который буквально всеми своими нормами источает недовольство нашими порядками и учреждениями, недостойный пессимизм и малодушное неверие в способность нашей великой Империи отразить разбойничью нападки пограничной державы,— такой индивид безнадежен. Он представляет опасность для Империи, где бы он ни жил и на какой бы работе ни находился. Он не может быть обезврежен иначе как посредством смертной казни. Такого же мнения придерживается большинство экспертов. Эдо Риссен приговаривается к смерти.

В зале по-прежнему стояла торжественная тишина. Юноша, написавший донос, сидел неподвижно, белый

как мел. Риссена, все еще с кляпом во рту, вывели. Дверь за ним захлопнулась, а я все еще стоял. Сам того не сознавая, я мысленно провожал его шаг за шагом.

Когда я несколько пришел в себя, юноша уже исчез. Но поскольку он занимался на курсах, найти его не составляло труда. Чисто механически мой мозг переключился на повседневные дела: кто поведет теперь группу Риссена, может быть, один из наиболее способных студентов; могут назначить и меня, но кто тогда возьмет мою группу; у нас на очереди еще много народу, впрочем, курс обучения подходит к концу, и скоро можно будет набрать новый поток... Но все эти мысли текли как бы своим чередом, независимо от меня, а я сам был где-то далеко.

Вернувшись в собственную аудиторию, которая как две капли воды походила на ту, где велось следствие, я почувствовал, что мне все-таки придется сослаться на недомогание и уйти домой. Я больше не мог ломать комедию.

Дома я запел в спальню взрослых, запер дверь, лег на постель и погрузился в полудремоту. Рядом горел ночник; над головой журжал вентилятор; за стеной во звилась горничная. Я слышал, как хлопнула дверь, когда она вышла и потом вернулась с детьми. Зазвенели голоса Марил и Лайлы, они подняли шум, а горничная пыталась их уговорить. Потом заскрипел кухонный подъемник, громко задребезжали тарелки. Я отчетливо слышал все эти звуки и не слышал только голоса Линды — единственного, который был мне сейчас нужен.

Стук в дверь заставил меня вскочить. Горничная за стеной спросила:

— Мой шеф, вы будете ужинать?

Я пригладил волосы и вышел. Линды не было. Время ужина уже давно прошло. Я напрасно пытался сообразить, из-за чего она могла так задержаться, — обычно, если у нее были какие-то дела, она сначала все-таки заходила домой поесть. Но ради самой Линды я должен был скрывать свою тревогу перед горничной.

— Да, да, — сказал я, делая вид, будто что-то припоминаю, — она ведь говорила, что задержится, но где, зачем... Надо же, совсем вылетело из головы.

Дети легли спать, а я все еще ждал. Ушла и горничная.

Я не выдержал, поднялся наверх и, уже не заботясь о том, что подумает вахтер, позвонил в Бюро несчастных случаев. Мне сообщили о нескольких авариях на дальних линиях подземки, о поломкам вентиляционных систем, причинивших кому-тоувечья и смерть, но все это происходило не в том районе, где работала Линда.

Хуже всего было то, что я больше не имел возможности сидеть и ждать. В моем подразделении должен был сегодня состояться вечер, и без уважительной причины я не имел права оставаться дома. Никаким делом я бы сейчас заниматься не смог, но сидеть и слушать доклады, речи и барабанный бой — это я еще был в состоянии. Если бы я только знал, где Линда!

Она говорила, что нужно искать. Она хотела найти других людей, которые поняли то, что понимала она. Но разве она знала, где они? Откуда она начала поиски?

Ночь было пади, и я собрался — чисто механически. Мне даже в голову не пришло, что можно прогулять и остаться дома. Тогда я еще не знал, что больше никогда не увижу Линду.

Я собирался слушать доклад, но из этого ничего не вышло. Лишь время от времени мне удавалось сосредоточиться и уловить некоторые мысли. Насколько я помню, речь шла о развитии имперской жизни — от отдельных, примитивно организованных групп, живших в вечном страхе перед силами природы, и другими подобными же группами — к могучей и совершенной Империи. Лишь она одна придавала смысл жизни отдельных индивидуумов, она одна обеспечивала им уверенность и безопасность. Это была основная идея доклада, деталей я не запомнил. Как я ни пытался заставить себя слушать, мысли о Линде, Риссена и о том новом мире, что уже существовал и только должен был пробить себе дорогу, — все эти мысли вновь и вновь отвлекали меня, и я забывал об окружающем. А возвращаясь к действительности, я чувствовал, что просто не могу сидеть на месте. Все мое существо, мускулы, кожа — все требовало движения. Если вот сейчас же я не встану, я просто не выдержу, со мной что-то произойдет.

И примерно на середине доклада я встал и пошел к выходу. Ближайший ко мне полицейский секретарь не-

одобрительно поднял брови, а дежурный у дверей остановил меня вопросительным взглядом. Я назвал ему свое имя и в подтверждение предъявил пропуск для выхода на поверхность.

— Простите меня, соратник, но мне очень нехорошо, — сказал я. — Я думаю, станет лучше, если несколько минут подышать свежим воздухом. Я болен, целый день лежал, пришлось даже уйти с работы...

Он записал, как меня зовут, отметил время и открыл дверь.

Я вошел в лифт и поднялся наверх. Здесь я повторил вахтеру свою просьбу, он тоже записал время и выпустил меня.

Я вышел на крышу-террасу.

И мне сразу же стало не по себе. Что-то незнакомое и жуткое подстерегало меня на пустой террасе. Еще ничего не видя, я почувствовал дикий страх. И лишь немного спустя понял, в чем дело. Не было привычного гула самолетов, заполнившего воздух днем и ночью. Кругом стояла тишина. В жилых домах и служебных помещениях вообще-то тоже было сравнительно тихо; шум подземки и самолетов, проходя сквозь стены и толстый слой почвы, превращался в слабое убаюкивающее жужжание. В этом монотонном звуке есть нечто успокаивающее и приносящее облегчение — так же, как в тех минутах, когда сон обволакивает тебя и ты, скривившись под одеялом, чувствуешь себя одиноким и маленьким. Но тишина на крыше совсем не походила на это относительное спокойствие. Она была безграничной.

Во время почных переходов или возвращаясь домой с докладов и праздников, я множество раз видел над головой звезды. Они мелькали между подвижными силуэтами аэропланов, но я никогда не присматривался к ним. Как бы они ни светили, все равно нельзя было обойтись без фонарика со светомаскировкой. Я как-то слышал, что для других галактик эти звезды — все равно что для нас солнце, но их свет не вызывал у меня никаких эмоций. Сейчас, в этой беспредельной тишине, я вдруг почувствовал, как огромна вселенная, как бесконечны пустые мировые пространства, отделяющие одну звезду от другой. Великое, всеохватывающее. Ничто предстало передо мной; у меня закружилась голова и перехватило дыхание.

А потом до меня донесся звук, которого я никогда

раньше не слышал, хоть источник его и был мне знаком, — шум ветра. Легкого ночного ветерка, который, пробравшись между стенами, покачивал стебли росших на террасе олеандров. И хоть его тихий шелест наверняка был слышен только здесь, ну, может быть, еще не подалеку, я не мог избавиться от ощущения, что это дыхание всего погруженного во тьму мирового пространства, такое же легкое и естественное, как сонное посасывание ребенка. Ночь дышала, ночь жила, и, насколько я мог видеть, всюду, как сердца, пульсировали и мерцали звезды, посыпая в мир трепетные волны жизни.

Но вот, наконец, я пришел в себя, увидел, что сижу на ограде террасы, и почувствовал озноб. Ночь была теплая, почти жаркая — меня трясло от возбуждения. Порывы ветра стали слабее, и я теперь уже знал, что он рождается не в глубине мировых пространств, а в воздушном слое, прилежащем к земле. Звезды сверкали так же ярко, но я вспомнил, что пульсация света не что иное, как оптический обман. Только сейчас это не имело никакого значения. Ибо все, что я видел и ощущал, претворилось в оболочку другой вселенной, другого мира, рождавшегося где-то под сухой и сморщенной скорлупой, которую я так долго осозидал как собственное «я». Я чувствовал, что коснулся той живительной глубины, к которой взыпал Риссен, которую познала Линда. «Видишь, это струится жизнь», — сказала женщина из моего сна. Я верил ей, я верил, что сейчас может произойти все, что угодно, даже самое невероятное.

Я не хотел возвращаться обратно и опять слушать доклад. То, что мое отсутствие заметят, меня ничуть не волновало. Вся эта суэта, царившая сейчас в тысячах подземных залов Четвертого Города Химиков, была мне чужда и казалась попросту иреальной. Я не имел к ней никакого отношения. Я был одним из тех, кто создает новый мир.

Я хотел домой, к Линде. А если она еще не пришла? Ну что ж, тогда я пойду к тому юноше, что донес на Риссена, пойду к жене Риссена... Где найти юношу, я не знал, но адрес Риссена у меня был: он жил в районе лаборатории, так что я со своим пропуском мог пройти туда когда угодно. Я вспомнил слова Риссена: «Может быть, это жена предала меня, потому что предчувствовала». Если она сопротивлялась так же от-

чаянно, как я, значит была близка к пониманию. Сначала домой, потом к ней. У меня больше не оставалось сомнений. Я был одним из тех, кто создает новый мир.

Никто не искал меня. Стارаясь производить как можно меньше шума, я перелез через низкую стену, отделявшую крышу от улицы. Мои шаги гулко отдавались в тишине, но я даже не подумал о том, что могу привлечь чье-то внимание. И в самом деле, никто меня не остановил. Ни один самолет не проносился по небу, ничто не заслоняло звезд, и потому на улице было так светло, что я даже не стал зажигать карманный фонарик. Я шел по земной поверхности, под мерцающими звездами, и удивительное ощущение владело мной: никого рядом не было, а я не чувствовал себя одиноким. Ведь так же, как я сейчас шел к познанию неведомого, глубокой внутренней связи всего живого, так, может быть, шла и Линда; и кто мог поручиться, что еще какие-то неизвестные нам люди во многих и многих городах Мировой Империи не вступили на тот же путь и, может быть, даже завершили его? Кто мог поручиться, что миллионы людей не пришли в движение — открыто или тайно, добровольно или по принуждению, — и не только в нашей Империи, но и в соседнем государстве? Лишь несколько дней назад такая мысль вызвала бы у меня дрожь ужаса, но что государственные границы тому, кто почувствовал, как его сердце бьется в унисон с сердцем вселенной!

В стороне я услышал характерный шаг патрульных, с четкими интервалами и легким скрипом на поворотах. Этот звук совсем не подходил к мирной тишине ночи. Интересно, какие чувства вызывает у патрульных ночное безмолвие, о чем они сейчас думают? Ну, а я сам? Только сейчас мне в голову пришел простой вопрос: почему на улицах так тихо? Но я задумался только на секунду. Ответа я все равно не знал, да он меня и не интересовал. Важна была только цель моего пути.

Вдруг в отдалении возникло слабое жужжание, и вскоре я понял, что это шум моторов. Самолеты появились снова. То ли из-за резкого перехода от тишины, то ли из-за того, что самолеты в этот раз гудели особенно громко, но рев моторов показался мне непереносимым, и я прислонился к стене, ожидая, пока уши привыкнут к шуму.

Воздух внезапно потемнел, стал густым и мглистым; вокруг зашевелились какие-то тени. Я скорее почувствовал, чем увидел, что рядом со мной откуда-то возникли непонятные фигуры. Я зажег фонарь и в полуเมตรе от себя увидел человека. Да это же парашютисты! В тот же момент мне в лицо вонзились лучи нескольких мощных фонарей; сильные руки схватили меня.

Я решил, что этоочные учения военно-воздушных сил, и, отчаянно напрягая голос, прокричал:

— Я болен! Я шел к подземке. Отпустите меня, соратники.

Может, они не слышали, может, у них был особый приказ, только они тут же обыскали и обезоружили меня (из-за праздника я был в военно-полицейской форме), а потом связали. Несколько человек торопливо собирали из отдельных деталей нечто вроде трехколесного велосипеда, — это сооружение, как я понял, служило у них для перевозки пленных, — затем меня усадили на багажник и крепко привязали. Один из солдат вскочил на сиденье, и мы поехали.

Видимо, в план учений входил и захват пленного, и мне волей-неволей пришлось сыграть эту роль. Ничего не поделаешь, но я не сомневался, что рано или поздно выплюнью то, что задумал.

На нашем велосипеде был укреплен фонарь, и при его свете я мог видеть все, что творится вокруг. Еще минут десять-пятнадцать назад вокруг не было ни души, а сейчас все улицы, площади, крыши-террасы так и кипели людьми. При этом, как я заметил, каждый был занят какой-то определенной работой. Даже в своем положении я не мог не восхищаться великолепной организацией этих гигантских по масштабамочных маневров. И чем дальше мы продвигались, тем активней кипела работа. Я видел, как возводят заграждения из колючей проволоки (успеют ли снять их до утра, когда люди пойдут на работу?), как протягивают какие-то шланги и возят в разных направлениях цистерны. У каждого жилого дома и каждой станции подземки поставили по солдату. Время от времени нам попадались велосипеды с такими же, как я, пленниками на багажнике, и я пытался угадать, куда они везут нас.

Наконец мы остановились на одной из площадей перед большой палаткой, установленной на крыше жилого дома. Здесь уже стояло много других велосипедов. Плен-

никам освобождали ноги (руки оставались связанными) и вводили в эту палатку. С одним я столкнулся перед входом; он оказывал солдатам отчаянное сопротивление и все время громко кричал, что это безобразие, что он патрульный и для своих упражнений они бы лучше ловили кого-нибудь другого. Кто сейчас выполняет его обязанности? Как он завтра оправдается перед начальством? В палатке было гораздо тише, чем на улице,— внутри стоял специальный глушитель,— так что солдаты, конечно, слышали все выкрики патрульного и, по крайней мере, могли бы удостоить его ответом. Но тут до меня донесся разговор двух охранников, из которого я не понял ни слова. Язык был совершенно чужой, ни на что не похожий. И тут меня осенило, что мы не жертвы ночных маневров, а пленники врага.

Я и по сей день не знаю, как готовилась эта операция. Возможно, что противник постепенно и методически засыпал в нашу авиацию своих агентов, и в конце концов все самолеты до единого оказались в их руках. Может быть, измена и бунт, вспыхнув в одном месте, мало-помалу распространились дальше,— не знаю. Можно строить разные предположения, одно фантастичнее другого, бесспорно лишь одно — все обошлось даже без боя. Умело подготовив нападение, противник застал насних врасплох.

Палатка, куда меня ввели, была перегорожена надвое. Пленники ждали в одной половине, и время от времени их по одному выпускали в другую. Там сидел офицер высокого ранга, окруженный секретарями и переводчиками. Ко мне он обратился на нашем, хотя и ломаном, языке. Мне велено было назвать свое имя, профессию, должность и воинский чин. Один из подчиненных наклонился к начальнику и сказал что-то. Слов я не разобрал, но, взглянув на лицо говорившего, вздрогнул. Не был ли это один из моих курсантов? Впрочем, определить это с полной уверенностью я не мог. Между тем на лице начальника появилось выражение заинтересованности.

— Ага,— сказал он,— вы, оказывается, химик и сделали важное открытие. Если вы передадите его нам, вам сохраният жизнь.

Потом я часто размышлял над тем, почему ответил ему «да». Не из страха. Я и так боялся почти всю свою жизнь, я был попросту трусом — да ведь и эта книга не что иное, как рассказ о моей трусости! — но именно тог-

да я не испытывал страха. Одно чувство заполняло меня в ту минуту — безграничное разочарование и сожаление о том, что я так и не приду к людям, которые, может быть, ждут меня. В тот момент жизнь не представляла для меня никакой ценности. Умереть или жить в заключении — не все ли равно! В любом случае путь к другим людям был для меня закрыт. Позже, когда я сообразил, что дело не в открытии, что они все равно оставили меня в живых, так как и у них рождаемость была крайне низкая и они никак не могли возместить потери великой войны, так вот, даже поняв это, я не испытал никакого раскаяния. Я отдал им свое открытие просто потому, что хотел сохранить его. Пусть Четвертый Город Химиков лежит в развалинах, пусть вся Империя превратится в выжженную пустыню, я, по крайней мере, могу надеяться, что где-то в другой стране, среди чужого народа, еще одна Линда заговорит сама, добровольно, когда ее захотят принудить, и группа пораженных страхом доносчиков оинть будет слушать нового Риссена. Конечно, это заблуждение, ибо ничего в истории не повторяется, но что еще мне остается? Чем бы я жил все эти годы?

Как я попал в чужой город, в тюремную лабораторию, как работаю здесь под стражей, я уже рассказывал. Я рассказывал о том, что в первые годы заключения меня постоянно терзал страх и тяжелые думы. Я ничего не смог узнать о судьбе своего города, но мало-помалу пришел к выводу, что противник замышлял при помощи отравляющих газов выкурить всех жителей из подземных домов на поверхность и там взять их в плен. Может быть, запасы кислорода в городском резервуаре были настолько велики, что люди смогли какое-то время продержаться, а может быть, они оказались настолько мучественными, что предпочли рабству смерть, — об этом я могу только гадать. Не исключено и то, что подошла помощь, и из вражеской осады вообще ничего не вышло. Но, как я уже говорил, все это только мои предположения.

Но, что бы ни случилось, возможно, Линда осталась в живых. Может, и Риссен тоже, если в ту ночь его не успели казнить. Да, да, все это фантазии, но если бы я прислушивался только к голосу трезвого рассудка, мне пришлось бы весь остаток своих дней предаваться беспыходному отчаянию. И если этого нет, то лишь по-

тому, что инстинкт самосохранения побуждает меня ис-
кать спасения в иллюзиях. Риссен сказал на суде:
«Я знаю, что мой путь куда-то ведет». Я не очень чет-
ко понимаю, что он имел в виду. Но случается, когда
я с закрытыми глазами сижу на своей койке, что я сно-
ва вижу мерцание звезд и слышу шум ветра, как той
ночью; и я не могу, не могу изгнать из своей души веру
в то, что вопреки всему когда-нибудь я еще буду среди
тех, кто создает новый мир.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦЕНЗОРА

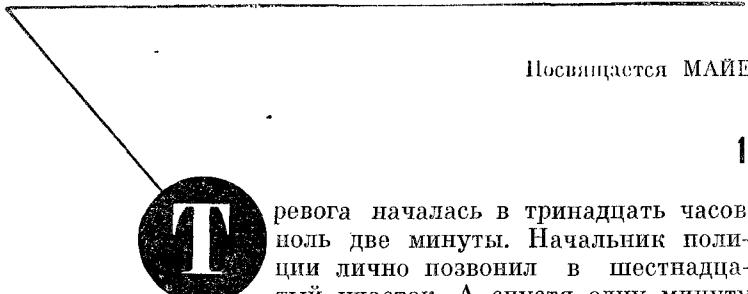
Учитывая, что содержание данных записок во многих
отношениях носит аморальный характер, Цензурное
управление решило поместить их в фонд запрещенных
рукописей при Секретном архиве Соединенных госу-
дарств. Цензурное управление не сочло нужным уничто-
жить рукопись, потому что ее содержание может быть
использовано исследователями для изучения психологии
жителей соседней страны. Автором данных записок яв-
ляется заключенный. Он по-прежнему работает в лабо-
ратории, однако надзор над ним усилен, с тем чтобы он
не мог употреблять казенную бумагу и перья не по на-
значению. Этот заключенный, со своей тайной нелояль-
ностью, трусостью и заблуждениями, может служить
поучительным примером того вырождения, которое ха-
рактерно для страдающего неполноценностью населения
соседней страны. Видимо, это вырождение является след-
ствием малоизвестного неизлечимого наследственного за-
болевания, которого избежала наша нация и которое,
в случае проникновения заразы через рубеж, может быть
обнаружено благодаря препаратуре, пущенному в произ-
водство при помощи вышеупомянутого заключенного.
Я призываю тех, кто будет распоряжаться хранением
и выдачей данной рукописи, к величайшей осторожно-
сти; тех, кто будет ее читать,— к сугубо критическому
восприятию, а также к глубокой вере в успешное разви-
тие и счастливое будущее Соединенных государств.

Хунг Пайфо, цензор

Пер Валё

Гибель
31-го
отдела

Роман



ревога началась в тринадцать часов поль две минуты. Начальник полиции лично позвонил в шестнадцатый участок. А спустя одну минуту тридцать секунд в дежурке и других комнатах нижнего этажа раздались звонки.

Когда Иенсен — комиссар шестнадцатого участка — вышел из своего кабинета, звонки еще не смолкли. Иенсен был мужчина средних лет, обычного сложения, с лицом плоским и невыразительным. На последней ступеньке винтовой лестницы он задержался и обвел взглядом помещение дежурки. Затем поправил галстук и проследовал к машине.

В это время дни машины текли сплошным блестящим потоком, а среди потока машин, будто колонны из бетона и стекла, высались здания. Здесь, в мире резких граней, люди на тротуарах выглядели несчастными и неприкаянными. Одеты они были хорошо, по как-то удивительно походили друг на друга и все до одного смеялись. Они шли нестройными вереницами, широко разливались, завидев красный светофор или металлический блеск кафе-автоматов. Они непрестанно озирались по сторонам и теребили портфели и сумочки.

Полицейские машины с включенными сиренами пробивались сквозь эту толчью.

Комиссар Иенсен сидел в первой. Это была обычная полицейская машина, темно-синяя, с полоской. Следом ехал серый автобус с зарешеченными стеклами в задней двери и вращающимся прожектором на крыше.

Начальник полиции вызвал Иенсена по селектору:

- Иенсен!
 - Слушаю.
 - Где вы находитесь?
 - В центре площади Профсоюзов.
 - Сирены включены?
 - Да.
 - Выключите, когда проедете площадь.
 - Слишком большое движение.
 - Ничего не поделаешь. Вам нельзя привлекать внимания.
 - Нас все равно подслушивают репортеры.
 - Ну, это не ваша забота. Меня беспокоит население вообще. Люди на улицах.
 - Понял.
 - Вы в форме?
 - Нет.
 - Хорошо. Кто участвует в операции?
 - Я плюс четверо из гражданского патруля. И пикет из девяти полицейских. Эти в форме.
 - Стоять перед домом или входить в него разрешается только гражданскому патрулю. А пикет пусть быстро высадит половину команды за триста метров, проедет мимо и остановится на достаточном расстоянии.
 - Будет исполнено.
 - Перекройте главную улицу и переулки.
 - Будет исполнено.
 - На вопросы отвечайте, что этого требуют срочные дорожные работы. Например...
- Начальник умолк.
- Лопнула труба теплоцентрали?
 - Вот именно.
- Потрескивание. Потом:
- Иенсен!
 - Слушаю.
 - Вы уже в курсе специфики обращения?
 - Специфики обращения?
 - Я думал, это все знают. Там никого не следует называть директором.
 - Будет исполнено.
 - Они очень щепетильны на этот счет.
 - Понял.
 - Я думаю, нет надобности указывать вам на... на деликатный характер задания?

— Нет.

Механические шумы в трубке. Звук, похожий на вдох, глубокий, металлический.

— Где вы сейчас находитесь?

— На правой стороне площади. Перед монументом рабочего.

— Выключить сирены.

— Сделано.

— Увеличить дистанцию между автомобилями.

— Сделано.

— Вызываю по радио дополнительный патруль. Они будут вас ждать на стоянке. Используйте их как резерв.

— Понял.

— Где вы находитесь?

— На проезжей части вдоль северной стороны площади. Вижу Дом.

Улица была прямая, широкая, с движением в шесть рядов и узкой резервной зоной посередине. За высокой стальной оградой по левой ее стороне начинался откос, а далеко внизу растянулась гавань для судов дальнего плавания, товарная пристань со множеством складов и цепью тележек, белых и красных, вдоль грузовых причалов. Там внизу сновали люди по большей части грузчики и шоферы в белых комбинезонах и красных фуражках.

Дорога шла вверх, огибая холм. С востока к ней подступала каменная стена. Стена была сложена из голубых валунов, скрепленных цементом, по ней отвесно спускались ржавые потеки от арматурного железа. Из-за стены выглядывали редкие верхушки деревьев с голыми ветвями. Снизу, с дороги не видно было здания, спрятанного за деревьями, но Иенсен знал, что здание там есть, и знал даже, как оно выглядит. Это была психиатрическая лечебница.

Достигнув вершины холма, дорога едва заметно поворачивала направо. Там был расположен Дом. Он и без того принадлежал к числу самых высоких в стране, а благодаря своему расположению просматривался из любой части города. Он всегда был перед глазами, и откуда бы человек ни ехал, Дом виднелся в конце его пути.

Дом имел тридцать этажей и стоял на квадратном фундаменте. На каждой стене было по четыреста пятьдесят окон и белые часы с красными стрелками. На об-

лицовку пошла глазированная плитка, темно-синяя у основания Дома, но чем выше, тем светлей.

При первом взгляде на Дом через ветровое стекло Иенсену показалось, будто он пробивается из земли как неслыханных размеров колонна и вонзается в холодное, по-весеннему безоблачное небо.

Иенсен по-прежнему прижимал к уху трубку селектора и слушал. Дом разрастался, заслоняя горизонт.

— Иенсен!

— Слушаю.

— Я полагаюсь на вас. Вам предстоит лично разобраться в обстановке.

Короткая пауза, наполненная треском. Потом начальник неуверенно сказал:

— У меня все.

2

На восемнадцатом этаже полы были устланы голубыми коврами. Иенсен увидел две большие модели кораблей в застекленных витринах и холл с креслами и низким изогнутым столиком. В комнате со стеклянными стенами праздно сидели три молодые женщины. Одна из них бросила на пришельца беглый взгляд и спросила:

— Вам кого?

— Меня зовут Иенсен. У меня спешное дело.

— Ах, спешное...

Женщина нехотя встала и плавно, с хоропо заученной небрежностью прошествовала по коврику. Распахнув дверь, она выкрикнула:

— Вас спрашивает какой-то Иенсен!

У нее были красивые ноги и тонкая талия. А одета безвкусно.

Из дверей выглянула другая женщина. Чуть постарше, блондинка с правильными чертами и стерильной внешностью. Не обращая внимания на свою помощницу, она сказала:

— Прощу. Вас ожидают.

В угловой комнате было шесть окон, а под ней лежал город, безжизненный и непатуральный, как на рельефной карте. Ослепительный солнечный свет не скрывал перспективы. Комната была выдержана в чи-

тых и холодных тонах: стены, пластик на полу и мебель из стальных трубок — все очень светлое.

В одном из простенков стояла стеклянная витрина, где выстроились хромированные кубки, каждый на деревянной черной подставке с гравюрой — венок из дубовых листьев. Сверху большинство из них было увенчано фигурами — то обнаженные стрелки из лука, то орлы с распластанными крыльями.

На письменном столе помещался внутренний телефон, объемистая пепельница из нержавейки и костяная змея.

Сверху на витрине стоял настольный красно-белый флагок с металлическим древком, а под столом — пара светло-желтых сандалий и пустая алюминиевая корзина для бумаг.

Посредине стола лежало письмо.

В комнате находились два человека.

Первый стоял у короткой стороны стола, опершись кончиками пальцев о полированную столешницу. На нем был оттузенный темный костюм, синтетика на заказ черные ботинки, белая сорочка и серебристо-серый шелковый галстук. Лицо гладкое и угодливое, волосы зачесаны, за массивными очками в роговой оправе — собачьей преданности взгляд. Иенсену часто доводилось видеть такие лица, особенно на экране телевизора.

Второй казался чуть помоложе, на нем были носки с желтой каемкой, светло-коричневые терилевые брюки и расстегнутая белая рубаха на выpusк. Этот подтащил к окну стул и стоял на коленях, уперши подбородок в ладони, а локти — в белый мраморный подоконник. Он был белокурый, синеглазый.

Иенсен предъявил свой служебный значок и шагнул к столу.

— Шеф издательства?

Мужчина в шелковом галстуке отрицательно помотал головой и отступил от стола, легкими поклонами и энергичными жестами указывая в сторону окна. Его улыбка как-то не соответствовала первому впечатлению.

Белокурый сполз со стула и неслышными шагами приблизился к Иенсену. Торопливо и энергично пожав руку Иенсену, он кивнул на письменный стол.

— Вот оно.

Конверт был белый, ничем не примечательный. На нем были наклеены три марки, а в нижнем левом углу — ярлычок «Срочное». В конверте лежал лист бумаги, сло-

женный вчетверо. Как адрес, так и текст письма были склеены из отдельных букв, а буквы вырезаны из какой-то газеты. Бумага была чрезвычайно высокого качества, и формат ее казался не совсем обычным.

Подняв письмо кончиками пальцев, Иенсен прочел: «Чтобы отомстить за совершенное вами убийство в здание заложен мощный взрывной заряд с часовым механизмом ровно в четырнадцать часов двадцать третьего марта произойдет взрыв невинные не должны пострадать».

— Она, разумеется, не в своем уме, — сказал блондин. — Просто-напросто душевнобольная.

— Да, мы пришли к такому заключению, — сказал мужчина в галстуке.

— Или это попросту леммычимо глупая шутка, — сказал блондин. — И поняла к тому же.

— Может быть, и так, вполне может быть, — поддержал мужчина в галстуке.

Блондин бросил на него равнодушный взгляд и сказал:

— Это наш директор. Первый директор издательства, — и после короткой паузы добавил: — Моя правая рука.

Лицо директора расплылось в улыбке, и он наклонил голову. Вероятно, это означало признательность, но, может быть, он захотел спрятать лицо по каким-то другим соображениям. Ну, например, из скромности, почтения или самолюбия.

— У нас есть еще девяносто восемь директоров, — уточнил блондин.

Комиссар Иенсен взглянул на свои часы: 13.19.

— Насколько я понял, господин шеф, вы сказали «она». Есть ли у вас основания предполагать, что отправительницей была женщина?

— Как правило, меня называют «издатель», — сказал блондин. Он обогнул стол, сел в кресло и закинул на подлокотник правую ногу. — Оснований у нас вроде бы нет. Просто сказалось так. Ведь кто-то же составил это письмо.

— Вот именно, — сказал директор.

— Вопрос только — кто? — сказал блондин.

— Совершенно справедливо, — заключил директор. Улыбка сбежала с его лица, сменившись глубокомысленными складками на переносице.

Издатель закинул на подлокотник также и левую ногу.

Иенсен снова взглянул на часы: 13.21.

— Здание надо эвакуировать, — сказал он.

— Эвакуировать? Исключено. Нам пришлось бы тогда остановить все работы, и, может быть, часа на два. Вы понимаете, что это значит? Вы имеете хоть малейшее представление, во сколько это нам обойдется? — И, повернувшись вместе с креслом, блондин вызывающе посмотрел на того, кто был его правой рукой. Директор издательства с молниеносной быстротой распустил складки по всему лбу и, бормоча что-то себе под нос, начал быстро прикидывать на пальцах. Человек, который хотел, чтобы его называли издателем, окинул директора холодным взглядом и вернулся к исходное положение.

— Минимум семьсот пятьдесят тысяч. Вы понимаете? Три четверти миллиона. Как минимум. А может быть, в два раза больше.

Иенсен еще раз прочел письмо. Глянул на часы: 13.23.

Издатель продолжал:

— Мы издаем сто сорок четыре журнала. Все они печатаются в этом доме. Их общий тираж превышает двадцать один миллион экземпляров. В неделю. И для нас самое главное — напечатать и разослать их без промедления.

Выражение его лица вдруг изменилось. Просветленный синий взор упал на Иенсена.

— В каждом доме нашей страны каждая семья ждет свой журнал. Наши журналы одинаково интересны для всех — для принцессы и для жены лесоруба, для крупнейшего общественного деятеля или деятельницы и для самых униженных и отверженных, если бы таковые у нас имелись, — словом, для всех.

И после короткой паузы:

— А дети, все эти милые малютки...

— Дети?

— Да, девяносто восемь из наших журналов предназначены для детей.

— Серийные выпуски, — уточнил директор.

Блондин наградил директора неблагосклонным взором, и лицо у него снова изменилось. Досадливо повернувшись в кресле, он взглянул на Иенсена.

— Ну так как же?

— При всем моем почтении к этим доводам я настаиваю на эвакуации.

— Больше вы ничего не можете сказать? Чем же тогда, позвольте вас спросить, занимаются ваши люди?

— Ищут.

— И если бомба есть, они ее найдут?

— Это опытные люди, но у них слишком мало времени. Заряд взрывчатки нелегко обнаружить. Практически он может быть где угодно. Как только они найдут хоть что-нибудь, мне доложат непосредственно сюда.

— У вас еще есть в запасе три четверти часа.

Иенсен взглянул на свои часы.

— Тридцать пять минут. Но даже если они найдут заряд, для того, чтобы его обезвредить, потребуется дополнительное время.

— А если никакой бомбы вообще нет?

— Я все-таки посоветовал бы очистить здание.

— Даже считая риск минимальным?

— Даже. Я допускаю, что угрозу могли не привести в исполнение, что ничего не случится. Но, к сожалению, нам известны и обратные примеры.

— Откуда?

— Из истории криминалистики.

Иенсен заложил руки за спину и качнулся на носках.

— Таково мое мнение как профессионала, — сказал он.

Издатель пристально поглядел на него.

— За какую сумму вы согласились бы изменить свое мнение? — спросил он.

Иенсен взглянул на него недоуменно.

Издатель, видимо, покорился судьбе.

— Это была только шутка, — мрачно пояснил он, затем спустил ноги с подлокотников, снова вернул кресло в исходное положение, уронил руки на стол и опустил голову на стиснутый левый кулак.

Потом он рывком выпрямился.

— Мы должны посоветоваться с моим кузеном, — и нажал кнопку внутреннего телефона.

Иенсен заметил время: 13.27.

Мужчина в шелковом галстуке как-то бесшумно переместился в пространстве и, очутившись подле Иенсена, шепнул ему:

— С шефом, главным шефом, шефом всего треста, главой концерна.

Издатель что-то промурлыкал в микрофон. Потом прижал трубку к уху и недружелюбно взглянул на шепчущихся. Нажал другую кнопку, пригнулся к микрофону и заговорил. Четко и деловито:

— Это комендант здания? Прикиньте, сколько времени уйдет на учебную пожарную тревогу. Со скоростной эвакуацией. Ответ должен быть готов не позже чем через три минуты. Доложите непосредственно мне.

В комнату вошел шеф. Такой же белокурый, как и его брат, но старше примерно лет на десять. Лицо у него было спокойное, серьезное и красивое, плечи широкие, осанка прямая. На нем был коричневый костюм, простой и строгий. Шеф с места в карьер заговорил низким приглушенным голосом.

— Сколько лет этой новенькой? — спросил он рассеянно и подобием кивка указал на дверь.

— Шестнадцать, — доложил брат.

— А а.

Директор издательства очутился возле витрины, и вид у него сделался такой, словно он стоит на цыпочках, хотя стоял он на всей ступне.

— Это человек из полиции, — сказал издатель. — У него есть люди, которые ищут, но они ничего не найдут. И он говорит, что мы должны эвакуировать здание.

Шеф подошел к окну, поглядел, помолчал.

— Вот и весна пришла, — сказал он. — Ах, как красиво!

В комнате воцарилось молчание. Иенсен взглянул на часы: 13.29.

Шеф прошел сквозь уголок рта:

— Перегоните наши машины.

Директор опрометью бросился к дверям.

— Они стоят у самой стены, — кротко добавил шеф. — Ах, как красиво!

Молчание — на тридцать секунд. Потом что-то зажужжало, и на внутреннем телефоне мигнула лампа.

— Слушаю, — сказал издатель.

— От восемнадцати до двадцати минут с использованием лестниц, непрерывных и скоростных автоматических лифтов.

— Учтено все?

— Кроме тридцать первого.

— А если с... особым отделом?

— Значительно дольше.

При этом голос в микрофоне несколько увял.

— Винтовые лестницы слишком узки, — сказал он.
— Знаю.

Щелчок. Молчание. 13.31.

Иенсен подошел к одному из окон. Далеко внизу он увидел стоянку и улицу, разделенную на шесть рядов. Теперь она была пустынна. Он увидел также, что его люди перекрыли проезжую часть желтыми рогатками метрах в четырехстах от здания и что один из них направляет движение по боковой улице. Несмотря на расстояние, Иенсен отчетливо видел зеленую форму полицейских и белые нарукавники регулировщика. От стоянки отделились две большие черные машины. Они передвинулись к югу в сопровождении третьей — белого цвета, которая, по всей вероятности, принадлежала директору.

Директор слова возник в комнате и стоял теперь у стены. Улыбка его выражала тревогу, голова поникла под бременем забот.

— Сколько всего этажей в здании? — спросил Иенсен.
— Тридцать над поверхностью земли, — ответил издатель, — и четыре под землей. Мы обычно исходим из цифры тридцать.

— Мне показалось, что вы упомянули тридцать первый?

— Разве? Это по рассеянности.

— А сколько у вас служащих?

— Здесь? В Доме?

— Да.

— Четыре тысячи сто в главном корпусе. Две тысячи в боковых крыльях.

— Итого свыше шести тысяч?

— Да.

— Я настаиваю на их эвакуации.

Молчание. Издатель повернулся вместе с креслом вокруг своей оси. Шеф стоял, засунув руки в карманы, и глядел в окно. Потом он медленно перевел взгляд на Иенсена. Его правильное лицо казалось очень серьезным.

— Вы и в самом деле допускаете, что в здание подложена бомба?

— Во всяком случае, с такой возможностью следует считаться.

— Вы полицейский комиссар?

— Да.

— В вашей практике бывали подобные случаи?

Иенсен ненадолго задумался.

— Это случай особого рода, но опыт учит нас, что угрозы, содержащиеся в анонимных письмах, более чем в восьмидесяти случаях из ста оказываются справедливыми... или, по крайней мере, основаны на фактах.

— Это доказано статистикой?

— Да.

— Вы знаете, во сколько нам обойдется эвакуация?

— Да.

— Наше предприятие более тридцати лет борется с экономическими затруднениями. Убытки растут из года в год. К сожалению, это доказано статистикой. Лишь благодаря большим жертвам личного порядка мы можем продолжать нашу деятельность.

Голос его приобрел другую окраску — стал горестным и сокрушенным.

Иенсен не отвечал. Тринадцать часов тридцать четыре минуты.

— Наша деятельность посит чисто идеалистический характер. Мы не бизнесмены. Мы издатели-книжники.

— Книжники?

— Свои журналы мы приправливаем к книгам, ибо они отвечают тем потребностям, которые никогда не смогли бы удовлетворить книги, издававшиеся в прошлом.

Он глянул в окно и бормотнул:

— Ах, как красиво! Сегодня я шел парком и видел, что там уже распустились первые цветы. Фиалки и подснежники. Вы любите природу?

— Да как вам сказать...

— Все люди должны любить природу. Ибо от этого жизнь становится богаче. Еще богаче.

И снова, обращаясь к Иенсену:

— Вы понимаете, чего вы от нас требуете? Расходы огромные. Положение у нас тяжелое, даже в частной жизни. Вот у меня дома после того, как последний раз подбили бухгалтерские итоги, в ходу лишь большие коробки спичек. Я говорю об этом для примера.

— Большие коробки?

— Да, из экономических соображений. Приходится экономить решительно на всем. Большие коробки гораздо дешевле. Это здоровая экономия.

Издатель к этому времени уже сидел на столе, поста-

вив ноги на подлокотник кресла. Он глядел на своего кузена.

— Если бомбу и впрямь подложили, тоже может получиться здоровая экономия. Домик становится тест-новат.

Шеф глянул на него с горечью.

— Ну, страховка-то покроет убытки, — сказал издатель.

— А кто покроет убытки страхового общества?

— Банки.

— А убытки банков?

Издатель промолчал, и шеф вторично перенес свое внимание на Иенсена.

— Я понимаю, что вы по долгу службы обязаны молчать.

— Разумеется.

— Начальник полиции вас рекомендовал. Надеюсь, он знал, что делает.

Иенсен не нашелся что ответить.

— Кстати, внутри здания нет полицейских в форме?

— Нет.

Издатель снял ноги с кресла и скрестил их под собой, как делают портные.

Иенсен покосился на часы. Тринадцать часов тридцать шесть минут.

— А если бомба есть в самом деле, — сказал издатель, — шесть тысяч человек... скажите-ка, господин Иенсен, какой процент составят потери?

— Потери?

— Ну да, потери в людях?

— Это нельзя предсказать заранее.

Издатель пробормотал, как бы ни к кому не обращаясь:

— Найдутся такие, которые скажут, что мы нарочно дали им взлететь в воздух. Это вопрос престижа, — и, обращаясь к кузену: — А о потере престижа ты подумал?

Шеф устремил затуманенную синеву глаз на город, белый, чистый, кубистский. Самолет вычерчивал геометрические фигуры на ясном весеннем небе.

— Эвакуировать, — сквозь приоткрытый уголок рта проронил он.

Иенсен заметил время: 13.38.

Рука издателя легла на внутренний телефон. Рот

приблизился к микрофону. Голос был четким и решительным:

— Учебная пожарная тревога. Провести скоростную эвакуацию. Через восемнадцать минут в доме не должно быть ни одного человека, кроме особого отдела. Начинайте ровно через девяносто секунд.

Красная лампочка погасла. Издатель встал и пояснил:

— Для сотрудников тридцать первого лучше спокойно сидеть у себя в отделе, чем гонять по лестницам. Ток будет отключен в ту самую минуту, когда последний лифт спустится вниз.

— Откуда у нас могут быть такие недоброжелатели? — сокрушенно сказал шеф.

И ушел.

Издатель начал обуваться.

Иенсен вышел из комнаты вместе с директором.

Едва за ними захлопнулась дверь, у директора сразу же опустились уголки рта, лицо стало неподвижное и падменисное, а взгляд — пронзительный и пытливый. Когда они проходили через секретарскую, молодые женщины, как по команде, склонились над своими столами.

Ровно в тринадцать часов сорок минут комиссар Иенсен вышел из лифта и проследовал через вестибюль. Он дал своим людям знак следовать за ним и толкнул вращающуюся дверь. Полиция покинула Дом.

Позади, перекатываясь между бетонными стенами, гремели усиленные микрофоном слова команды.

3

Машина ждала у ограды, примерно на полдороге между стоянкой и полицейским кордоном. Комиссар Иенсен сидел на переднем сиденье рядом с шефом. В левой руке он держал секундомер, в правой — микрофон. Через небольшие промежутки времени он отдавал краткие энергичные приказания сотрудникам, находящимся в радиофицированных машинах, и тем, которые перекрыли улицу. Он держался с обычной выпрявкой; густые седые волосы были коротко подстрижены на затылке.

Сзади сидел директор — человек в шелковом галстуке и со скользкой улыбкой. Лоб у него взмок от пота, он суетливо ерзal на сиденье. Теперь, когда поблизости не

было ни выше-, ни нижестоящих, он мог, наконец, представить отдых своему лицу. Черты его как-то сразу обмякли и расплылись, а между губами то и дело мелькал кончик разбухшего языка. Он явно не учел, что Иенсен может наблюдать за ним в зеркало заднего вида.

— Вам вовсе незачем оставаться, если вам это не приятно, — сказал Иенсен.

— Я обязан. Шеф уехал, издатель тоже. Тем самым я становлюсь ответственным лицом, так сказать, шефом.

— Понимаю.

— А это опасно?

— Едва ли.

— Но если рухнет все здание?

— Маловероятно.

Иенсен поглядел на секундомер. Тринадцать часов пятьдесят одна минута.

Он перевел взгляд на Дом. Даже отсюда, с расстояния почти в триста метров, монолитная глыба устрашала и подавляла своими грандиозными размерами. Четыреста пятьдесят кусков стекла, оправленных в четыреста пятьдесят одинаковых металлических рам, отражали белый солнечный свет, голубая облицовочная плитка на стенах создавала впечатление холода, блеска, неприступности. Иенсену вдруг показалось, что Дом может рухнуть и без всякой бомбы, просто земля прогнется под этим непомерным грузом, просто давление, распирающее изнутри эти стены, разорвет их.

Из главного подъезда лился пескоструйный людской поток. Он не спеша петлял между рядами автомобилей на стоянке, просачивался сквозь проходы в высокой стальной ограде, стекал вниз по откосу и потом наискось по серым бетонным плитам порта. За грузовыми причалами и низким длинным зданием пакгауза поток дробился, представлял серой безликой массой, человеческой туманностью. Несмотря на расстояние, Иенсен успел заметить, что по меньшей мере две трети персонала составляют женщины и что большинство из них одето в зеленое. Должно быть, потому, что зеленое — цвет весны.

Две большие красные машины с брандспойтами и подъемными лестницами тронулись со стоянки и подъехали к входу. Пожарники сидели вдоль бортов, и их стальные каски сверкали на солнце. Но ни сирена, ни колокола не издали ни звука.

В тринадцать часов пятьдесят семь минут поток поддел, спустя еще минуту из стеклянных дверей выходили лишь отдельные люди.

А спустя еще немного в дверях остался один-единственный человек. Напрягая зрение, Иенсен смог узнать его. Это был начальник гражданского патруля.

Иенсен взглянул на секундомер. Тринадцать часов пятьдесят девять минут.

Слышно было, как за спиной первично возится директор издательства.

Пожарники сидели на своих местах. А начальник патруля исчез. Дом был пуст.

Иенсен в последний раз взглянул на часы, потом на здание и начал отсчет.

Когда перевалило за пятнадцать, секунды как будто сделались длинней.

Четыре... тринадцать... тринадцать... двенадцать... одиннадцать... десять... девять... восемь... семь... шесть... четыре... три... два... один...

— Ноль, — сказал комиссар Иенсен.

4

— Это неслыханное преступление, — сказал начальник полиции.

— Но бомбы-то мы не обнаружили. И вообще ничего не произошло. Ровно через час дали отбой пожарной тревоги, и люди снова приступили к работе. Задолго до четырех все уже шло своим чередом.

— И все-таки это неслыханное преступление, — сказал начальник.

Голос его звучал внушительно, но не совсем твердо, словно он пытался убедить не только собеседника, но и самого себя.

— Преступника надо задержать.

— Следствие продолжается.

— Но я не советовал бы вам вести следствие обычными методами. Преступника надо найти во что бы то ни стало.

— Понял.

— Выслушайте меня внимательно. Я далек от мысли критиковать ваши методы...

— Я избрал единственно возможный путь. Риск был

слишком велик. На карту были поставлены сотни человеческих жизней, а то и больше. Если бы Дом загорелся, мы вряд ли смогли бы что-нибудь сделать. Пожарные лестницы достают только до седьмого, максимум до восьмого этажа. Словом, команда возится внизу, а огонь лезет вверх. Далее, высота Дома сто двадцать метров, а выше чем на тридцать метров брандспойты не достают.

— Конечно, конечно, я вас понимаю. И вообще, я не осуждаю вас, как я уже сказал. Но они ужасно возмущаются. Остановка производства обошлась им почти в два миллиона. Шеф лично связался с министром внутренних дел. Я не сказал бы, что он принес жалобу...

Пауза.

— Слава богу, это не назовешь жалобой в обычном смысле слова...

Иенсен промолчал.

— Но он возмущен, его возмущают как убытки, так и гнусные происки, жертвой которых он стал. Да, да, я цитирую дословно: происки.

— Слушаю.

— Они настаивают на немедленной поимке преступника.

— Нужно время. Мы располагаем только письмом.

— Я знаю. Но преступление должно быть раскрыто.

— Слушаю.

— Дело довольно щекотливое и, как я уже сказал, спасибо. Все остальные дела можно отложить. Чем бы вы ни занимались до этого, можете все считать несущественным.

— Понял.

— Сегодня у нас понедельник. В вашем распоряжении неделя — и ни секундой больше. Семь дней, понимаете!

— Понимаю.

— Займитесь этим делом лично. Можете пользоваться услугами всех наших лабораторий, но не посвящайте их в суть дела. А если захотите с кем-нибудь посоветоваться, обращайтесь непосредственно ко мне.

— Должен сообщить вам, что гражданский патруль уже в курсе.

— Очень жаль. Прикажите им хранить молчание.

— Постараюсь.

— Все важные допросы проводите лично.

— Понял.

— И еще одно: следствие никак не должно мешать им. Они чрезвычайно дорожат временем. Если уж вам непременно понадобится получить от них какие-либо сведения, они предпочитают давать их через шефа-исполнителя, первого директора издательства.

— Понял.

— Вы с ним уже знакомы?

— Да.

— Иенсен!

— Слушаю.

— Желаю вам удачи. Это прежде всего в ваших интересах.

Комиссар Иенсен положил трубку. Поставил локти на зеленое сукно стола и уронил голову на ладони. Коротко остриженные волосы больно кололи пальцы. Рабочий день Иенсена начался пятнадцать часов назад. Сейчас было уже без малого десять, и Иенсен очень устал.

Иенсен встал из-за стола, расправил плечи и спустился по винтовой лестнице вниз, в дежурную часть. Компата выглядела очень старомодно. Все здесь было выкрашено в ядовито-зеленый цвет, как и двадцать пять лет назад, когда Иенсен был еще постовым полицейским. Через всю комнату тянулся деревянный барьер, а за ним скамьи, прикрепленные к стене, и кабинки для допроса со стеклянными оконцами и до блеска отполированными ручками дверей. Сегодня в дежурке большого наплыва не было. Несколько пьяниц да оголодавших проституток, все средних лет или чуть постарше. Они сидели кто где и дожидались, когда их вызовут на допрос, а за барьером виднелась непокрытая голова полицейского. На полицейском был полотняный китель защитного цвета. Он нес дежурство при телефоне. Время от времени доносился рев машин, с шумом въезжающих во двор.

Иенсен открыл стальную дверцу в стене и спустился в подвал. Помещение у шестнадцатого участка было старое, пожалуй, единственное старое в этой части города, да к тому же оно не содержалось в должном порядке. Зато камеры были выстроены по последнему слову техники. Потолки белые, пол белый, стены тоже, решетчатые двери сверкают под резким безжалостным светом ламп.

У ворот стоял серый полицейский автобус. Задние дверцы у него были распахнуты, и несколько человек

в форме выгружали оттуда группу пьяниц. Надо сказать, что с задержанными они не церемонились, но Иенсен уже знал, что причиной тому не столько жестокосердие, сколько отчаянная усталость.

Иенсен прошел через помещение для регистрации алкоголиков, разглядывая по пути их бессмысленные тосклевые лица.

Хотя пьянство на улицах преследовалось строжайшим образом, и с каждым годом все строже, хотя правительство совсем недавно приняло новый закон, запрещающий злоупотребление алкоголем даже в домашних условиях, полиция совершенно изнемогала от непосильной нагрузки: каждый вечер она задерживала от двух до трех тысяч человек, находящихся в более или менее глубокой стадии опьянения. Из них примерно половину составляли женщины. Со временем постовой службы Иенсен помнил, что тогда три сотни задержанных в субботний вечер считалось чрезвычайным происшествием.

Рядом с автобусом стояла санитарная машина, а подле нее молодой человек в спортивной шапочке и белом халате — полицейский врач.

— Пятерых надо отправить в больницу для промывания желудка, — сказал он. — Оставить их здесь я не рискну. Не могу взять на себя такую ответственность.

Иенсен кивнул.

— Черт знает что получается, — продолжал врач. — Сперва облагают спиртные напитки огромным налогом — пять тысяч процентов, потом создают такие условия жизни, которые толкают человека к пьянству, и после всего этого в одном только нашем городе государство ежедневно зарабатывает на штрафах за пьянство триста тысяч.

— Советую вам держать язык за зубами, — ответил Иенсен.

5

Жил комиссар Иенсен по теперешним временам сравнительно недалеко от центра, в южном районе застройки, и на машине он добирался до своего дома меньше чем за час.

В центре на улицах было все так же пурпурно — не закрылись еще кинотеатры и кафе-автоматы, и люди сно-

вали по тротуарам вдоль освещенных витрин. Лица у них были белые и напряженные, словно их измучил холодный колючий свет реклам и фонарей. Кое-где встречались группы праздношатающейся молодежи. Они собирались вокруг фургонов, где продавали жареную кукурузу, или перед витринами. Стояли по большей части тихо, даже друг с другом почти не разговаривали. Лишь изредка кто-нибудь равнодушно провожал глазами полицейскую машину.

Преступность среди молодежи, считавшаяся прежде чрезвычайно важной проблемой, за последнее десятилетие почти сошла на нет. И вообще, теперь совершалось гораздо меньше преступлений, возрастал только алкоголизм. По дороге через центр Иенсен неоднократно наблюдал полицейских при исполнении ими служебных обязанностей. В неоновом свете отливали белым резиновые дубинки, когда полицейские захихивали пьяниц в автобусы.

Перед министерством внутренних дел машина Иенсена нырнула в восьмикилометровый туннель и вынырнула в пустынном заводском районе, потом проехала через мост и продолжала свой путь по шоссе к югу.

Иенсен устал, и в правом подреберье у него засела боль, тяжелая и тягучая.

Пригород, где он жил, состоял из тридцати шести восьмиэтажных домов, выстроенных в четыре параллельные линии. Между этими линиями помещались места для стоянки автомобилей, цветочные газоны, а для детей — игровые павильоны из прозрачной пластмассы.

Иенсен остановил машину перед седьмым домом в третьей линии, выключил зажигание и вылез под холодное звездное небо. Хотя часы показывали всего пять минут одиннадцатого, в доме было темно. Иенсен сунул монетку в автомат при стоянке, повернул рычажок с красной часовой стрелкой и пошел к себе.

Он зажег свет, снял плащ, ботинки, галстук, пиджак, расстегнул рубашку, прошелся по комнате, окинул взглядом ее безликую обстановку, большой телевизор и снимки — еще из полицейской школы, развешанные по стенам.

Потом опустил жалюзи на окнах, снял брюки и погасил свет. В темноте прошел на кухню и достал из ходильника бутылку. Прихватив еще и рюмку, отогнул одеяло и простыню и усился на постели.

Так он сидел и пил — в полной темноте.

Когда боль поутихла, Иенсен отставил рюмку на тумбочку и лег.

Уснул он почти мгновенно.

6

Комиссар Иенсен проснулся в половине седьмого. Вылез из постели, прошел в ванную комнату, там вымыл лицо, руки и шею холодной водой, побрился и почистил зубы.

От полоскания долго кашлял.

Потом, вскипятив воды с медом, он постарался выпить ее, пока она не остыла. Между делом просмотрел газеты. Ни одна из них ни словом не обмолвилась о событиях, которые занимали его со вчерашнего дня.

На шоссе было оживленное движение, и, даже включив сирену, он смог добраться до участка только в тридцать пять минут девятого.

Через десять минут позвонил начальник.

— Следствие ведется?

— Да.

— По каким направлениям?

— Послано на анализ вещественное доказательство — бумага. Психологи изучают текст. Откомандировал человека на почту.

— Имеются результаты?

— Пока нет.

— У вас есть какая-нибудь собственная версия?

— Нет.

Молчание.

— Мои сведения об этом издательстве недостаточны, — сказал Иенсен.

— Желательно их освежить.

— Да.

— Еще желательнее, чтобы вы нашли источники информации вне концерна.

— Понял.

— Я порекомендовал бы вам министерство связи, ну, например, государственного секретаря по вопросам печати.

— Понял.

— Вы обычно читаете их журналы?

— Нет. Но я начну.

— Хорошо, только ради бога постарайтесь не вызывать нареканий со стороны шефа и его кузена.

— Если я назначу кого-нибудь из патруля в личную охрану, вы не будете возражать?

— Для кого охрану? Для шефа с братом?

— Да.

— Без их ведома?

— Да.

— Вы считаете такой шаг обоснованным?

— Да.

— И вы думаете, ваши люди справляются с таким щекотливым поручением?

— Да.

За этим последовало столь продолжительное молчание, что Иенсен невольно взглянул на часы. Он слышал, как дышит начальник, слышал, как тот постукивает чем-то по столу, скорей всего авторучкой.

— Иенсен!

— Слушаю!

— С этой минуты следствие целиком передовано вам. Я не желаю ничего знать ни о ваших методах, ни о ваших действиях.

— Понимаю.

— За все отвечаете вы. А я на вас полагаюсь.

— Понял.

— Общие установки ясны?

— Да.

— Желаю удачи.

Комиссар Иенсен пошел в туалет, набрал там воды в бумажный стаканчик и вернулся к своему столу. Выдвинув ящик стола, достал оттуда пакетик с питьевой содой, отсыпал в стаканчик ложки три — на глазок — и размешал ручкой.

За двадцать пять лет службы в полиции Иенсен видел начальника один раз, а не говорил с ним ни разу — до вчерашнего дня. Зато со вчерашнего они уже успели поговорить по телефону пять раз.

Судя по выпил залпом, стаканчик смял и кинул в корзинку для бумаг, потом позвонил в лабораторию. Лаборант отозвался сухим, официальным тоном:

— Отпечатки пальцев не обнаружены.

— Вы уверены?

— Разумеется, уверен. Но для нас еще ничего не ясно. Мы прибегнем к другим методам.

— Конверт?

— Из самых обычных. Ничего нам не даст.

— А бумага?

— Вот бумага особой выработки. И кроме того, надорвана по одному краю.

— Это может служить какой-то нитью?

— Допускаю.

— Еще что?

— Ничего. Мы продолжаем работу.

Иенсен положил трубку, подошел к окну и поглядел вниз на цементированный двор участка. У входа в подвал стояли двое полицейских в резиновых сапогах и не-промокаемых комбинезонах. Они разматывали шланги — собирались мыть камеры. Иенсен распустил ремень, чтобы легче было дышать, пока газы, распирывшие желудок, не выйдут через пищевод.

Зазвонил телефон. Это звонил полицейский, который был откомандирован на почту.

— Боюсь, что скоро мне не управиться.

— Расходуйте столько времени, сколько нужно, но ни секундой больше.

— Как часто докладывать?

— Каждое утро в восемь поль-поль письменно.

Иенсен положил трубку, надел фуражку и вышел из комнаты.

Министерство связи было расположено в самом центре города, между королевским дворцом и главной канцелярией объединенных партий страны. Комитет государственного секретаря по делам печати находился на третьем этаже — с видом на дворец.

— Концерн является нам пример идеального руководства, — сказал он. — Концерн — это краса и гордость свободного предпринимательства.

— Понимаю.

— Единственное, чем я могу помочь вам, — это сообщить некоторые статистические данные.

Он взял со стола какую-то папку и рассеянно полистал ее.

— Концерн выпускает сто сорок четыре различных издания. В прошлом году общий тираж их составлял двадцать один миллион трехста двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят три экземпляра. В неделю.

Иенсен записал на карточке: «21 326 453».

— Это очень высокая цифра. Она свидетельствует о том, что наша страна имеет самую высокую читательскую активность в мире.

— А еще где-нибудь еженедельники издаются?

— Очень немногие. Их печатают всего несколько тысяч экземпляров — и для весьма ограниченного круга читателей.

Иенсен кивнул.

— Но издательство представляет собой, разумеется, лишь одну из ветвей концерна.

— А что еще в него входит?

— По моему ведомству речь идет о ряде типографий, печатающих главным образом газеты.

— Сколько именно?

— Чего, типографий? Тридцать шесть.

— А сколько газет они выпускают?

— Okolo ста... Одну минуточку... — Секретарь порылся в бумагах. — Сто две — на сегодняшний день. Ибо газетное дело на редкость непостоянно. Одни газеты закрываются, вместо них возникают другие.

— Почему?

— Чтобы лучше отвечать новым запросам и улавливать дух времени.

Иенсен кивнул.

— Общий тираж газет за истекший год...

— Какой же?

— У меня есть только сводные цифры, для всей страны. Девять миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста двадцать экземпляров ежедневно. Но это и есть примерно та цифра, которая вас интересует. Выходит, правда, несколько газет, не зависящих от концерна. Но они испытывают затруднения с подписчиками, и тиражи у них ничтожные. Если вы сократите приведенные мной цифры тысяч на пять, вы получите искомый результат.

Иенсен записал на ту же карточку: «9 260 000». И спросил:

— А кто занимается вопросами подписки?

— Демократическое объединение издателей.

— Там представлены все газеты?

— Да, за исключением тех, чьи тиражи не превышают пять тысяч экземпляров.

— Почему?

— Более низкие тиражи нерентабельны. Практически концерн незамедлительно закрывает те газеты, чей тираж упал ниже приведенной цифры.

Иенсен сунул карточку в карман.

— Другими словами, концерн контролирует все газеты, выходящие в стране?

— Если угодно. Но я считаю своим долгом подчеркнуть, что это в высшей степени разносторонние издания, заслуживающие всяческой похвалы. И прежде всего заслуживают похвалы наши еженедельники, доказавшие, что они способны без лишнего шума и суэты удовлетворять все законные вкусы и предпочтения наших читателей. Ибо раньше пресса зачастую возбуждала и тревожила читательские круги. Теперь совсем другое дело. Теперь оформление и содержание служат одной цели — нести нашим читателям пользу и... и... — секретарь бросил взгляд в папку и перевернул страницу... — и радость. Они принимают в расчет семью, они хотят быть доступными для всех и не порождать при этом агрессивность, недовольство или беспокойство. Они удовлетворяют также естественную потребность человека наших дней уйти от действительности. Короче говоря, они служат созданию единого общества.

— Ясно.

— До того как проблема единого общества была решена, издание газет носило раздробленный характер. Политические партии и профсоюзы издавали свои газеты. Но по мере того как эти газеты сталкивались с экономическими трудностями, концерн либо закрывал, либо присоединял их. И многие сумели выжить именно благодаря...

— Чему же?

— Именно благодаря тем принципам, которые я только что перечислил. Благодаря способности подать своим читателям душевное спокойствие и уверенность. Благодаря способности быть простыми и общедоступными, способности угадать вкусы современного человека, способности постичь его умственные потребности.

Иенсен кивнул.

— Я не нахожу ни малейшего преувеличения в утверждении, что единая пресса больше, чем все иные средства, содействовала консолидации единого общества, уничтожению пропастей, отделяющих одну политическую

партию от другой, монархию от республики, так называемый правящий класс от...

Он умолк, посмотрел в окно и продолжал:

— И не нахожу ни малейшего преувеличения в утверждении, что заслуга принадлежит главным образом руководителям концерна. Это редкостные... исключительные люди, высоких... высоких моральных качеств. Они начисто лишены тщеславия, они не гонятся ни за почетами, ни за властью, ни за...

— За богатством?

Секретарь бросил быстрый, недоверчивый взгляд на человека, сидящего в кресле для посетителей.

— Вот именно.

— Какие еще сферы контролирует концерн?

— Понятия не имею, — рассеянно откликнулся секретарь, — подписку и доставку, производство тары, пароходства, мебельную промышленность, само собой, бумажную промышленность и... и вообще, это не по моей части.

Он устремил взгляд на Иенсена:

— Не думаю что могу дать вам сколько-нибудь исчерпывающие сведения. Кстати, зачем вам все это понадобилось?

— Приказ, — сказал комиссар Иенсен.

— Чтобы переменить тему: как отразилось на статистике расширение прав полиции?

— Вы имеете в виду статистику самоубийств?

— Именно.

— Положительно.

— Очень рад это слышать.

Комиссар Иенсен задал еще четыре вопроса.

— Не противоречит ли деятельность концерна антитрестовскому закону?

— Не знаю, я не юрист.

— Каковы обороты издательства?

— Это дело налогового управления.

— А личное состояние владельцев?

— Ну, это трудно подсчитать.

— Вы сами служили в концерне?

— Служил.

На обратном пути Иенсен зашел в кафе-автомат, выпил чашку чаю и съел два ржаных сухарика.

За едой он размышлял о том, что кривая самоубийств заметно пошла вниз после принятия закона об усилении

наказания за пьянство. Ибо вытрезвители не ведут статистического учета, а самоубийства в камерах полицейских участков заносятся в рубрику скоропостижных смертей. Хотя надзор там поставлен очень хорошо, это случается не так уж редко.

Когда он прибыл в шестнадцатый участок, было уже без малого два и пьяниц доставляли целыми партиями. С утра наплыв бывает не так велик, потому что полицейские избегают задерживать их до полудня. Это диктуется чисто гигиеническими соображениями — необходимостью предварительно продезинфицировать камеры.

Врач стоял в дежурке, облокотясь на барьер одной рукой, и курил. Халат у него был помятый, в кровавых пятнах. Иенсен посмотрел на него с явным неодобрением. Но врач ненадолго истолковал этот взгляд и сказал:

— Ничего страшного. Так, один бедолага... Он уже скончался. Я опоздал.

Иенсен кивнул.

Веки у врача припухли и покраснели, на ресницах висели засохшие кусочки гноя.

Он задумчиво посмотрел на Иенсена и спросил:

— А правду говорят, что вы до сих пор не провалили ни одного расследования?

— Да, — ответил комиссар Иенсен. — Правду.

7

На столе в его кабинете лежали журналы, которые он приказал доставить. Сто сорок четыре журнала, расположенных на четыре стопки, по тридцать шесть в каждой.

Комиссар Иенсен выпил соды и отпустил ремень еще на одну дырочку. Потом сел и взялся за чтение.

Журналы различались по формату, иллюстрациям и числу страниц. Одни были напечатаны на глянцевой бумаге, другие — на простой. Сравнение показало, что это определяет и цену.

У всех были цветные обложки с изображением ковбоев, суперменов, членов королевских фамилий, певцов, телевзвезд, известных политических деятелей, детей и животных. На некоторых обложках были сразу и дети и животные во всевозможных сочетаниях: например,

девочки с котятами, белокурые мальчики со щенками, мальчики с громадными пасами и девочки-подростки с маленькими кошечками. Все люди на обложках были красивые, все голубоглазые и с приветливыми лицами. Все, включая детей и домашних животных. Когда Иенсен взял лупу и более внимательно рассмотрел некоторые иллюстрации, он заметил, что на всех лицах лежит отпечаток безжизненности, словно кто-то удалил с них родинки, поры, синие прожилки.

Комиссар Иенсен начал читать журналы, как обычно читал донесения, быстро, но внимательно, ничего не пропуская, если не был убежден заранее, что это ему уже знакомо. Примерно через час он заметил, что знакомые места встречаются все чаще.

К половине двенадцатого он проработал семьдесят два журнала — ровно половину. Он спустился вниз, перекинувшись несколькими словами с дежурным на телефоне и выпил в буфете стакан чаю. Посмотря на стальные двери и капитальные кирпичные перекрытия, из подвала доносились бранчливые выкрики и жалобные вопли. По дороге к себе в кабинет он заметил, что полицейский в зеленом полотняном кителе читает один из тех журналов, которые он только что изучал. А на полочке за барьером дожидаются своей очереди еще три.

На изучение второй половины у Иенсена ушло в три раза меньше времени. Без двадцати три он перевернул последнюю глянцевую обложку и поглядел в лупу на последнее приветливое лицо.

Проведя кончиками пальцев по щекам, он нашел, что кожа у него дряблая и несвежая. Спать ему даже и не особенно хотелось, а стакан чаю, выпитый в буфете, до сих пор так заметно напоминал о себе, что есть не хотелось тоже.

Иенсен на мгновение расслабил плечи, поставил левую руку на подлокотник и подпер ладонью голову. В таком позе он посидел еще немного, глядя на журналы.

Он не вычитал из них ничего интересного, но зато и ничего такого, что показалось бы ему неприятным, тревожным или отталкивающим. Ничего, что могло бы порадовать его, рассердить, огорчить или удивить. Попечинул некоторые сведения, преимущественно об автомашинах и личностях, занимающих видное положение, но ни одно из этих сведений не могло бы оказать воз-

действие на чьи-то поступки или образ мыслей. Встречались и элементы критики, но она всегда была направлена либо против известных из истории психопатов, либо — в редких случаях — против каких-то частных обстоятельств в каких-то отдаленных странах, да и то лишь изредка и в чрезвычайно сдержанных выражениях.

Выносился на рассмотрение ряд моральных проблем, выуженных преимущественно из телепередач, где кто-то один, к примеру, выругался, а кто-то другой, к примеру, явился нечесанным или небритым. Эти проблемы занимали видное место в большинстве журналов, и при обсуждении их царило полное взаимопонимание, из чего явствовало, что все правы в равной мере. Порой так оно и получалось.

Часть материала составляла фантастика, она и оформлена была как фантастика, с цветными — словно с натуры — иллюстрациями. Подобно статьям, основанным на фактическом материале, фантастика говорила о людях, которые добились успеха в личной жизни или в области экономики. Материал подавался по-разному, но, поскольку Иенсен мог судить, в журналах с глянцевой бумагой подача была не более сложной, чем в массовых выпусках.

Он заметил также, что журналы адресовались к различным классам общества, но содержание их оставалось неизменным. Они хвалили одних и тех же людей, рассказывали те же сказки, и, хотя стиль их не совпадал, при чтении подряд создавалось впечатление, будто все это написано одним автором. Но это, разумеется, была мысль, лишившая каких бы то ни было оснований.

Столь же неосновательной представлялась мысль, что кого-нибудь может задеть или возмутить написанное в этих журналах. Авторы, правда, весьма часто «переходили на личности», но всякий раз это были личности, известные высокими моральными принципами и прочими добродетелями. Можно было предположить, что некоторые добившиеся почета личности упоминаются реже, чем другие, или не упоминаются вовсе, но это было дело темное да и маловероятное к тому же.

Комиссар Иенсен достал из нагрудного кармана маленькую белую карточку. И написал четким убористым почерком: «144 журнала. Улик никаких».

По дороге домой Иенсен вдруг почувствовал, что ему хочется есть. Он остановился перед автоматом, опустил

монету, получил два бутерброда в целлофановой бумаге и съел их прямо за рулем.

Пока он добрался до дома, в правом подреберье опять начались сильные боли.

Разделяя он в темноте, достал бутылку и стакан, откинулся одеяло и сел на кровать.

— Донесения должны поступать ко мне ежедневно до девяти. В письменном виде. Все, что вы сочтете важным.

Начальник патруля наклонил голову и молча ушел. Была среда, две минуты десятого.

Комиссар Иенсен подошел к окну и посмотрел, как полицейские в защитных комбинезонах разматывают пленки и поливают камеры дезинфекционным раствором.

Потом Иенсен снова сел за стол и еще раз просмотрел донесения. Два из них были предельно кратки.

От того, кто был откомандирован на почтамт: «Письмо отправлено из западной части города по ранее двадцати одного часа в воскресенье и не позднее десяти часов утра в понедельник».

От лаборанта: «Проведен анализ бумаги. Бумага белая, без примесей, высокого качества. Место изготовления пока не установлено. Способ заклейки: обыкновенный конторский клей, фотопленка, разведенная ацетоном. Производство — не поддается определению».

От психолога: «Не исключено, что отправителем был человек с ярко выраженной вязкостью психики или человек с угнетенной психикой, и возможно — с павязчивыми представлениями. Совершенно исключается возможность неустойчивой психики. Во всяком случае, можно установить, что обвиняемый — человек пунктуальный, причем пунктуальность его граничит с педантизмом или со скрупулезностью. Кроме того, у обвиняемого наблюдается профессиональная привычка к выступлениям, устным или печатным, скорее ко вторым, и привычка, сложившаяся довольно давно. Само изготовление письма говорит о большой тщательности как с технической стороны, так и со стороны текста; например, подбор шрифта (все буквы одинаковой величины) и почти абсолютная

ровность строк указывают, как мы уже неоднократно убеждались, на вязкость психики и скованность мышления. Некоторые особенности лексики указывают на то, что автор — мужчина не первой молодости и несколько чудаковатый. Ни одно из этих положений не подкрепляется доказательствами достаточно вескими, чтобы его можно было счесть бесспорным, но зато каждое из них может послужить руководством для дальнейших поисков».

Это донесение было отстукано на машинке небрежно, торопливо, со множеством опечаток и вычерков.

Комиссар Иенсен аккуратно сунул все три донесения в дырокол, пробил их, спрятал в зеленую папку и переложил папку налево от себя. Потом он встал, надел фуражку, китель и вышел из комнаты.

Погода за это время не испортилась. Так же резал глаза певыносимый солнечный свет, но настоящей жары пока не было, и небо ослепляло холодной синевой, и даже воздух, несмотря на пары бензина, оставался чистым и свежим. Казалось, что пешеходы на тротуарах просто отлучились ненадолго от своих машин. Как обычно, все они были хорошо одеты и, как обычно, походили друг на друга. Двигались они перво и торопливо, словно до смерти хотели заleзть обратно в свои машины.

Только под их надежным кровом они могли чувствовать себя в безопасности. Поскольку автомобили все-таки различались ну хотя бы по цвету, размерам, форме кузова, мощности, они и своим владельцам придавали какие-то личные черты, более того, даже порождали некоторую солидарность: у людей в одинаковых машинах возникало чувство принадлежности к какой-то определенной социальной категории, категории равнозначных, и это чувство казалось более реальным, чем единое общество.

Все эти мысли Иенсен вычитал в циркуляре министерства общественных проблем. Циркуляр составили крупные психологи и разослали руководящим чинам полиции с пометкой «Совершенно секретно».

Проезжая по южной стороне площади перед монументом рабочего, он заметил в зеркальце заднего вида точно такую же машину, как и его собственная. Должно быть, в ней сидел комиссар соседнего участка, то ли пятнадцатого, то ли семнадцатого.

По дороге Иенсен рассеянно ловил одним ухом писк

своего коротковолнового приемника — через равные промежутки времени приемник передавал краткие шифрованные приказы из радиоцентра пикетам и патрулирующим машинам. Иенсен знал, что репортеры могут свободно подслушивать эту радиосвязь. Но за исключением дорожных происшествий, не случалось почти ничего сколько-нибудь интересного и сенсационного.

Иенсен подал машину на стоянку и загнал ее в промежуток между черными автомобилями шефов и белым — директора.

К нему тотчас подскочил охранник в белой форме и красной фуражке. Иенсен показал ему свой значок и прошел в Дом.

Скоростной лифт автоматически доставил его сразу на восемнадцатый этаж, но, пока Иенсена допустили пред светлые очи, прошло по меньшей мере минут двадцать. Чтобы скоротать время, Иенсен разглядывал модели пассажирских судов, названных одно в честь премьер-министра, другое — в честь его величества.

Секретарша в зеленом платье с потушенным взором пригласила его войти. Комната как две капли воды походила на ту, где он был позавчера, разве что кубки в витрине были чуть поменьше да вид из окна другой.

Первый директор на мгновение перестал полировать ногти и пригласил Иенсена садиться.

— Ну как, дело уже закончено?

— К сожалению, нет.

— Если вам нужна помочь или более сложная информация, мне поручено оказывать вам всяческое содействие. Итак, я к вашим услугам.

Иенсен кивнул.

— Хотя я должен предупредить вас, что немыслимо занят.

Иенсен взглянул на кубки и спросил:

— Вы увлекаетесь спортом?

— Я член общества любителей природы. До сих пор активный. Парусный спорт, рыбная ловля, стрельба из лука, гольф... Ну, разумеется, мне далеко до...

Директор стыдливо улыбнулся и неопределенный жестом указал на дверь. Через несколько секунд уголки его рта снова опустились. Он поглядел на свои часы, большие, элегантные часы с широким золотым браслетом.

— Итак, чем могу быть полезен?

Комиссар Иенсен давно уже составил в уме те вопросы, которые собирался задать.

— Имели у вас место какие-нибудь события, которые могли бы удовлетворительно объяснить выражение «совершенное вами убийство»?

— Конечно, нет.

— Значит, вы не можете увязать это выражение с каким-нибудь конкретным случаем?

— Нет, я ведь уже сказал, что нет. Идиотская выдумка, и писал идиот — вот единственное мыслимое объяснение.

— И смертных случаев никаких не припомните?

— Во всяком случае, за последнее время — никаких. Впрочем, по этому вопросу вам лучше обратиться к директору по кадрам. Я ведь, по сути дела, журналист, отвечаю за содержание и оформление журналов. В добавок...

— Что вдобавок?

— Вдобавок вы пошли по ложному следу. Неужели вы сами не видите, как абсурден такой ход мыслей?

— Какой?

Директор посмотрел на него растерянно.

— И еще один вопрос, — сказал Иенсен. — Если мы предположим, что автор письма намеревался просто насолить руководителям издательства или одному из них, в каком кругу нам следует его искать?

— Ну, это пусть решает полиция. Я уже выразил свою точку зрения: в кругу сумасшедших.

— Существуют ли отдельные индивидуумы или группа таких, которые могли бы питать антипатию к издательству или его руководителям?

— Вы наши журналы знаете?

— Я их читал.

— Тогда вы должны были понять, что вся наша политика к тому и сводится: не пробуждать недовольства, агрессивности, разногласий. Мы издаем журналы здоровые и развлекательные. Они меньше всего способны усложнить жизнь читателя и смутить его чувства.

Директор сделал небольшую паузу, после чего подвел итоги:

— У нашего издательства нет врагов. У его руководителей — тоже. Сама мысль об этом нелепа.

Комиссар Иенсен все так же прямо и неподвижно

сидел в кресле для посетителей. Лицо его по обыкновению ничего не выражало.

— Не исключено, что мне придется произвести розыск в самом здании.

— Не забывайте о необходимости соблюдать строжайшую тайну, — немедленно отозвался директор. — Только шеф, издатель да еще я знаю, чем вы здесь занимаетесь. Мы, конечно, постараемся помочь вам по мере возможности, но повторяю: никто не должен знать, что полиция интересуется нашим издательством, и прежде всего не должны знать об этом наши служащие.

— Вести следствие немыслимо без известной свободы передвижения.

Директор задумался, потом ответил:

— Я могу дать вам универсальный ключ и выписать удостоверение, которое позволит вам посещать все отделы.

— Хорошо.

— Оно... оно, так сказать, оправдает ваше присутствие.

Директор постучал костяшками пальцев по краю стола. Потом улыбнулся доверительно, с заговорщицким видом и сказал:

— Пожалуй, я сам панишу и оформлю ваше удостоверение. Так будет лучше. — И словно мимоходом нажал кнопку возле телефона. Тотчас же откинулся какой-то щиток, и на выдвижную доску стола плюхнулась пишущая машинка. Машинка обтекаемой формы блестала хромом и лаком и, казалось, никогда не бывала в употреблении.

Директор выдвинул какой-то ящик, достал оттуда синюю карточку. Пересел на вертушку, легким движением вставил ее в машинку. Немножко поковыровал над рычагом интервалов, задумчиво почесал указательным пальцем переносицу, пробежал по клавиатуре и, сдвинув очки на лоб, посмотрел, что у него получается. Потом выдернул карточку из машинки, смял ее и бросил в корзину для бумаг, а из ящика достал новую.

На сей раз он писал медленно и старательно. После каждого удара по клавишам сдвигал очки и смотрел, хорошо ли вышло.

Когда он скомкал и кинул в корзину второй бланк, улыбка у него была уже не столь доверительная.

Он достал еще один бланк. А потом — сразу пять.

Комиссар Иенсен сидел прямо и неподвижно, при первом взгляде казалось, что он смотрит мимо, на кубки и флагок.

Испортив седьмой бланк, директор окончательно перестал улыбаться. Он расстегнул воротник, распустил галстук, достал из нагрудного кармана черную авторучку с серебряной монограммой и принялся набрасывать черновик на белом листке почтовой бумаги с неброской маркой фирмы.

Комиссар Иенсен ничего не говорил и все так же смотрел мимо.

Капля пота сбежала по директорскому носу и упала на бумагу.

Директор вздрогнул, словно в ознобе, и продолжал писать, царапая пером. Потом скомкал бумагу и швырнулся под стол. Бумага не попала в корзину, а легла прямо к ногам Иенсена.

Директор встал, подошел к окну, открыл его и постоял немного спиной к посетителю.

Комиссар Иенсен быстро глянул на скомканный черновик, поднял его и сунул в карман.

Директор закрыл окно и с улыбкой сел за стол. Он застегнул воротник, поправил шелковый галстук и нажатием кнопки убрал машинку. Потом нажал какую-то другую кнопку и сказал в микрофон:

— Выпишите господину Иенсену пропуск на право свободного входа в издательство. Он из строительного надзора. Срок годности — по воскресенье включительно. К пропуску приложите универсальный ключ.

Голос звучал сурово, холодно и повелительно, но улыбка оставалась неизменной.

Ровно через девятнадцать секунд пришла женщина в зеленом и принесла ключ и пропуск. У директора появилось на лице брюзгливое выражение, он окинул пропуск критическим взором и сказал, пожав плечами:

— Ну ладно, сойдет и так.

Что-то мелькнуло во взгляде у секретарши.

— Я же сказал, что сойдет и так, — резко повторил директор. — Я вас не задерживаю.

Он размашисто подписался, протянул ключ и пропуск Иенсену.

— Ключ подходит к дверям всех отделов, какие только могут заинтересовать вас. Разумеется, кабинет шефа он не откроет и эту дверь тоже.

— Благодарю.

— У вас есть еще вопросы? В противном случае...
Директор сокрушенно поглядел на свои часы.

— Еще одна незначительная деталь, — сказал Иенсен. — Что представляет собой особый отдел?

— Это проектная группа, она создает проекты новых журналов.

Иенсен кивнул молча, спрятал ключ и синюю карточку в нагрудный карман и вышел из кабинета.

Прежде чем завести мотор, он достал скомканный лист бумаги, разгладил его и провел по нему кончиками пальцев. Бумага была очень высокого качества, и формат ее казался необычным.

Почерк у директора был небрежный и угловатый — как у ребенка, но вполне разборчивый.

Иенсен прочел:

«Испектору стройнадзора настоящим...

Господин И. Иенсен — представитель стройнадзора и пользуется правом свободного доступа во все отделы за исключением... И. Иенсен — сотрудник стройнадзора и может посещать...

Господину Иенсену, подателю сего, настоящим разрешается доступ... Господин Иенсен из стройнадзора наделен особыми полномочиями... Комиссар комиссар комиссар... Господин Иенсен... А, ЧТОБ ТЫ СДОХ...»

Иенсен сложил бумагу и сунул ее в тайник, где у него лежал револьвер. Пригнувшись к боковому стеклу, глянул на Дом. Взгляд у него был спокойный и ничего ровным счетом не выражал.

Опять засосало под ложечкой. Иенсен проголодался, но знал, что стоит ему съесть хоть самую малость, сразу же начнутся боли.

Иенсен повернулся к зажиганию и засек время.

Половина первого — идет среда.

9

— Нет, — сказал лаборант. — Бумага другая. Формат не совсем тот. Но...

— Что «но»?

— Большой разницы в качестве нет. Одинаковая структура. Очень, очень много общего.

— Ну и...

— Представляется вполне правдоподобным, что оба листа изготовлены на одной фабрике.

— Ах так.

— Мы сейчас делаем анализ. Во всяком случае, это не исключено. — Лаборант как будто задумался и мгновение спустя добавил:

— Скажите, а записи на втором листе имеют какое-нибудь отношение к делу?

— Вы почему спрашиваете?

— К нам заходил один врач из психиатрической лечебницы и случайно увидел этот листок. Он тотчас пришел к выводу, что человек, исписавший листок, страдает так называемой алексией, то есть словесной слепотой. Он в этом абсолютно уверен.

— Кто допустил вашего психиатра к материалам следствия?

— Я. Он случайно зашел к нам, и оказалось, что мы знакомы.

— Я подам на вас рапорт. — И Иенсен положил трубку.

— «Абсолютно уверен». «Очень, очень много общего», — повторил Иенсен себе самому.

Потом он прошел в туалет, налил воды в стакан, всыпал туда три ложечки соды, размешал авторучкой и выпил.

Достал из кармана универсальный ключ. Ключ был длинный, плоский, и бордока какой-то странной формы. Иенсен подержал его на ладони и мельком взглянул на часы.

Было двадцать минут четвертого, и среда все еще не кончилась.

10

Из вестибюля Иенсен пошел налево, сел в патерностер и поехал вниз. Непрерывная цепь кабин двигалась медленно, с лязгом и скрежетом, а Иенсен тем временем старался увидеть по дороге все, что можно увидеть из кабины. Сперва проплыл мимо огромный зал, где электрокары сновали по узким проходам между штабелями увязанных в пачку свежих журналов, ниже — люди в комбинезонах развозили на тележках отливные формы и оглушительно грохотали ротационные машины. Еще

ниже — душевые, туалеты, раздевалки со скамейками и длинными рядами металлических зеленых шкафчиков. На скамейках сидели люди — отдыхали, наверно, или у них кончилась смена. Многие вяло перелистывали пестрые страницы свежих журналов — только-только из-под пресса скоропечатной машины. Но тут путешествие закончилось, и Иенсен очутился в бумажном складе. В складе царила тишина, не полная, конечно, ибо звуки и шумы, пронизывающие огромное здание, доносились и сюда биением мощного пульса.

Иенсен немного проплутал в потемках среди цухлых тюков и поставленных стоймажи бумажных рулонов. Единственный человек, который встретился ему, был щуплый паренек в белом халате. Паренек испуганно взорвался на Иенсена, зажав в кулаке горящую сигарету.

Иенсен выбрался из склада и поехал наверх. На уровне первого этажа у него объявился попутчик — мужчина средних лет в сером костюме. Мужчина вошел в ту же кабину и поднялся вместе с ним до десятого этажа, где надо было пересаживаться на другой лифт. Всю дорогу он молчал и даже не глядел в сторону Иенсена. После пересадки на десятом этаже Иенсен заметил, что серый костюм прыгнул в следующую кабину патерностера.

На двадцатом этаже Иенсен пересел в третий лифт, и через четыре минуты лифт поднял его на самый верх.

Иенсен очутился в узком бетонированном коридоре без окон, без ковров на полу. Коридор описывал правильный четырехугольник вокруг скопления лестниц и лифтовых механизмов, а по внешней стороне его шли белые двери. Слева от каждой двери была укреплена металлическая табличка с одним, двумя, тремя или четырьмя именами. Освещался коридор мертвенно-синим светом люминесцентных ламп, укрепленных на потолке.

Из табличек явствовало, что Иенсен попал в отдел массовых изданий. Он спустился на пять этажей, перед ним по-прежнему был отдел массовых изданий. Коридоры были почти безлюдны, но из-за дверей доносились голоса и стук пишущих машинок. На каждом этаже висели доски объявлений преимущественно с сообщениями и приказами по издательству. Еще там были часы с боем и контрольные часы для ночных вахтеров и специальное устройство на потолке, чтобы автоматически выключать свет.

На двадцать четвертом этаже помещались четыре

разные редакции. Иенсен узнал названия журналов и припомнил, что все они довольно просты по оформлению и содержат главным образом рассказы с цветными иллюстрациями.

Иенсен не спеша шел вниз. На каждом этаже он проходил четыре коридора: два — подлинней, два — покороче, словом, четыре стороны прямоугольника. И здесь были такие же белые двери и такие же голые стены. Если не считать разных имен на табличках, верхние семь этажей почти ничем не отличались друг от друга. Все было вычищено, вылизано, нигде ни малейших следов беспорядка, всюду безукоризненная чистота. Из-за дверей доносились голоса, телефонные звонки да изредка стук печатных машинок.

Иенсен остановился возле доски объявлений и прочел:
«Не позволяй себе пренебрежительных высказываний о самом издательстве или его журналах.

Запрещается прикреплять картины или предметы подобного рода на наружной стороне дверей.

Будь всегда и всюду представителем своего издательства! Даже в нерабочее время. Помни, что тебе как представителю подобает обдуманность, достоинство и чувство ответственности.

Пренебрегай необоснованной критикой. Помни, что «уход от действительности» и «живость» суть синонимы «поэзии» и «воображения».

Пи на мгновение не забывай, что ты являешься представителем своего издательства и своего журнала. Даже в нерабочее время!

Самые «правдивые» репортажи не всегда самые хорошие. Правда, это такой товар, который требует от современной журналистики крайне осторожного обращения. Не думай, что все любят ее так же, как ты.

Твоя задача — развлекать нашего читателя, пробуждать в нем полет мечты. В твою задачу не входит шокировать, будоражить, беспокоить, а также «открывать ему глаза» и воспитывать».

Висели на доске и другие инструкции примерно такого же вида и содержания. Большинство из них было подписано руководством издательства, дирекцией концерна и лишь некоторые — лично издателем. Иенсен прочел все, потом отправился вниз.

Чем ниже, тем, судя по всему, крупнее и элегантнее становились журналы. И обстановка менялась: здесь

вдоль коридоров лежали светлые ковры, стояли кресла из металлических трубок и хромированные пепельницы.

Чем ближе к восемнадцатому этажу, тем заметнее возрастила эта холодная элегантность, чтобы с восемнадцатого опять пойти на убыль. Дирекция занимала четыре этажа, ниже помещался административный отдел, отдел подписки, доставки и тому подобное. Тут снова пошли голые коридоры, громче стал перестук машинок, и все тот же холодный, белый, режущий свет.

Комиссар Иенсен проходил этаж за этажом. Когда он добрался до вестибюля, часы показывали уже без малого пять. Всю дорогу вниз он проделал пешком и потому испытывал некоторую усталость в икрах и коленях.

Минуты через две по лестнице спустился мужчина в сером костюме. Иенсен ни разу не видел его с тех пор, как час тому назад они расстались у лифта на десятом этаже. Человек вошел в будку охранника перед главным входом. Через стеклянную стену видно было, как он сказал что-то охраннику в форме. После этого человек вытер пот со лба и скользнул по вестибюлю беглым равнодушным взглядом.

Часы пробили пять, и точно через минуту открылись двери перегруженного автоматического лифта, который первым спустился вниз.

Людской поток не иссякал примерно с полчаса, потом начал редеть. Комиссар Иенсен стоял, заложив руки за спину, задумчиво покачиваясь на носках и глядя, как люди спешат к дверям. За дверями они рассыпались в разные стороны к своим автомобилям и исчезали в них, робкие и какие-то сутулые.

Без четверти шесть вестибюль совершенно опустел. Застыли лифты. Люди в белой форме заперли входные двери и тоже ушли. Только человек в сером костюме как присох за стеклянной перегородкой. На дворе почти стемнело.

Комиссар Иенсен вошел в алюминиевую кабину одного из лифтов и нажал верхнюю кнопку на распределительном щите. Молниеносно, словно подхваченный вихрем, долетел лифт до восемнадцатого этажа, створки дверей разъехались, потом сомкнулись, и лифт понесся дальше.

Коридоры, где помещались редакции массовых изданий, были освещены ярко, как днем, но звуки за дверями смолкли. Иенсен постоял тихо, прислушиваясь, и секунд

через тридцать услышал, как где-то поблизости, примерно этажом ниже, остановился другой лифт. Иенсен подождал, что будет дальше, но шагов не услышал. И вообще ничего не услышал, хотя тишина почему-то не казалась полной. Лишь приложив ухо к бетонированной стене, он уловил пульсирующий стук отдаленных машин. Через некоторое время стук этот стал более внятным, назойливым и неспособным, как смутное ощущение боли.

Иенсен выпрямился и проследовал по коридору. На всем пути его сопровождал стук. Там, где лестницы обрывались, были две стальные двери, крытые белым лаком. Одна — побольше, другая — поменьше, и обе без ручек. Он достал из кармана ключ с диковинной бородкой, попробовал сперва открыть первую, ту, что поменьше, но ключ не подошел. Зато вторая открылась сразу, и Иенсен увидел перед собой узкую крутую лестницу, тоже бетонную. Лестница скруто освещалась двумя небольшими матовыми плафонами. Иенсен поднялся по этой лестнице, открыл еще какую-то дверь и очутился на крыше.

Уже совсем стемнело, задувал холодный и неприветливый ветер. По краю плоской крыши шла кирпичная балюстрада высотой около метра. Глубоко внизу лежал город, испещренный миллионами холодных белых огньков. В центре крыши стоял десяток невысоких дымовых труб. Из двух валил дым, и, несмотря на ветер, воздух здесь был едкий, тяжелый и удушиливый.

Когда он открыл верхнюю, чердачную дверь, ему показалось, будто кто-то в это же мгновение закрыл нижнюю, но, когда он вернулся на тридцатый этаж, там было пустынно, безлюдно и тихо. Еще раз он попытался отпереть ту дверь, что поменьше, но дверь упрямо не поддавалась. Скорей всего это была дверь в какое-нибудь машинное отделение, какую-нибудь диспетчерскую лифтов или электрораспределитель.

Он еще раз обошел замкнутый четырехугольник коридоров, по профессиональному привычке неслышно и осторожно ступая на своих резиновых подметках. В дальнем коротком коридоре остановился, напряг слух, и тут ему почудились шаги где-то поблизости. Впрочем, звук шагов тотчас смолк и на поверхку мог оказаться обыкновенным эхом.

Иенсен опять достал из кармана ключ, отпер ближай-

шую дверь и оказался в помещении какой-то редакции. Комната по своим размерам незначительно превосходила арестантские камеры в подвале шестнадцатого участка, стены и потолок в ней были голые, выбеленные, а пол — светло-серый. Меблировка состояла из трех белых же письменных столов, занимавших чуть ли не всю комнату, да еще в оконной нише примостился хромированный аппарат внутреннего телефона. На столах лежали бумаги, рисунки, линейки, рейсфедеры — все в строгом порядке.

Комиссар Иенсен остановился перед одним из столов, разглядывая цветную иллюстрацию, разделенную на четыре части и явно входящую в какую-то серию. Рядом лежал отпечатанный текст с надписью: «Оригинальная рукопись из авторского отдела».

На первом рисунке была изображена сцена в ресторане. Белокурая, чрезвычайно пышногрудая дама в блестящем платье с болыпим декольте сидела за столом. Против нее сидел мужчина в синей полумаске, облегающем трико и с широким кожаным поясом. На груди у него был вышит череп. На заднем плане виднелись эстрадный оркестр, люди в смокингах и балльных туалетах, а на столе стояли бутылка шампанского и два фужера. Следующий рисунок изображал все того же мужчину в необычном костюме. Вокруг головы его свертился нимб, правую руку он сунул в какое-то странное сооружение, напоминающее примус. Третий рисунок изображал все тот же ресторан, но теперь мужчина в трико как бы висел над столом, а белокурая дама безучастно на него взирала. И наконец, последняя иллюстрация представляла все того же мужчину; он по-прежнему парил в воздухе, а на заднем плане сверкали звезды. Из перстня, украпавшего указательный палец его правой руки, вырастала гигантская ладонь, а на ладони этой лежал апельсин.

Иллюстрации были частью закрашены белой кроющей краской где — по верхнему краю, где — в виде овалов, приkleенных к ослепительным зубам героев. И поверх этой краски шли краткие разборчивые тексты, наведенные тушью, но тоже еще не законченные:

«В тот же вечер Синий леопард и богатая Beатриса встретились в самом роскошном ресторане Нью-Йорка.

— Мне кажется... у меня такое странное чувство... мне кажется, что я... что я... тебя люблю.

— Что? Мне показалось, будто месяц покачнулся.

Синий леопард тайком вышел из зала и надел свой волшебный перстень.

— Прости, я должен на минуту покинуть тебя. Помоему, с месяцем что-то неладно.

И еще раз в течение вечера покинул Синий леопард любимую женщину, покинул, чтобы спасти вселенную от верной гибели. Это проклятые кристаллы заставили...

Иенсен узнал эти фигуры. Точно такие он видел вчера в одном из просмотренных журналов.

Перед самым столом на стене висело приколотое кнопками и написанное по трафарету объявление.

Иенсен прочел:

«За истекший квартал наши тиражи возросли на двадцать шесть процентов. Журнал удовлетворяет жизненные потребности. Перед ним стоят большие задачи. Предоставление укрепление взято. Теперь мы боремся за окончательную победу».

Комиссар Иенсен бросил последний взгляд на иллюстрации, погасил свет и захлопнул за собой дверь.

Спустившись восемью этажами ниже, Иенсен оказался на территории одного из больших журналов. Теперь он совершенно отчетливо и через равные промежутки времени слышал шаги того, кто шел за ним следом. Значит, его подозрение оказалось справедливым, и Иенсен мог больше не думать об этом.

Он по очереди открыл несколько дверей и всякий раз оказывался в таких же бетонированных камерах, какие уже видел на тридцатом этаже. Здесь на столах лежали картины, изображавшие членов королевских фамилий, кумиров публики, детей, собак и кошек, а кроме того, статьи — либо не до конца переведенные, либо недописанные. По некоторым из них кто-то прошелся красным карандашом.

Он прочел несколько статей и заметил, что вычеркивались, как правило, замечания умеренно критического толка и вообще оригинальные рассуждения. Посвящены они были популярным зарубежным артистам.

Кабинет главного редактора был чуть просторнее. И на полу здесь лежал бежевый ковер, и мебель из стальных трубок была обтянута каким-то белым пластиком. А на столе, помимо рупора, стояли два белых телефона, лежала светло-серая пластинка — чтобы удобнее было

писать, и чей-то снимок в стальной рамке. На снимке был изображен мужчина средних лет с озабоченным видом, собачьей преданностью в глазах и холеными усами — должно быть, главный редактор собственной персоной.

Иенсен сел за письменный стол. Когда он откашлялся, по всей комнате прошло гулкое эхо. Выглядела она холодно, неприветливо и почему-то казалась больше, чем есть на самом деле. Ни книг, ни журналов в ней не было, только на белой стене перед столом висела большая фотография в рамке — Дом с фасада в вечернем освещении.

Иенсен выдвинул один за другим несколько ящиков, но ничего интересного не обнаружил. В одном ящике он увидел коричневый, заклеенный по второму разу конверт с надписью «Лично». В конверте лежали цветные фотографии и полоска печатного текста:

«Специальный выпуск международной фотослужбы издательства по льготным ценам для руководящих работников».

На фотографиях были все сплошь голые женщины с большими торчащими грудями. Иенсен тщательно заклеил конверт и положил его на прежнее место. Официального закона, который запрещал бы распространение такого рода фотографий, в стране не существовало, но после эпохи бурного расцвета, имевшей место несколько лет назад, порнографическая продукция почти исчезла с внутреннего рынка. Некоторые круги связывали понижение спроса с катастрофическим падением рождаемости.

Иенсен приподнял светло-серую пластинку и нашел там закрытый циркуляр директора.

Циркуляр гласил:

«Репортаж о состоявшемся в королевском дворце бракосочетании принцессы с руководителем центрального объединения профсоюзов никуда не годится. Многие весьма значительные и близкие издательству лица названы мельком. Упоминание о том, что брат невесты был в молодости рьяным республиканцем, производит отталкивающее впечатление, равно как и «юмористическое» отступление на тему, что руководитель центрального объединения профсоюзов мог бы стать королем. Кроме того, я, как профессионал, возражаю против стилистической сухости в подаче материала. Совершенно

незачем было давать корреспонденцию в восьмом номере. Утверждение, что кривая самоубийств в нашей стране пошла вниз, может привести к тревожным выводам, будто раньше число самоубийств в едином обществе было высоким. Есть ли необходимость после всего вышеизложенного напоминать, что тираж журнала до сих пор не растет в соответствии с предписаниями руководства?

Из примечаний на полях можно было заключить, что копии циркуляра разосланы нескольким руководящим деятелям.

Когда Иенсен снова вышел в коридор, ему почудился за одной из закрытых дверей негромкий хрип.

Он достал ключ, открыл дверь и вошел. В комнате было темно, по слабый отблеск огней фасада чуть заметно освещал фигуру человека, поникшего в кресле у письменного стола. Иенсен притворил за собой дверь и повернулся выключатель. Перед ним оказалась самая обыкновенная комната с хромированным окном и бетонированными стенами. В комнате стоял тяжелый удушливый запах спирта, табака и рвоты.

Мужчине, сидевшему у стола, должно быть, перевалило за пятьдесят. Он был довольно высокого роста, но уже заметно начал полнеть. Костюм его состоял из пиджака, белой рубашки, галстука, ботинок и носков. Брюки лежали на столе — он явно хотел свести с них какие-то пятна, а подштанники сохли на батарее. Сидел он, упершись подбородком в грудь, и лицо у него пылало. На столе стояли пластмассовый стаканчик и почти пустая бутылка, а на полу между его ногами — алюминиевая корзина для бумаг.

Когда внезапно зажегся свет, мужчина заслонился рукой и из-под ладони посмотрел на посетителя голубыми глазами с множеством красных прожилок.

— Журналистика умерла, — сказал он. — Я умер. Все умерло, — и, не глядя, нашарил бутылку на столе. — Вот я сижу... в этой чертовой кухне. Безграмотные невежды командуют мной и шпняют меня. Меня! Из года в год!..

Он схватил бутылку и выпил остаток в стакан.

— Величайшая кухня мира. Триста пятьдесят тысяч порций в неделю. Суп «брехня», безвкусница гарантировается. Из года в год...

Все его тело сотрясалось. Ему пришлось стиснуть стаканчик обеими руками, чтобы поднести его к губам.

— Но теперь баста! — Он достал из ящика письмо и помахал им в воздухе.

— Можете прочесть. Пронаблюдать финал.

Комиссар Иенсен взял у него письмо. Оно было от главного редактора:

«Твой репортаж о бракосочетании во дворце некомпетентно составлен, плохо написан и полон ошибок. А помещение корреспонденции о самоубийствах в номере восьмом — чудовищная накладка. Я вынужден подать на тебя рапорт».

— Разумеется, он сам все это читал, прежде чем подписать в набор. И корреспонденцию тоже. Я его, конечно, не осуждаю. Бедняга дрожит за свою шкуру.

Тут он взглянул на Иенсена с неожиданным любопытством.

— А вы кто такой? Новый директор, да? Ну, ничего, сработаетесь. У нас тут батраки прямо от сохи сидят в главных редакторах. И разумеется, вышедшие из возраста потаскхи, которых кто-то надумал сбить с рук и пристроил к нам.

Иенсен достал свое синее удостоверение. Но мужчина даже и не глянул на него. Он сказал:

— Тридцать лет я был журналистом. Я наблюдал этот духовный распад своими глазами. Это удушение интеллигенции. Эту самую продолжительную казнь из всех, какие знал мир. Раньше я чего-то хотел. Это было ошибкой. Я и сейчас хочу, но только самую малость. Это тоже ошибка. Я умею писать. Это ошибка. Потому они и ненавидят меня. Но до поры до времени им нужны такие, как я. Покуда они не изобретут машину, которая могла бы сочинять павоз. Они ненавидят меня потому, что я не безотказная машина с кнопками и рычагами, которая могла бы писать всю эту грязную брехню по шесть страниц в час, без ошибок, вычеркиваний и собственных мыслей. А я пьян. Гип-тип, ура!

Глаза у него выкатились, а зрачки стали совсем крошечные.

Он смолк, дыша прерывисто и неровно. Потом простирая вперед правую руку и воскликнул:

Почтеннейшая публика, итак,
Героя, паконец, должны казнить,
Так уж устроен божий мир. Дурак,
Кто хочет даром что-то получить.

— Вы знаете, кто это написал?

— Нет, — ответил комиссар Иенсен.

Он повернул выключатель и вышел из комнаты. На десятом этаже он пересел в патернoster и спустился до бумажного склада.

Здесь уже зажгли ночное освещение — редкие синие плафоны, распространявшие слабый и неверный свет.

Иенсен постоял с минуту совершенно неподвижно, чувствуя, как давит его здание, всей своей громадой навалившееся на его плечи. Давно уже смолкли ротационные машины и линотипы, и от наступившей тишины, казалось, только возросла непомерная тяжесть Дома. Теперь Иенсен не слышал даже шагов того, кто все время крахся за ним.

Иенсен поднялся в вестибюль. Там никого не было, и он задергался. Ровно через три минуты из боковой двери вынырнул человек в сером костюме и проследовал в будку вахтера.

— У вас там сидит один пьяный в комнате за номером две тысячи сорок три, — сказал комиссар Иенсен.

— Этим человеком уже занялись, — сказал бесцветным голосом человек в сером костюме.

Иенсен открыл дверь своим ключом и вдохнул холодный ночной воздух.

11

Когда Иенсен вернулся в шестнадцатый участок, было уже без шести десяти. В дежурной комнате ничего интересного не наблюдалось, и он спустился вниз, куда как раз привели двух молодых женщин. Он подождал, покуда обе они сдадут удостоверение личности, обувь, верхнее платье и сумочки на контрольный стол. Одна из них ругалась и даже плонула в лицо регистратору. Доставивший ее полицейский зевнул, заломил ей руки за спину и бросил усталый взгляд на свои часы. Другая стояла тихо, опустив голову и бессильно уронив руки. Она все время плакала и бормотала сквозь слезы всем давно известные слова: «Нет, нет, нет» и «Я не хочу!»

Потом задержанных увели два полисмена в резиновых сапогах и светло-зеленых плащах, и тотчас из комнаты, где производилось медицинское освидетельствование, послышались плач и стоны. Женский персонал, как

и всегда, был выносливее и вообще работоспособнее, чем мужской.

Иенсен вернулся к контрольному столу и прочитал список всех пьяниц, доставленных за последние часы. В издательстве никого не задерживали, и донесений по этому поводу оттуда не поступало.

По дороге домой Иенсен так и не стал ничего есть. Особого голода он не испытывал, да и под ложечкой больше не сосало. Но хотя в машине было тепло и уютно, его все время трясло, как от холода, и руки с трудом держались за баранку.

Он быстро раздевся и лег. Пролежал час без сна, потом встал в темноте и принес бутылку, дрожь унялась, но мерз он все время, даже во сне.

Кончился третий день. Осталось четыре.

12

Утро было холодное и ясное. За ночь газоны между домами чуть припорошило снегом, и на асфальте шоссе поблескивала наледь.

Иенсен проснулся рано и потому, несмотря на оживленное движение и скользкие дороги, вовремя добрался до своего участка. У него пересохло горло, и, хотя он перед уходом прополоскал горло и почистил зубы, во рту остался неприятный, затхлый привкус. Он велел привести из буфета бутылку минеральной воды и углубился в изучение лежащих на столе бумаг. Донесение из криминалистической лаборатории еще не поступало, а остальные не представляли интереса.

Полицейский, откомандированный на почтamt, явно зашел в тупик. Иенсен досконально изучил его краткое донесение и, помассировав виски подушечками пальцев, набрал номер Главпочтамта. Трубку сняли не сразу.

— С вами говорит Иенсен.

— Слушаю, комиссар.

— Что вы сейчас делаете?

— Опрашиваю сортировщиков. На это уйдет много времени.

— А если более точно?

— Еще дня два. Или три.

— Вы думаете, это что-нибудь даст?

— Едва ли. Попадается немало писем, на которых адреса наклеены из газетных букв. Через мои руки их уже прошло около сотни. И большинство — даже не анонимки. Просто люди так делают.

— Почему?

— Я думаю, шутки ради. Единственный, кто приносит письмо, — разносчик, доставлявший его.

— Копия письма у вас есть?

— Нет, комиссар. Зато у меня есть копия конверта и адреса.

— Знаю. Не сообщайте ненужных подробностей.

— Слушаюсь.

Прекратите опрос, поезжайте в криминалистическую лабораторию, закажите себе фотокопию текста и уточните, из какой или из каких газет вырезаны буквы. Ясно?

— Ясно.

Иенсен положил трубку. Под окном шумели сани-тары с ведрами и лопатами.

Иенсен хрустнул суставами и приготовился ждать.

Когда он прождал три часа двадцать минут, зазвонил телефон.

— Мы определили сортность бумаги, — сказал лаборант. — Это бумага для документов, идет под обозначением ЦБ-3. Изготавливается бумажной фабрикой, принадлежащей непосредственно концерну. — Молчание. Потом лаборант добавил: — Ну, в этом ничего удивительного нет. Практически они прибрали к рукам всю бумажную промышленность.

— Ближе к делу, — напомнил Иенсен.

— Фабрика лежит к северу от города, километрах в сорока. Мы откомандировали туда человека. Пять минут назад я с ним разговаривал.

— Ну и?..

— Они выпускали этот сорт примерно в течение года. Главным образом на экспорт, но небольшие партии поступали в так называемую внутреннюю типографию, которая тоже принадлежит концерну. Изготавливался этот сорт в двух форматах. Но насколько я могу судить, в данном случае мы имеем дело с большим форматом. К этому я ничего не могу добавить, остальное в ваших руках. Я переслал к вам через рассыльного все имена и адреса. Не позже чем через десять минут они будут у вас.

Иенсен молчал.

— Вот как будто и все. — Лаборант замялся и после короткой паузы спросил нерешительно: — Комиссар, скажите, пожалуйста...

— Что?

— Вот вчера... Рапорт за служебное упущение... Он не отменен?

— С чего вдруг? — сказал комиссар.

Ровно через десять минут ему доставили письменное донесение.

Дочитав его до конца, Иенсен встал, подошел к стене, посмотрел на большую карту, потом надел кашу и спустился к машине.

13

В кабинете были стеклянные стены, и, ожидая, пока вернется заведующий типографией, Иенсен мог видеть, что творится за пределами кабинета, по ту сторону, где люди в белых и серых халатах сновали вдоль длинных столов. Откуда-то издали доносились стук печатных машин.

На стальных крючках вдоль одной стены висели еще влажные гравюры. В них крупным якирным шрифтом рекламировались журналы, выпускаемые издательством. Сообщалось, в частности, что на этой неделе один из журналов выйдет с панорамной вкладкой, где будет изображена шестнадцатилетняя артистка телевидения в натуральную величину. Причем вкладка многокрасочная и отличается редкостной красотой. Реклама советовала населению не прозевать этот номер.

— Мы делаем для издательства часть рекламы, — сказал заведующий. — Вот это анонсы для газет. Красиво, но дорого. На одну такую рекламу они тратят в пять раз больше, чем мы с вами получаем за год.

На это Иенсен ничего не сказал.

— Впрочем, для тех, кому принадлежит все — и журналы, и газеты, и типографии, и бумага, — издержки, разумеется, особой роли не играют. Но красиво, красиво, ничего не скажешь, — добавил он и, отвернувшись, сунул в рот мятную лепешку. — Вы совершенно правы. На такой бумаге мы печатали два текста. Примерно год назад. И с богатейшим оформлением. Очень

небольшим тиражом, примерно по нескольку тысяч экземпляров того и другого. Во-первых, почтовую бумагу лично для шефа, во-вторых, какой-то диплом.

— Для нужд издательства?

— А как же! У меня даже остались пробные оттиски. — Он начал копаться в бумагах. — Вот, пожалуйста.

Почтовая бумага для шефа была очень небольшого формата и очень элегантного вида. Серая монограмма в верхнем правом углу была явно призвана свидетельствовать о непримечательном и строгом вкусе владельца. Комиссар с первого же взгляда понял, что бумага по формату значительно меньше, чем анонимное письмо. Однако на всякий случай он измерил ее и сравнил с данными криминалистической лаборатории. Цифры не совпадали.

Второй экземпляр представлял собой четырехугольный кусок бумаги, сложенный вдвое. Первый лист был чистый, на втором — золотом отпечатан текст. Большие готические буквы.

Текст гласил:

«За многолетнее плодотворное сотрудничество на службе культуры и взаимопонимания выражаем глубочайшую признательность».

— Красиво, правда?

— А для какой цели это печаталось?

— Понятия не имею. Для какого-то диплома. Наверно, кто-нибудь под этим расписывается. А потом его кому-нибудь выдают. Да, наверное, так.

Комиссар Иенсен достал линейку и измерил первый лист. Потом достал из кармана рапортную и сверил цифры. Они совпадали.

— У вас на складе осталась такая бумага?

— Нет, это особый сорт. Очень дорогой. А если что и осталось, когда мы печатали, все уже давно списано.

— Я возьму с собой этот экземпляр.

— Но он у нас единственный, для архива.

— Понятно, — сказал комиссар.

Заведующему было что-то около шестидесяти. Морщинистое лицо и унылый взгляд. Пахло от него спиртом, типографской краской и мукатурой. Он ничего больше не сказал, даже не попрощался.

Иенсен свернулся диплом и ушел.

Кабинет директора по кадрам помещался на девятнадцатом этаже. За письменным столом сидел грузный, коренастый мужчина с жабьим лицом. Улыбка у него была не такая отработанная, как у директора издательства. Какая-то она была кривая и производила скорее отталкивающее впечатление. Кадровик сказал:

— Смертные случаи? Прыжочки, конечно, бывали.

— Прыжочки?

— Ну да, самоубийства. А где их нет?

Спорить было трудно: за последний год два пешехода были убиты в центре города падающими телами. Еще несколько получили серьезные увечья. Так выглядела теневая сторона высотного строительства.

— А кроме самоубийств?

— Несколько человек умерло за последние годы, одни — своей смертью, другие — от несчастных случаев. Я затребую выписку из секретариата.

— Благодарю.

Директор по кадрам старался как мог, и ему удалось, наконец, усовершенствовать свою улыбку. Тогда он спросил:

— Я могу служить еще чем-нибудь?

— Да, — ответил Иенсен и развернул диплом. — Что это такое?

Директор слегка оторопел.

— Поздравительный адрес, или, точнее, благодарность, ее выдавали тем, кто завершил свою деятельность в нашем издательстве. Обходится она недешево, но мы хотим, чтобы у наших старых, преданных сотрудников осталось приятное воспоминание. А уж тут с расходами не считаются. Так рассуждает руководство издательства, и не только в данном случае, по и во многих других.

— А такой лист вручают всем, кто от вас уходит?

Кадровик покачал головой.

— Ну что вы! Конечно, нет. Это было бы слишком уж накладно. Такие почести мы оказываем только руководящим деятелям или самым доверенным сотрудникам. Те, кто награждается таким знаком отличия, во все времена делали свое дело и выступали достойными представителями нашего издательства.

— Сколько таких штук вы раздали?

— Очень немнога. Этот образец из самых последних. Мы применяем его с полгода, не больше.

— Где хранятся дипломы?

— У моего секретаря.

— Доступ к ним свободный?

Директор по кадрам нажал какую-то кнопку внутреннего телефона.

В комнату вошла молодая женщина.

— Имеют ли посторонние лица свободный доступ к формуляру ПР-8?

Женщина даже испугалась.

— Конечно, нет. Они хранятся в большом сейфе, а я запираю его всякий раз, когда выхожу из комнаты.

Директор отпустил секретаршу движением руки и сказал:

— На эту девушку вполне можно положиться. Она очень пунктуальна. Иначе мы не стали бы ее держать.

— Мне нужен список лиц, получивших дипломы такого образца.

— Пожалуйста. Это нетрудно устроить.

Пока составляли список, оба сидели молча. Под конец Иенсен спросил:

— Каковы ваши основные служебные обязанности?

— Нанимать редакционный и административный персонал. Следить за тем, чтобы для блага персонала делалось все возможное. Затем...

Он сделал небольшую паузу и улыбнулся во весь свой жабий рот. Улыбка была злая, холодная. Словом, вполне точно выражала его чувства.

— Затем избавлять издательство от тех, кто злоупотребляет нашим доверием, и принимать меры против тех, кто сам себя не бережет.

Еще через несколько секунд:

— Конечно, к этим мерам мы прибегаем только в самых крайних случаях и в самой гуманной форме; впрочем, это характерно для всего стиля нашей работы.

В комнате снова воцарилась тишина. Иенсен сидел неподвижно, прислушиваясь к гулкой пульсации дома.

Вошла секретарша, принесла список в двух экземплярах. В списке было двенадцать имен. Директор пробежал список.

— Двое из перечисленных лиц умерли после ухода

на пенсию. А один уехал за границу. Это я точно знаю.

Он достал из нагрудного кармана авторучку и поставил четкие, аккуратные галочки перед каждым из трех имен. После чего передал список посетителю.

Иенсен лишь бегло взглянул на него. Против каждого имени стояли год рождения и еще кое-какие данные, например «ушел на пенсию досрочно» или «ушел по собственному желанию». Потом Иенсен бережно свернул список и сунул его в карман.

Перед тем как Иенсен вышел из кабинета, они обменялись еще несколькими фразами:

— Могу ли я спросить, чем вызван такой повышенный интерес именно к этому вопросу?

— Служебным поручением, обсуждать которое я не уполномочен.

— Может быть, какой-нибудь из наших дипломов попал в руки недостойного?

— Не думаю.

В кабине лифта вместе с Иенсеном спускались еще два человека. Оба они были очень молоды, оба курили сигареты и беседовали о погоде. Жаргон у них был какой-то дерганый и усеченный и напоминал скорее шифр, нежели человеческий разговор.

Человеку непосвященному трудно было их понять.

Когда лифт сделал остановку на восемнадцатом этаже, в кабину вошел шеф. Он рассеянно кивнул остальным и повернулся лицом к стене. Молодые журналисты поспешно загасили сигареты и сдернули с головы кепочки.

— Ты только подумай, весна — и снег, — сказал один, перейдя на шепот.

— Мне от души жаль бедные цветочки, — сказал шеф своим красивым, низким голосом.

Но при этом он не поднял глаз и не взглянул на говорившего. Он стоял все в той же позе, лицом к алюминиевой стене кабинки. Других разговоров по дороге не было.

Прямо из вестибюля Иенсен позвонил в лабораторию.

— Ну как?

— Вы были правы. Мы обнаружили на бумаге следы позолоты. В клее, под буквами. Удивительно, как мы этого сразу не заметили.

— Не нахожу ничего удивительного.

— Выясните адрес этого человека. Срочно, — сказал комиссар Иенсен.

Начальник патруля щелкнул каблуками и ушел. А Иенсен начал изучать список, лежащий перед ним на столе. Он выдвинул ящик стола, достал оттуда линейку и аккуратно вычеркнул три имени. Потом пронумеровал оставшиеся — от первого до девятого, бросил взгляд на часы и четко написал сверху: «Четверг, 16 часов 25 минут». Потом достал из ящика неначатый блокнот, открыл его и написал на первой странице: «№ 1. Бывший заведующий отделом подписки, 48 лет. Женат. Досрочно ушел на пенсию по болезни».

Ровно через две минуты явился начальник патруля и принес адрес. Иенсен переписал адрес, закрыл блокнот, сунул его во внутренний карман и поднялся.

— Добудьте сведения об остальных. К моему возвращению они должны быть готовы.

Он миновал центр города, заполненный учреждениями и магазинами, проехал мимо площади Профсоюзов и дальше, на запад, увлекаемый сплошным потоком автомобилей. Автомобили мчались по широкому шоссе, которое вело через промышленный район и жилые массивы, где выстроились однообразными колоннами тысячи многоэтажных домов.

В ясном свете закатного солнца четко рисовалась иллюзия отходящих газов. Толщина она была метров в пятнадцать и нависала над городом словно ядовитый туман. Несколько часов назад он выпил две чашки чаю и съел четыре сухарика. Теперь заняло в правом подреберье. Боль была тяжелая, нудная, словно бур, работающий на малых оборотах, впивался в мягкие ткани. Но боль болью, а есть хотелось по-прежнему.

Еще через несколько миль дома пошли старые, обветшальные. Они горчали, словно придорожные столбы, из буйной, неухоженной зелени, лепнина местами отвалилась, обнажая неровные, обглоданные непогодой бетонные панели, во многих окнах недоставало стекол.

С тех пор как десять лет тому назад правительство сумело разрешить жилищный кризис благодаря поточному строительству многоэтажных домов с одинаковыми стандартными квартирами, старые районы быстро обез-

людили. Теперь в пригородах была заселена от силы треть всей жилой площади. Остальные квартиры пустовали и приходили в негодность, как приходили в негодность сами дома. Теперь, когда они стали нерентабельными, никто не заботился об их ремонте и содержании. Вдобавок дома были построены из рук воин и потому ветшали быстрее, чем можно было ожидать. Многие фирмы обанкротились и закрылись, другие были попросту заброшены своими владельцами, а с тех пор, как статистика установила, что у каждого человека должна быть собственная машина, никакие виды общественного транспорта не связывали этот район с центром. В непролазном кустарнике вокруг домов валялись части машин и целлофановые пакеты.

Министерство коммунальных дел давно решило, что заброшенные дома, в конце концов, рухнут сами собой, и окраины автоматически и без особых затрат превращались в свалку.

Иенсен свернул с шоссе, переехал через мост и очутился на сильно вытянутом в длину, очень зеленом острове, где были открытые бассейны, тенисные корты, дорожки для верховой езды и большие виллы вдоль берега. Через несколько минут он сбавил скорость, повернулся налево и, милював высокие чугунные ворота, остановился у подъезда.

Вилла была большая и роскошная, стеклянный фасад ослепительной чистоты усиливал впечатление вызывающей роскоши. Возле входа стояли три машины, одна из них — большая серебристо-серая — была какой-то заграничной марки. Последняя модель года.

Иенсен поднялся на крыльце, и, когда он прошел мимо фотоэлемента, из дома донесся мелодичный звон. Молодая женщина в черном платье и накрахмаленной кружевной наколке распахнула перед ним дверь, попросила его подождать и скрылась в глубине дома. Убранство вестибюля и — насколько он мог судить — всего дома было ультрасовременным и безличным. Та же холодная элегантность, что и в директорских кабинетах издательства.

В вестибюле, кроме Иенсена, находился еще юнец лет девятнадцати. Вытянув ноги, он сидел в кресле из стальных трубочек и тупо смотрел перед собой.

Тот, ради кого Иенсен приехал сюда, оказался загорелым и синеглазым мужчиной, чуть выше средней упира-

таницы, с бычьим затылком и надменным выражением лица. Он был одет в спортивные брюки, сандалии и короткую элегантную куртку из какой-то легкой ткани.

— В чем дело? — хмуро начал он. — У меня решительно нет времени.

Иенсен шагнул ему навстречу и предъявил свой значок.

— Меня зовут Иенсен. Я комиссар шестнадцатого участка. Веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места работы.

Поза и выражение лица хозяина мгновенно изменились. Он растерянно переступил с ноги на ногу и съежился. Глаза тревожно забегали.

— Ради бога, — промямлил он, — только не здесь... не при... пойдемте в мой... или в библиотеку... да, в библиотеку лучше всего. — Он сделал какой-то неопределенный жест, словно хотел отвлечь внимание Иенсена, и сказал: — Это мой сын.

Молодой человек, сидевший в кресле, бросил на них недовольный взгляд.

— Ты не хочешь прокатиться, испробовать свою новую машину? — спросил мужчина в куртке.

— Это еще зачем?

— Ну, барышни и вообще...

— Лажа, — сказал юнец, и взгляд его снова подернулся плесккой.

— Не понимаю я нынешнюю молодежь, не понимаю, — вымученно улыбнулся человек в куртке.

Иенсен и тут промолчал, и улыбка тотчас угасла.

В библиотеке — большой светлой комнате — стояло несколько шкафов и несколько низких кресел, а книг не было совсем. На столе лежали журналы.

Хозяин плотно прикрыл дверь и бросил умоляющий взгляд на посетителя. Лицо последнего сохраняло невозмутимую серьезность. Затем, преодолевая первную дрожь, хозяин подошел к одному из шкафов, достал стакан, из каких пьют сельтерскую, почти доверху налил его водкой и залпом выпил. Налил еще раз, поглядел на Иенсена и промямлил:

— Теперь-то уже все равно... А вы сами случайно не желаете... хотя, что я спрашиваю... извините... Вы меня поймете — первы, — и с этими словами он рухнул в одно из кресел.

Иенсен, по-прежнему стоя, достал из кармана блокнот. Лицо хозяина заблестело от пота. Он непрерывно утикал его сложенным вчетверо платком.

— Господи, господи! — простонал он. — Я это предвидел. Я это предвидел с самого начала. Я знал, что эти гады воткнут мне нож в спину, как только кончатся выборы. Но я буду сопротивляться, — вдруг взвился он. — Конечно, они отберут у меня все, но я кой-чего знаю, много кой-чего, о чем они даже не...»

Иенсен не сводил с него глаз.

— Много есть всякой всячины, — продолжал хозяин, — есть и цифры, которые им нелегко будет объяснить. Вы знаете, какой налог они платят? А какие жалованье получают их консультанты по налогам, вы знаете? А где служат эти юристы на самом деле, вы знаете? — И, возбужденно запустив пальцы в свою подредевшую шевелюру, уныло добавил: — Вы меня, конечно, извините... Я не хотел... Это только ухудшит мое положение... Вдруг в его голосе прозвучали властные нотки: — А с какой стати вы допрашиваете меня в моем собственном доме? Небось и так все знаете. Чего вы стоите? Почему не сядете?

Иенсен все стоял. И по-прежнему не произносил ни слова.

Хозяин осушил второй стакан и со стуком поставил его на стол. Руки у него дрожали.

— Ну, действуйте, действуйте, — сказал он, покорившись судьбе. — Значит, ничего не поделаешь. Значит, придется все это оставить.

Он еще раз подошел к шкафу и возобновил прежние манипуляции со стаканом.

Иенсен раскрыл блокнот и достал авторучку.

— Когда вы ушли оттуда? — спросил он.

— Осенью. Десятого сентября. Этот день я никогда не забуду. И время, которое ему предшествовало, тоже нет. Это было страшное время, не лучше, чем нынешний день.

— Вы досрочно ушли на пенсию?

— Попробуй не уйди. Они меня заставили. От хорошего отношения, ни от чего другого. У меня даже есть медицинское заключение. Они все предусмотрели. Порок сердца, сказали они. «Порок сердца» — это звучит. Хотя на самом деле я был здоров как бык.

— А размер пенсии?

— Месячное жалованье. Я до сих пор такую получаю. Господи, ведь для них это гроши по сравнению с теми суммами, которые они выплачивают налоговым инспекторам. Кстати, они в любой момент могут прекратить выплату. Я ведь подписал бумагу.

— Какую бумагу?

— Они называют это объяснительной запиской. Ну, признание своего рода. Вы, наверно, его читали. Отказ от этого дома, где мы находимся, и от всех денежных средств. Они заверили меня, что это чистейшая проформа, что они в жизни не воспользуются моей запиской без крайней необходимости. Я, конечно, никогда не строил иллюзий. Я только не думал, что крайняя необходимость наступит так скоро. Я долго уговаривал себя, что они не посмеют привлечь меня к ответственности, не решатся на открытое судебное разбирательство, не пойдут на скандал. Я сижу у них на крючке, а это добро, — он обвел рукой вокруг себя, — вполне вознаградит их за все затраты, как ни велика покажется сумма на первый взгляд.

— А точнее?

— Около миллиона. Скажите, а я непременно должен это вспоминать? Устно... и здесь... у меня?

— Все наличными?

— Нет, примерно половину. Да и то в рассрочку на много лет. А вторую половину...

— Да, да?

— Вторую выплатили стройматериалами, транспортом, рабочей силой, бумагой, конвертами... Этот паразит все присчитал, бывшь об заклад, что он присчитал даже скрепки, клей и тесьму для папок.

— Кто?

— Мерзавец, который оформлял эту историю. Их любимчик, их цепной пес, господин директор издательства. Их самих я и в глаза не видел. Они не желают пачкать руки, сказал директор. И никто ничего не узнал. Это напесло бы концерну невосполнимый ущерб, сказал директор. Дело было как раз перед выборами. Я догадывался, что им важно только переждать, пока пройдут выборы.

Говоря это, он все тер и тер лицо носовым платком. Платок уже весь посерел и вымок.

— А что вы хотите со мной сделать?

— Когда вы перестали там работать, вам не был вручен диплом, своего рода поздравительный адрес?

Хозяин вздрогнул.

— Был, — явно сказал он.

— Будьте любезны, покажите мне его.

— Сейчас?

— Вот именно.

Хозяин встал, пошатываясь, привел в порядок выражение лица и вышел из комнаты. Через несколько минут он вернулся с дипломом в руках. Диплом был вставлен под стекло в золотую рамку. На нем стояли подписи шефа и издателя.

— Должен быть еще один лист, первый, где ничего не написано. Куда вы его дели?

Хозяин растерянно взорвался на Иенсена.

— Понятия не имею. Наверно, выбросил. Помнится, я просто отрезал его, когда заказывал рамку.

— А поточнее не можете сказать?

— Не могу, по скорей всего я его действительно выбросил. Да, да, теперь припоминаю. Отрезал. Отрезал и выбросил.

— Ножницами?

— А чем же еще? Конечно, ножницами.

Он глянул на диплом и взмахнул рукой.

— Какой обман! — простонал он. — Какое гнусное лицемерие, какой подлый обман!

— Да, — согласился Иенсен.

Он захлопнул блокнот, сунул его в карман и встал.

— До свиданья.

Хозяин вытаращил глаза.

— А когда вы... вернетесь?

— Не знаю, — сказал Иенсен.

Юнец за это время не переменил позы, но сейчас он изучал в журнале гороскопы и даже проявлял при этом некоторые признаки интереса.

Когда Иенсен выехал в обратный путь, на дворе уже была ночь и среди заброшенных поселков торчали дома, словно шеренги черных призраков среди дремучего леса.

Иенсен не стал даже заезжать на работу, а прямиком отправился домой. Он только завернулся по дороге в кафе и, хотя понимал, к чему это приведет, съел три бутерброда и выпил две чашки черного кофе.

Кончился четвертый день.

Телефон зазвонил раньше, чем Иенсен успел одеться. Будильник показывал пять минут седьмого, и Иенсен стоял и брился перед зеркалом в ванной. Ночью его отчаянно денимали колики, теперь боль немного отпустила, но под ложечкой все равно сосало.

Он сразу понял, что звонок служебный, он никогда не пользовался телефоном для частных разговоров и другим не разрешал пользоваться.

— Иенсен! — вскричал начальник полиции. — Где вас черти носят?

— В нашем распоряжении еще три дня.

— Я не совсем точно выразился.

— Я только-только приступил к допросам.

— Да я не про ваши темпы, честное слово.

Это была одна из тех фраз, на которые не знаешь, что ответить.

Начальник хрипло прокашлялся.

— На наше с вами счастье, вопрос уладился и без нас.

— Уладился?

— Да, они сами разыскали виновника.

— Кто же он?

— Один из служащих концерна. Как мы и предполагали с самого начала, причиной всему была глупая шутка. Попутал один из служащих, журналист. Судя по всему, это чрезвычайно разболтанный молодой человек, одержимый всякими завиральными идеями. А вообще-то он славный парень. Они его подозревали с первой минуты, хотя и не позаботились сообщить нам об этом.

— Понимаю.

— Скорее всего они не хотели высказывать непроверенные подозрения.

— Понимаю.

— Как бы то ни было, инцидент исчерпан. Они решили не возбуждать против него дела. Они примирились с убытками, они проявили великодушие. От вас требуется только одно: снять с него показания. И можете поставить точку.

— Понимаю.

— У меня есть его имя и адрес. Запишите.

Иенсен записал имя и адрес на обратной стороне маленькой белой карточки.

— Я думаю, для вас будет лучше, если вы спихнете это как можно скорей — и дело с концом.

— Да.

— Потом оформите все обычным порядком. Учтите, что они в данном случае хотели бы ознакомиться с материалами следствия.

— Понимаю.

— Иенсен!

— Слушаю.

— У вас нет повода огорчаться. Очень хорошо, что все так кончилось. Разумеется, у служащих концерна было больше возможностей распутать дело. Точное знание персонала и внутренних взаимоотношений давало им определенное преимущество.

Иенсен молчал. Начальник дышал прерывисто и неровно.

— И еще одно, — сказал он.

— Слушаю.

— Я с самого начала говорил вам, что ваша задача — разобраться с анонимным письмом, не так ли?

— Говорили.

— Другими словами, что вам незачем обращать внимание на всякие побочные детали, которые могут всплыть в ходе следствия. Как только вы снимете показания с этого шутника, можете считать дело закрытым. И забыть все, что к нему относится. Ясно?

— Ясно.

— Думаю, что эта история кончилась ко всеобщему удовольствию... включая вас и меня, как я уже говорил.

— Понимаю.

— Вот и хорошо. До свиданья.

Иенсен повесил трубку, вернулся в ванную, добрал вторую щеку, оделся, выпил чашку горячей воды с медом и прочел утреннюю газету. Все это без спешки.

Хотя движение было не такое интенсивное, как обычно, Иенсен ехал на малой скорости, и, когда он добрался до участка и отогнал машину на стоянку, часы показывали уже половину десятого.

Целый час он просидел за столом, не заглядывая ни в донесения, ни в заготовленный список адресов. Потом он вызвал начальника патруля, передал ему белую карточку и сказал:

— Соберите сведения об этом лице. Все, какие можно. И поскорей.

Он долго стоял у окна и глядел, как санитары дезинфицируют камеры. Раньше чем они успели завершить свою работу, два полицейских в зеленой форме доставили первого алкоголика. Немного спустя позвонил тот полицейский, который в свое время был откомандирован на почту.

— Вы где находитесь?

— В центральном архиве периодических изданий.

— Есть какие-нибудь результаты?

— Никаких. Продолжать?

— Продолжайте.

Еще через час, никак не мешая, вернулся начальник гражданского патруля.

— Докладывайте.

— Двадцать шесть лет. Сын известного коммерсанта.

Семья считается весьма состоятельной. Время от времени сотрудничает в еженедельниках. Получил хорошее образование. Холост. Судя по некоторым данным, ему протежириуют сами шефы, скорей всего ради его фамильных связей. Характер... — Он наморщил лоб и принял внимательно изучать записи, словно не мог разобрать собственный почерк. После этого он продолжал: — Неустойчивый, порывистый, обаятельный, с чувством юмора. Склонность к довольно смелым шуткам. Нервы плохие, ненадежен, быстро утомляется. Семь раз страдал запоем, дважды припудрительно лечился от алкоголизма... Одним словом, портрет неудачника, — завершил свой доклад начальник патруля.

— Ну и достаточно, — сказал Иенсен.

В половине первого он велел принести из буфета два яйца в смятку, чашку чаю и три белых сухарика. Позавтракав, надел китель и фуражку, спустился вниз, сел в машину и поехал в южном направлении.

Указанную квартиру он нашел на третьем этаже обыкновенного доходного дома. На звонок никто не вышел. Он прислушался, и ему показалось, что из-за двери доносятся чуть слышные звуки гитары. Подождав минуту, Иенсен повернул дверную ручку. Дверь была не заперта, и он вошел в квартиру, стандартную квартиру из двух комнат, передней и кухни. Стены в первой комнате были голые, окно не занавешено. Посреди комнаты стоял стул, на полу возле стула — пустая бутылка из-под коньяка.

На стуле сидел раздетый мужчина и перебирал струны гитары.

Чуть наклонив голову, он взглянул на посетителя, но играть не перестал и ничего не спросил.

Иенсен прошел в следующую комнату. Там тоже не было ни мебели, ни ковров, ни занавесок, но зато на полу лежали несколько бутылок и груда одежды. В углу на тюфяке спала женщина, укрытая простыней и одеялом, спала, уткнувшись посом в подушку. Одна рука у нее свесилась на пол, и как раз на расстоянии вытянутой руки перед ней лежали сигареты, коричневая сумочка и пепельница.

Воздух здесь был тяжелый и затхлый, пахло спиртом, табаком, человеческим телом.

Иенсен открыл окно.

Женщина подняла голову и бессмысленно посмотрела на него.

— Вы кто такой? — спросила она. — Какого черта вы здесь козыряетесь?

— Птичка, это сыщик, которого мы ждали весь день! — крикнул гитарист из соседней комнаты. — Известный сыщик, который явился уличить нас.

— А пошел ты... — сказала женщина и опять уронила голову на подушку.

Иенсен приблизился к тюфяку.

— Предъявите ваше удостоверение личности, — сказал он.

— А пошел ты... — сонно сказала она лицом в подушку.

Иенсен нагнулся, поднял сумочку и после недолгих поисков нашел удостоверение. Посмотрел анкетные сведения: девятнадцать лет. В верхнем правом углу Иенсен увидел две красные пометки, довольно отчетливые, хотя кто-то явно пытался стереть их. Две пометки означали два привода — за пьянство. После третьего отправляют на принудительное лечение.

Иенсен вышел из квартиры и в дверях сказал гитаристу:

— Я вернусь ровно через пять минут. К этому времени погордитесь одеться.

Он спустился к машине и вызвал по селектору полицейский автобус. Автобус прибыл через три минуты, и Иенсен с двумя полицейскими снова зашел в квартиру. Гитарист за это время успел надеть штаны и рубашку.

Он сидел на подоконнике и курил. Женщина по-прежнему спала.

Один из полицейских достал алкогольный тестер и, приподняв с подушки голову женщины, сунул ей в рот рас труб прибора.

— Дохните, — скомандовал он.

Кристаллик в резиновом пузыре тотчас позеленел.

— Одевайтесь, — сказал полицейский.

Женщина сразу проснулась, вскочила на постели и дрожащими руками натянула простию на грудь.

— Нет, — сказала она. — Вы не смеете. Я ничего не сделала. Я здесь живу. Нет, вы не смеете. Не надо, ради бога, не надо.

— Одевайтесь, — повторил полицейский с прибором и кончиком баллоника придвинул ворох одежды к ее постели.

— Не хочу! — закричала она и отшвырнула ворох чуть не до дверей.

— Заверните ее в одеяло, — приказал комиссар Иенсен, — и поскорей.

Она повернулась к нему резко, молча, испуганно. Правая щека у нее была красная и помятая от подушки, черные, коротко остриженные волосы сбились в ком.

А Иенсен вышел в другую комнату. Гитарист по-прежнему сидел на подоконнике. Женщина плакала, пронзительно, взахлеб и, должно быть, сопротивлялась, но все это заняло очень немного времени. Минуты через две полицейские одержали победу и увяли ее. Иенсен заметил время по часам.

— Неужели это было так необходимо? — спросил мужчина, не вставая с подоконника.

Голос у него был звучный, но неуверенный и руки дрожали.

— Значит, это вы написали письмо? — спросил Иенсен.

— Ну да, я же сознался. И давно сознался, черт побери.

— Когда вы его отправили?

— В воскресенье.

— В какое время дня?

— Вечером. Точно не помню.

— До девяти или после?

— По-моему, после. Я же вам сказал, что не помню точно.

— Где вы составляли письмо?

— Дома.

— Здесь?

— Нет, у родителей.

— На какой бумаге?

— На обычновенной, белой.

Голос его обрел твердость, он даже взглянул на Иенсена с некоторым пренебрежением.

— На бумаге для машинки?

— Нет, получше. На обрывке какого-то диплома.

— А где вы его взяли?

— Известно где — в издательстве, их много там вляется. Сотрудники, которые уходят по собственному желанию или получают под зад коленкой, награждаются перед уходом такими дипломами. Описать, как он выглядит?

— Не стоит. Где вы его нашли?

— Вам говорят, в издательстве.

— А точнее?

— Ну валялся он, валялся, понимаете? Наверно, брали его для образца или еще зачем-нибудь.

— На столе?

— Может, и на столе. — Он задумался. — А может, на полке, не помню.

— Когда это произошло?

— Несколько месяцев назад. Хотите — верьте, хотите — нет, но я почти ничего не помню. Вот ей-богу. Одно могу сказать: не в этом году.

— И вы взяли его с собой?

— Да.

— Для шутки?

— Нет, я думал устроить хорошенький бенц.

— Что устроить?

— Ну, бенц. Это тоже вроде шутки. Выражение старое.

— А какой именно шутки?

— Да мало ли какой! Подписать выдуманной фамилией, приклепать на первой странице голую девку и отправить какому-нибудь идиоту.

— А когда у вас возникла идея написать письмо?

— В воскресенье. Делать было нечего. Я и решил устроить у них небольшой переполох. Только ради забавы. Я даже и не думал, что они всерьез этим займутся.

С каждой минутой голос его становился тверже и уверенней. Но вдруг он просительно добавил:

— Ну откуда я мог знать, что начнется такая петрушка? У меня и в мыслях не было.

— Каким kleem вы пользовались?

— Своим собственным. Обычный клей.

Иенсен кивнул.

— Покажите мне ваше удостоверение личности.

Тот достал его сразу. На удостоверении стояло шесть красных пометок, все перечеркнуты синим.

— Задерживать меня не к чему. Я и так уже три раза подвергался принудительному лечению.

Иенсен вернул ему документ.

— А она нет, — добавил гитарист и кивком головы указал на дверь соседней комнаты. — Если разобраться, вы сами и виноваты во всем. Мы вас ожидали с прошлой ночи, а чем еще прикажете заниматься, пока ждешь? Терпеть не могу сидеть без дела. Бедная девочка.

— Она что, ваша невеста?

— Пожалуй, так.

— Она здесь живет?

— Обычно. Она правильная девка, душевная, только возни с ней много. У нее немножко устаревшие взгляды. А уж темперамент — прямо вихрь, если только вы понимаете, что я имею в виду.

Иенсен кивнул.

— Скажите, если бы дядя... если бы они не были так снисходительны и не сняли иск, о каком наказании могла бы идти речь?

— Такие вещи решает суд, — ответил Иенсен. И закрыл блокнот.

Его собеседник достал сигарету, закурил, спрыгнул с подоконника и стоял теперь, бессильно привался к стене.

— Иногда вытворяешь черт те что, — пробормотал он. — Счастье еще, что мне везет в жизни.

Иенсен спрятал блокнот в карман и поглядел на дверь.

— А перед тем как наклеить буквы, вы рвали газету?

— Ну, разумеется.

— И вырывали из нее буквы?

— Да.

— А не вырезали? Ножницами?

Гитарист быстрым движением потер переносицу, затем провел пальцами по бровям, наморщил лоб и только после этого ответил:

— Точно не могу сказать...

— А вы попытайтесь.

Пауза.

— Не припомню.

— Откуда вы отправили письмо?

— Отсюда. Из города.

— Точнее.

— Ну, сунул в какой-то ящик.

— Точнее. Где он находится?

— А я почем знаю?

— Значит, вы не знаете, где вы опустили письмо?

— Сказал ведь, что в городе, а где точно, я не помню.

— Значит, не помните?

— Смешно было бы запоминать такие глупости. В городе полно почтовых ящиков, верно ведь?

Иенсен не ответил.

— Верно ведь? — переспросил гитарист, повышая голос.

— Верно, верно.

— Вот видите.

— Но зато вы, конечно, помните, в какой части города это произошло?

Иенсен рассеянно поглядел в окно. Гитарист пытался поймать его взгляд, но успеха не имел и потому, чуть наклонив голову, ответил:

— Представьте себе, что не помню. А разве это имеет какое-нибудь значение?

— Где живут ваши родители?

— В восточной части города.

— Может быть, и письмо вы опустили исподалеку от их дома?

— Не знаю, слышите? Не все ли равно, где я его опустил?

— А может быть, в южной части?

— Да, черт возьми. То есть нет, не знаю.

— Где вы опустили письмо?

— Не знаю, черт подери, не знаю! — истерически выкрикнул гитарист и, внезапно оборвав крик, с шумом вздохнул. Потом после небольшой паузы сказал: — Я в тот вечер гонял по всему городу.

— Один?

— Да.

— И вы не помните, где вы опустили письмо?

— Не пом-ню. Сколько раз надо повторять, что я не помню?

Он встал и принялся расхаживать по комнате мелкими, торопливыми шажками.

— Не помните, значит?

— Нет.

— Итак, вы не знаете, в какой ящик вы опустили письмо.

— Не-ет! — закричал он, больше не владея собой.

— Одевайтесь и следуйте за мной, — приказал Иенсен.

— Это куда еще?

— В полицию, в шестнадцатый участок.

— А вас не устроит, если я просто... просто запишу все это на бумаге? Завтра утром? У меня... у меня были другие планы на сегодняшний вечер.

— Нет.

— А если я откажусь следовать за вами?

— Не имеете права. Вы арестованы.

— Арестован? Да как вы смеете, черт вас подери! Они взяли иск обратно. Ясно вам? За что я, спрашивается, арестован?

— За дачу ложных показаний.

По дороге ни тот, ни другой не проронили ни слова. Арестант сидел на заднем сиденье, и Иенсен мог наблюдать за ним в зеркало, почти не поворачивая головы. Арестант заметно первичал. Цурился под очками, моргал, а когда думал, что за ним не наблюдают, грыз ногти.

Иенсен заехал во двор и отогнал машину к дверям подвала. Потом вылез из машины и провел арестованного мимо регистрационного стола, мимо камер, где за блестящими решетчатыми дверями сидели пьяницы — одни плакали, другие поникли в тупом оцепенении. Иенсен распахнул последнюю дверь и очутился вместе со своим подопечным в ярко освещенной комнате. Потолок здесь был белый, стены и пол тоже, а посреди комнаты стояла скамейка из белого бакелита.

Арестант оглянулся вызывающе и растерянно в то же время и опустился на скамью. А Иенсен вышел и запер за собой дверь. У себя в кабинете он снял трубку, набрал три цифры и сказал:

— Срочно направьте следователя в камеру-одиночку.

Речь идет о ложных показаниях. Обвиняемый должен в этом сознаться. Дело срочное.

Иенсен повесил трубку, достал из нагрудного кармана белую карточку, выложил ее на стол и тщательно нарисовал в левом верхнем углу маленькую пятиконечную звездочку. Потом с не меньшим тщанием заполнил такими звездочками целую строку. Ниже последовала строка шестиконечных звезд, маленьких, одинакового размёра. Доведя свой труд до конца, он подвел итог. В общей сложности он нарисовал одну тысячу двести сорок две звезды, из них — шестьсот тридцать три пятиконечных и шестьсот девять шестиконечных. Изжога начала донимать Иенсена, к ней присоединились желудочные спазмы. Он развел щепотку соды и залипом выпил ее. Со двора доносились вошли и прочие шумы, там явно разыгрывалась баталия, но Иенсен даже не подумал выглянуть в окно.

Телефон зазвонил через четыре часа двадцать пять минут.

— Все ясно, — сказал следователь. — Конечно, он тут ни при чем, но пока я это из него выудил, столько пришлось попотеть...

— А протокол допроса?

— Уже подписан.

— Мотивы?

— Скорей всего деньги... Но в этом он до сих пор не сознался.

— Отпустите его.

— Передать дело в суд?

— Нет.

— Выжать из него, кто давал ему деньги?

— Нет.

— Теперь это будет нетрудно сделать.

— Нет, — повторил Иенсен, — не надо.

Иенсен положил трубку, разорвал искрепленную звездами карточку и бросил обрывки в корзину для бумаг. Потом извлек список с девятью именами, перевернул страницу блокнота и написал: «№ 2. 42 года. Репортер. Разведенный. Ушел по собственному желанию».

Потом Иенсен поехал домой и сразу лег, даже не поужинав.

Устал он страшно, и, хоть изжога отпустила, он все равно еще долго ворочался, прежде чем заснуть.

Итак, прошел пятый день, и прошел зря, без малейшей пользы.

— Это был не он, — сказал комиссар Иенсен начальнику полиции.

— То есть как не он? В чем дело? Ведь он же сам говорил...

— Он все выдумал.

— И признался?

— Да, только не сразу.

— Итак, вы утверждаете, что этот человек сознался в преступлении, которого не совершил? Вы уверены, что не ошиблись?

— Да.

— Вам известно, почему он так поступил?

— Пет.

— Не кажется ли вам, что в этом случае необходимо установить причину?

— Нет надобности.

— Может, оно и к лучшему... — казалось, начальник полиции обращается к себе самому. — Иенсен!

— Слушаю.

— Положение у вас незавидное. Ведь требование найти преступника остается в силе, насколько мне известно. А в запасе всего два дня. Успеете?

— Не знаю.

— Если вам не удастся решить эту задачу до понедельника, я не ручаюсь за последствия. Мне даже самому трудно их представить. Стоит ли напоминать вам об этом?

— Нет.

— Ваша неудача может обернуться неудачей и для меня.

— Понимаю.

— После столь непредвиденного оборота важнее, чем когда бы то ни было, вести дальнейшее следствие в условиях строжайшей секретности.

— Понимаю.

— Я полагаюсь на вас. Желаю удачи.

Начальник позвонил почти в то же время, что и вчера, но на сей раз Иенсен уже был готов выйти из дома. За всю ночь он проспал от силы два часа, но тем не менее чувствовал себя бодрым и даже отдохнувшим. Вот только вода с медом не утолила его голод, под ложечкой сосало, и чем дальше — тем сильней.

— Пора съесть хоть какую-нибудь настоящую стряпню. Завтра или самое позднее — послезавтра.

Это Иенсен сказал самому себе, когда спускался вниз по лестнице. Вообще же он не имел такой привычки — разговаривать с самим собой.

Редкий ночной дождик съел снег. Ртутный столбик поднялся чуть выше пуля, тучи рассеялись, и солнце, как всегда, светило холодным белым светом.

В шестнадцатом участке еще не завершили утреннюю программу. У входа в подвал стоял серый автобус, который развозит алкоголиков с тремя приводами по лечебницам или на принудительные работы, а в самом подвале полицейские еще только выгоняли из камер сонных арестантов. Полицейские были бледные и усталые от ночных дежурства.

Перед дверью, выстроившись в безмолвную длинную цепь, ждали те, кого освободили из-под стражи. Им надо пройти стол регистрации и получить прощальный укол.

Иенсен подошел к врачу.

— Как прошла ночь? — осведомился он.

— Нормально. Точнее сказать, чуть хуже предыдущей.

Иенсен кивнул.

— У нас тут ночью онять случай был со смертельным исходом. Одна женщина.

— Так-так...

— Она крикнула из камеры, что если она и пила, то лишь затем, чтобы покончить с собой, но полицейские ей помешали... Я ничего не успел сделать.

— Ну и?..

— Бросилась вперед головой на стену камеры и размозжила себе череп. Это не так просто, но у нее получилось.

Врач поднял взгляд. Всех у него прищухли и покраснели, и в воздухе захлебно спиртом. Едва ли запах мог исходить от стоящего перед ним арестанта, которому только что закатали укол.

— Для этого нужна физическая сила — раз, большая воля — два, — продолжал врач. — И нужно содрать обивку со стены — три.

Почти все освобожденные стояли, засунув руки в карманы и апатично понурив головы. Ни страха, ни отчаяния больше не было в их лицах, одна только беспредельная пустота.

Иенсен вернулся к себе в кабинет, достал очередную карточку и сделал на ней две записи: «Улучшить стенную обивку. Нового врача».

Больше никаких дел у него в кабинете не было, и он ушел не задерживаясь.

Часы показывали двадцать минут девятого.

18

Пригород был расположен на несколько миль южнее города и принадлежал к той категории, которая у экспертов из коммунального министерства числится, как правило, под рубрикой «Самооздоровительные районы».

Строили его в пору великого жилищного кризиса и симметрично расставили вокруг так называемого делового центра и автобусной остановки тридцать многоэтажных домов. Теперь маршрут автобуса отменили, предприятия почти все лопнули сами собой, большая мощеная площадь превратилась в кладбище погибших автомобилей, а из квартир пустовало по меньшей мере восемьдесят процентов.

Иенсен не без труда отыскал нужный адрес, отъехал на стоянку и вышел из машины. Дом был четырнадцатиэтажный, штукатурка местами обвалилась, местами почернела от непогоды. Каменная дорожка перед домом была усеяна осколками стекла, а деревья и кусты подступали вплотную к бетонному фундаменту. Ясно было, что пройдет еще немного времени, и корни их разорвут мостовую.

Лифт не работал, пришлось тащиться пешком на девятый этаж. Лестничная клетка была холодная, запущенная и темная. Часть дверей была распахнута настежь, открывая взору комнаты в том виде, как их бросили хозяева, — захламленные, на потолке и на стенах трещины, сквозь которые задувает ветер.

Попадались и занятые квартиры — об этом можно было судить по кухонному чаду и громовым воплям телевизоров — шла утренняя передача. Должно быть, стены и междуетажные перекрытия строились без звукоизоляционной прокладки.

Одолев пять этажей, Иенсен запыхался, а к девятому у него сильно сдавило грудь и заныло под ложечкой. Прошло несколько минут, и одышка улеглась. Тогда он

достал служебный значок и постучал в дверь. Хозяин открыл сразу. И удивился:

— Полиция? Я абсолютно трезв вот уже несколько лет.

— Меня зовут Иенсен, я комиссар шестнадцатого участка. Я веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и прежнего места работы.

— И что же?

— Несколько вопросов.

Хозяин покал иллечами. Он был опрятно одет, худощав и с погасшим взглядом.

— Тогда войдите.

Квартира была стандартного типа, меблировка соответственная. На стене висела книжная полка с десятком книжек, а на столе стояла чашка кофе, лежали хлеб, масло, сыр и газета.

— Садитесь, пожалуйста.

Иенсен огляделся. Квартира очень напоминала его собственную. Он сел, достал ручку, раскрыл блокнот.

— Когда вы ушли из издательства?

— В декабре прошлого года, как раз перед рождеством.

— По собственному желанию?

— Да.

— Работали долго?

— Да.

— А почему ушли?

Хозяин отхлебнул кофе. Взглянул на потолок.

— Это долгая история. Вряд ли она вас заинтересует.

— Почему вы ушли?

— Будь по-вашему. У меня нет секретов. Просто все это нелегко сколько-нибудь связно изложить.

— Попытайтесь.

— Так вот, утверждение, что я ушел по собственному желанию, можно принять за истину только с оговоркой.

— Уточните.

— Если даже затратить на это несколько дней, все равно вы ничего не поймете. Я могу лишь поверхностно изложить ход событий.

Он сделал паузу.

— Но сперва я хотел бы узнать, зачем вам это понадобилось. Меня в чем-нибудь подозревают?

— Да.

— И вы, конечно, не скажете, в чем?

— Нет.

Хозяин встал и подошел к окну.

— Я переехал сюда, когда этот район только начали заселять. Это было не так уж давно. И вскоре я поступил в концерн — меня привел туда несчастный случай.

— Несчастный случай?

— До этого я служил в другом журнале. Вы, наверно, такого и не помните. Его издавали социал-демократическая партия и объединение профсоюзов. Это был последний крупный журнал в стране, не зависящий от концерна. У него были свои критерии, культурные в частности, хотя положение на этом фронте начало заметно ухудшаться.

— Культурные критерии?

— Ну да, он ратовал за настояще искуство и поэзию, публиковал серьезные рассказы и тому подобное. Я не силен в этих вопросах, я репортер, я занимался политическими и социальными проблемами.

— Вы были социал-демократом?

— Я был радикалом. Точнее говоря, я принадлежал к крайнему левому крылу социал-демократов, но об этом я сам не догадывался.

— Дальше.

— Дела шли далеко не блестяще. Журнал почти не приносил дохода, хотя и убытки тоже не давал. Он имел довольно большой круг читателей, которые ему доверяли. И вообще, он служил единственным противовесом всем журналам концерна, он боролся с концерном и с издательством, он критиковал его, отчасти прямо, отчасти косвенно благодаря самому факту своего существования.

— Как?

— Полемические статьи, передовицы, критические выступления. Честный и серьезный подход к поднимаемым вопросам. Деятели Дома, разумеется, ненавидели его лютой ненавистью и наносили ответные удары, но уже на свой лад.

— Как?

— Они увеличивали выпуск безликих массовых серий и развлекательных журналов, а кроме того, они ловко использовали повальную тенденцию современных людей.

— Какую тенденцию?

— Рассматривать картинки, вместо того чтобы читать текст, или если уж читать, то, по крайней мере, ничего не значащий вздор, а не такие статьи, которые заставляют

думать, волноваться, заниматься определенную позицию. К сожалению, именно так обстояли дела уже в мое время.

Рассказчик по-прежнему стоял у окна спиной к посетителю.

— Этот феномен именуется мозговой ленью и является, как говорят, неизбежным следствием, своего рода возрастной болезнью телевизионного века.

Над домом пророкотал самолет. Южнее поселка в нескольких милях от него была посадочная площадка, откуда ежедневно вылетали большие группы людей, чтобы провести свой отпуск за границей, в «специально для этой цели отведенных местах с благоприятными условиями». Такие поездки были доступны со всех точек зрения. Иенсен и сам один раз соблазнился и съездил за границу, но повторять этот эксперимент не желал.

— Словом, это было в те времена, когда многие думали, что спад половой активности вызван радиоактивными осадками. Припомните?

— Да.

— Ну, с нашими читателями концерн сладить не мог. Это был круг не такой уж большой, но зато тесно силический. И наш журнал был им очень нужен. Он служил для них последней отдушиной. Я думаю, издательство больше всего испытывало нас именно по этой причине. Но нам все-таки казалось, что им с нами не совладать.

Он обернулся и взглянул на Иенсена.

— Сейчас последуют всякие сложности. Я ведь говорил, что так просто это не объяснишь.

— Продолжайте. Что было дальше?

Рассказчик чуть заметно улыбнулся и сел на диван.

— Что было дальше? Самое неожиданное. Они просто-напросто купили нас со всеми потрохами. Чип чином, с персоналом, с идеологией и прочим хламом. За наличные. Или, если перевернуть по-другому: партия и объединение профсоюзов продали нас врагу.

— Почему?

— Ну, это еще трудней объяснить. Мы стояли на распутье. Единое общество принимало вполне зримые черты. История-то давняя. А знаете, что я думаю?

— Нет.

— Как раз тогда социализм в других странах, преодолев затяжной кризис, сумел сплотить людей, помог им осознать себя людьми, сделал их свободнее, увереннее,

сильнее духовно, показал, чем может и должен стать труд для человека, пробудил человеческую личность к активной деятельности, воспитал в ней чувство ответственности... Мы, со своей стороны, все так же превосходили их по уровню материального производства, и близилось время, когда следовало использовать на практике наш общий опыт. А получилось по-другому. Развитие пошло другим путем. Вам не трудно следить за ходом моих рассуждений?

— Ничуть.

— Здесь всех настолько ослепило сознание собственного превосходства, все головы были настолько забиты верой в успех так называемой практической политики (грубо говоря, у нас считали, что нам посчастливилось примирить и чуть ли не соединить марксизм с плутократией), что наши социалисты сами признали социализм излишним. Впрочем, реакционные теоретики предсказывали это много лет назад. Далее последовали определенные перемены в партийной программе. Из нее просто-напросто вычеркнули тот раздел, где говорилось о том, какой опасностью чревато становление единого общества. Шаг за шагом партия отказалась от всех основных положений своей программы. И одновременно следом за всеобщим отгуплением наступала духовная реакция. Вы понимаете, к чему я веду?

— Не совсем.

— Тогда-то и была предпринята попытка сблизить крайние точки зрения в различных вопросах. Мысль сама по себе, возможно, не столь дурная, но все методы, которыми пользовались для осуществления ее, сводились к фигуре умолчания, точнее, замалчивания: замалчивали трудности, замалчивали противоречия. Каждую проблему опутывали ложью. Через нее перескакивали путем неуклонного повышения материального уровня, ее обволакивали бездумной болтовней газеты, радио, телевидение. Вместо фигового листка на эту болтовню павесили термин «занимательные беседы» и надеялись, что замалчиваемые болезни в ходе времени исчезнут сами собой. Но вышло по-другому. Личность почувствовала, что физически она вполне ублаготворена, зато морально над ней учредили опеку; политика, общество стали понятиями расплывчатыми и непостижимыми, все было вполне терпимо и все мало привлекательно. Наступила растерянность, сменявшаяся у некоторых равнодушием. А на самом дне при-

таился беспричинный страх. Да, страх, — повторил он. — Перед чем — не знаю. А вы случайно не знаете?

Иенсен все так же без выражения смотрел на него.

— Может, страх перед жизнью, как это нередко бывает, и самое абсурдное заключалось в том, что внешняя жизнь становилась все лучше. На весь протокол какие-нибудь три кляксы: алкоголизм, падение рождаемости, увеличение числа самоубийств. Но говорить об этом считается неприличным — так было, так есть.

Он умолк. И Иенсен не нарушил молчания.

— Одно из положений, распространяющееся на все общество сверху донизу, — пусть даже никто до сих пор не рискнул произнести его вслух, — сводится к следующему: все должно приносить выгоду. Самое ужасное, что именно эта доктрина и побудила профсоюзы и партию запродать нас тем, кого мы в ту пору считали своими заклятыми врагами. Нас продали ради денег, а не ради того, чтобы избавиться от нашей откровенности и радикализма. Только потом они осознали двойную выгоду такой сделки.

— И от этого вы окосточились?

Рассказчик, казалось, не понял вопроса.

— Но даже и не это больше всего оскорбило и уничижило нас. Больше всего оскорбило и уничижило нас то обстоятельство, что все это делалось без нашего ведома, на высшем уровне, над нашими головами. Мы-то воображали, будто играем определенную роль, будто все, что мы говорим, и все, что мы собой представляем, а заодно и те, кого мы представляем, имеют вес, достаточный по меньшей мере для того, чтобы нас поставили в известность, как намерены с нами обойтись. Но мы напрасно обольщались. Весь вопрос был уложен с глазу на глаз двумя бизнесменами в рабочем порядке. Один из них был шеф издательства, другой — глава объединения профсоюзов. Затем сделку довели до сведения премьер-министра и партии, чтобы те уладили кое-какие практические детали. Тех, чьи имена пользовались известностью, и тех, кто занимал у нас руководящие посты, рассовали по всяким синекурам в правлении концерна, а остальные пошли в придачу. Самым незначительным просто указали на дверь. Я принадлежал к промежуточной категории. Вот как оно было. С таким же успехом это могло произойти в средние века. И во все времена. Это доказало нам, сотрудникам журнала, что мы ничего не значим и ни на

что не способны. Это было страшней всего. Это было смертоубийством. Это убило идею.

— И от этого вы ожесточились?

— Скорее отупел.

— Но вы испытывали ненависть к своей новой службе? Концерну? Его шефам?

— Ничуть. Если вы так подумали, значит вы не поняли меня. Ибо со своей точки зрения они действовали в строгом соответствии с логикой: чего ради они стали бы отказываться от такого доступного триумфа? Представьте себе, что генерал Миаха во время сражения за Мадрид позвонил генералу Франко и спросил у него: «Не хотите ли по дешевке откупить у меня мою авиацию? Уж больно много она жрет бензина». Это сравнение вам что-нибудь объясняет?

— Ничего.

— Вирочем, оно не совсем точно. Ну что ж, тогда я дам вполне однозначный ответ на ваш вопрос: нет, я не испытывал ненависти к издательству ни тогда, ни позже. Ко мне даже неплохо относились.

— И все же уволили?

— На самых гуманных условиях. К тому же учтите, что я сам их на это спровоцировал.

— Чем?

— Я умышленно злоупотребил их доверием, как это у них называется.

— Как?

— Осенью меня послали за границу собирать материал для серии статей. Статьи должны были представить целую человеческую жизнь, путь человека к почестям и богатству. Речь шла об одном всемирно известном артисте телевидения, об одном из тех, которыми без конца пишут публику во всех передачах. Предыдущие годы я только тем и занимался, что писал гладкие, красивые биографии известных людей. Но впервые меня откомандировали для этой цели в чужую страну.

Он улыбнулся все той же чуть заметной улыбкой и за барабанил пальцами по краю стола.

— Моя знаменитость, мой герой родился в социалистической стране, одной из тех, чье существование тщательно замалчивается. Я даже думаю, что наше правительство до сих пор ее не признало.

Он взглянул на Иенсена пытливо и грустно.

— И знаете, что я сделал? Я написал серию статей, где

подробно и доброжелательно проанализировал политику и культурный уровень этой страны, сравнил их с нашей обстановкой. Мои статьи, конечно, так и не увидели света, да я и не ждал этого.

Он смолк ненадолго, потом, нахмурив брови, продолжал:

— А самое забавное, что я до сих пор не знаю, зачем я это сделала.

— Назло?

— Возможно. Но до сих пор, много лет подряд, я ни с кем не беседовал на эту тему. И не знаю, с чего я вдруг сейчас разговорился об этом. Во всяком случае, ни о чем таком я не думал. Проработав в издательстве с полмесяца, я потерял интерес ко всему на свете, после чего начал писать то, что они хотели, страницу за страницей. Сначала они действительно относились ко мне серьезней, чем я того заслуживал. А потом убедились, что я вполне безопасен и могу быть отличным винтиком в их большой машине. Тогда — и лишь тогда — они даже подумывали о том, чтобы перевести меня в особый отдел. Вы, верно, о нем и не слыхали?

— Нет, слыхал.

— Его можно назвать иначе — тридцать первым отделом. Он считается у них одним из главных отделов. Почему — не знаю. Говорят о нем редко, деятельность его проходит в условиях строжайшей секретности. Они занимаются каким-то планированием. На нашем профессиональном жаргоне их называют «подсадная группа». И вот меня совсем уже было надумали перевести в тридцать первый, но потом, должно быть, спохватились, что я ни на что больше не гожусь, кроме как на сочинение красивых и прилизанных жизнеописаний известных людей. Кстати, они были правы.

Он рассеянно провел пальцами по краю чашки.

— Тут я вдруг выкинул этот фортель. Ну и удивились же они!

Иенсен кивнул.

— Видите ли, я понимал, что больше ничего не смогу написать, и мне нестерпима была мысль, что последние строки, которые выйдут из-под моего пера, будут приторной и лживой стряпней на тему о прохвосте, будут восхвалением негодяя, который зарабатывает миллионы своим уродством и безголосьем, который разъезжает по свету и устраивает дебоши в притонах для педерастов.

— Последние строки?

— Ну да. Я выдохся. Я и раньше понимал, что исписался до конца и больше ни на что не способен. Это сознание вдруг нахлынуло на меня. Со временем я подыщу себе какую-нибудь другую работу, все равно какую. Для журналиста не так просто подыскать другую работу — мы ведь, по сути дела, ничего не умеем. Но и это уладится, в наши дни совсем не обязательно что-нибудь уметь.

— А на какие средства вы живете?

— Издательство обошлось со мной очень милостиво. Они сказали, будто давно заметили, что я исписался, выплатили мне жалованье за четыре месяца и отпустили с богом.

— И даже вручили диплом?

Рассказчик удивленно взглянул на Иенсена.

— Вручили. Смешно, правда? А вы откуда это знаете?

— Где ваш диплом?

— Да нигде. Я мог бы, конечно, напеть вам, что, мол, разорвал диплом на мелкие кусочки и выбросил их с тридцатого этажа. Но если говорить по правде, я самым профанским образом выкинул его, прежде чем покинуть издательство.

— Вы его хоть скомкали?

— А как же? Иначе он не влез бы в корзинку для бумаг. Он, сколько мне помнится, был довольно большого формата. А почему вы об этом спрашиваете?

Тут Иенсен задал еще четыре вопроса.

— Что ваша постоянная квартира?

— Как и уже вам говорил, я живу здесь со дня сдачи дома в эксплуатацию и намерен жить, пока не отключат свет и воду. Теперь здесь стало даже лучше, чем прежде. Соседей никаких, и поэтому не приходится страдать от немыслимой звукопроводимости.

— Почему особый отдел называют тридцать первым?

— Он помещается на тридцать первом этаже.

— Разве там есть тридцать первый этаж?

— Да, на чердаке, над редакциями массовых выпусков, под самой крышей. Лифт туда не ходит.

— А вы там бывали?

— Ни разу. Большинство сотрудников вообще не знает, что он существует.

На прощанье хозяин сказал:

— Я сожалею, что так разговорился. Когда для ско-

рости перескакиваешь с пятого на десятое, все выглядит наивно и запутанно. Но вы настаивали... И еще, самое последнее: вы до сих пор меня в чем-то подозреваете?

Иенсен уже вышел на площадку и ничего ему не ответил.

А хозяин стоял в дверях. Лицо его не выражало беспокойства — только равнодушие и бесконечную усталость.

Несколько минут Иенсен неподвижно сидел в машине, просматривая свои заметки. Потом перевернул страницу и записал: «№ 3. Бывший главный редактор, 48 лет, не замужем, освобождена от занимаемой должности по собственному желанию и с полной пенссией».

Номер третий была женщина.

Сверкало солнце, белое и безжалостное. Была суббота, и часы показывали без одной минуты двенадцать. Оставалось ровно тридцать шесть часов. Он включил зажигание, и машина тронулась.

Он не стал слушать приемник. И хотя дорога шла через центр, даже не подумал заехать в свой участок.

Зато перед кафе-автоматом он остановился и долго изучал три рекомендуемых на сегодня завтрака.

Меню было разработано в специальном отделе министерства народного здравоохранения. Приготовление пищи было централизовано и сосредоточено в руках гигантского синдиката продовольственных товаров. Одни и те же блюда подавались во всех предприятиях общественного питания. Иенсен так долго изучал меню, что люди, стоявшие за ним, начали проявлять беспокойство. Затем он нажал одну из кнопок, получил установленный тарелками поднос и пристроился у ближайшего столика.

Здесь он внимательно осмотрел свою добычу: молоко, морковный сок, несколько биточек, несколько листков капусты и две разваренные картофелины.

Иенсен ужасно хотел есть, но положиться на свой желудок он не мог. Поэтому после длительных раздумий он отковырнул кусок биточка, долго жевал его, запил морковным соком и вылез из-за стола.

Улица, которую он разыскивал, была расположена восточнее кафе, очень недалеко от центра и в таком районе, где с давних пор селились сохранившиеся по чистой слу-

чайности представители привилегированных классов. Дом блистал новизной, и строили его явно не по типовому проекту. Он принадлежал концерну, помимо квартир, в нем были залы заседаний и большая студия со стеклянной крышей и балконом.

Открыла женщина, приземистая и расплывшаяся. Белокурые волосы были затейливо начесаны, а тон на гладко-розовом лице положен так густо, что оно напоминало цветную иллюстрацию.

Пеньюар из тонкой прозрачной материи был выдержан в двух тонах — голубом и розовом. Красные домашние туфли на высоком каблуке были украшены золотым шитьем и диковинными пестрыми помпошками.

Иенсену сразу показалось, что он видел однажды точно такой же туалет на цветной вкладке в одном из ста сорока четырех журналов.

— А к нам мужчина, — жеманно хихикнула женщина.

— Я Иенсен, комиссар шестнадцатого участка. Я веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и прежнего места работы, — бесцветным голосом отрапортовал Иенсен и предъявил свой значок.

За это время он, глядя через плечо женщины, успел изучить убранство комнаты.

Она была большая, просторная и богато обставленная. На фоне вьющихся растений и драпировок — преимущественно пастельных тонов — стояла низкая мебель какого-то светлого дерева. Все в целом сильно смахивало на будуар дочери американского миллионера, ирромиком доставленный сюда с промышленной ярмарки и до безобразия увеличенный.

На диване в углу сидела еще одна женщина — брюнетка, заметно моложе первой. На одном из столиков Иенсен увидел бутылку шерри, рюмку и кошку какой-то заморской породы.

Обладательница розово-голубого пеньюара впорхнула в комнату.

— Ах, как интересно! К нам пришел сыщик.

Иенсен последовал за ней.

— Да, душечка, можешь себе представить — это самый взаимодействий сыщик из какой-то специальной полицейской конторы или участка, как это у них называется... ни дать ни взять наш собственный рассказ в картинах.

Она повернулась к Иенсену и зашебетала:

— Садитесь, мой дорогой, садитесь. И вообще, будьте в моем маленьком гнездышке как у себя дома. Рюмочку шерри не желаете?

Иенсен покачал головой и сел.

— Ах, я совсем забыла представить вам свою гостью, это одна из моих любимых сотрудниц, одна из тех, кто встал к штурвалу, когда я сошла на берег.

Брюнетка взглянула на Иенсена беглым, равнодушным взглядом, после чего послала хозяйке вежливую побоюстистную улыбку. Та опустилась на диван, склонила голову к одному плечу и заморгала, как маленькая девочка. Потом вдруг спросила деловито и сухо:

— Итак, чем могу служить?

Иенсен достал блокнот и ручку.

— Когда вы ушли с работы?

— Под Новый год. Только, умоляю, не говорите «работа». Журналистика — это призвание, не меньше, чем профессия врача и священника. Ни на одну минуту ты не должен упускать из виду, что все читатели — твои собратья, почти твои духовные пациенты. Ты вживаешься в ритм своего журнала, ты думаешь только о своих читателях, ты отдаешь им себя без остатка, целиком.

Гостья внимательно разглядывала свои туфли, закусив губу. Углы рта у нее подергивались, словно она удерживала крик или смех.

— А почему вы ушли?

— Я ушла из издательства, поскольку считала, что моя карьера уже достигла своего апогея. Я осуществила все, к чему стремилась, — двадцать лет я вела свой журнал от победы к победе. Не будет преувеличением сказать, что я создала этот журнал своими руками. Когда я пришла туда, он не имел никакого веса, ну решительно никакого. В самый короткий срок он — под моим руководством — стал одним из крупнейших женских журналов у нас в стране, а еще через незначительное время вообще крупнейшим. И является таким до настоящей минуты.

Она бросила на брюнетку торопливый взгляд и ехидно продолжала:

— Вы спросите, как я этого достигла? Отвечу: труд, труд и полнейшее самоотречение. Надо жить во имя стоящей перед тобой задачи, надо мыслить иллюстрациями и

полосами, надо чутко прислушиваться к голосу читателей для того... — она задумалась, — для того, чтобы удовлетворить их законное стремление позолотить будни красивыми грезами, идеалами, поэзией.

Она пригубила рюмку шерри и ледяным тоном продолжала:

— Чтобы совершить все это, надо обладать тем, что мы называем чутьем. И в отношениях к своим сотрудникам надо проявлять то же самое чутье. Увы! Лишь немногие наделены этим даром. Порой приходится не щадить себя, чтобы как можно больше дать другим.

Она закрыла глаза, и голос ее зажурчал:

— И все это ради одной цели: журнал и его читатели.

— Ради двух, — поправил Иенсен.

Брюнетка глянула на него — быстро, испуганно. Хозяйка не реагировала.

— А вы знаете, как я сделалась главным редактором?

— Нет.

Очередная смена интонаций, теперь ее голос стал мечтательным.

— Это похоже на сказку, я вижу это перед собой как повеллу в иллюстрациях — из действительности. Слушайте, как все вышло...

Лицо и голос снова меняются:

— Я родилась в простой семье и не стыжусь этого. — Теперь голос агрессивный, уголки рта опущены, а нос, напротив, задран.

— Слушаю вас.

Быстрый, испытующий взгляд на посетителя, и — деловитым голосом:

— Шеф концерна — гений. Ничуть не меньше. Великий человек, куда выше, чем Демократ.

— Демократ?

Она, хихикая, покачала головой.

— Ах, я вечно путаю имена. Разумеется, я имела в виду кого-то другого. Всех не упомнишь.

Иенсен кивнул.

— Шеф принял меня сразу, хотя я занимала до того очень скромный пост, и передал мне журнал. Это была неслыханная смелость. Вообразите: молоденькая, неопытная девочка — и вдруг редактор большого журнала. Но во мне оказались именно те свежие соки, которые и нужно было туда влить. За три месяца я сумела изменить лицо редакции, я разогнала бездельников. За полгода он стал

любимым чтением всех женщин. И остается таковым до сих пор.

Еще раз переменив голос, она обратилась к брюнетке:

— Не забывайте, что и восемь полос гороскопов, и киноновеллы в иллюстрациях, и рассказы из жизни матерей великих людей — все это ввела я. И что именно благодаря этим нововведениям вы процветаете. Да, еще изображения домашних животных в четыре краски.

Она слабо взмахнула рукой, ослепляя посетителя блеском своих колец, и продолжала скромно:

— Я говорю это не для того, чтобы напроситься на комплимент или похвалу. Достаточной наградой мне были письма, согревающие сердце письма, от благодарных читательниц, сотни тысяч писем. — Она смолкла ненадолго, все так же простирая руку вперед и склонив голову к плечу, словно засмотрелась в туманную даль.

— Не спрашивайте меня, как мне удалось этого достичь, — заговорила она, стыдливо потупясь. — Такое просто сознаешь, но сознаешь с уверенностью, как сознаешь, к примеру, что любая женщина, которая хоть раз в жизни поймала чай-нибудь взгляд, полный страстного желания...

У брюнетки вырвался какой-то придушенный, булькающий звук.

Хозяйка вся подобралась и глянула на нее с откровенной ненавистью.

— Конечно, так было только в наше время, — сказала она отрывисто и презрительно, — когда у нас, женщин, был еще огонек под бельем.

Лицо у нее вдруг обмякло, и целая сеть морщин наметилась вокруг глаз и рта. Со злости она даже начала грызть ноготь, длинный острый ноготь, покрытый перламутром.

— Когда вы ушли, вам вручили диплом?

— Да, конечно. Удивительной красоты. — Опять вернулась на лицо усмешка шаловливого подростка и заняграли глаза. — Хотите посмотреть?

— Да.

Она грациозно встала и, покачивая бедрами, вышла из комнаты. Брюнетка в совершенном ужасе поглядела на Иенсена. Хозяйка вернулась, прижимая документ к груди.

— Вы только подумайте: все сколько-нибудь значительные личности поставили здесь свои подписи. Даже одна принцесса.

Она развернула диплом. Пустая левая сторона была вся испещрена подписями.

— Мне думается, это был самый дорогой подарок из сотен полученных мной подарков. Со всех концов страны, хотите посмотреть?

— Спасибо, это не требуется, — сказал Иенсен.

Она растерянно улыбнулась.

— Скажите тогда, почему вы, полицейский комиссар, приходите ко мне и высматриваете меня?

— Я не уполномочен обсуждать этот вопрос, — ответил Иенсен.

Целая серия разнообразнейших выражений сменилась за секунду на ее лице. Потом она всплеснула руками, беспомощно, совсем по-бабьи и искорно сказала:

— Ну что ж, тогда я подчиняюсь...

Они вышли вместе с брюнеткой. Едва лифт тронулся, спутница Иенсена всхлипнула и сказала:

— Не верьте ни единому слову. Она все врет, она страшная женщина, она просто чудовище. Про нее рассказывают такие ужасы.

— Да?

— Она ходячее воплощение гнусности и любопытства. Она до сих пор держит в руках все нити, хотя из издательства ее удалось выжить. А теперь она заставляет меня шпионить. Каждую среду и субботу я должна являться к ней и приносить подробный отчет. Ей надо быть в курсе.

— Зачем же вы соглашаетесь?

— Неужели не поняли? Да стоит ей захотеть — она прищемит меня за десять минут, как вонь. Она извращается надо мной. Ох, господи...

Иенсен ничего не ответил. Когда они спустились вниз, Иенсен снял фуражку и распахнул перед ней двери лифта. Молодая женщина боязливо глянула на него и выбежала на улицу.

Движение за это время стало заметно меньше. Была суббота. Часы показывали без пяти четыре. В правом подреберье опять заныло...

Иенсен выключил зажигание, но не вышел из машины, и открытый блокнот по-прежнему лежал на баранке. Только что Иенсен сделал следующую запись: «№ 4, худо-

жественный директор, не замужем, 20 лет, ушла по собственному желанию».

Номер четыре тоже была женщина.

Дом, где она жила, был расположен на другой стороне улицы. Не очень новый, но вполне ухоженный дом. Квартира ее оказалась внизу, не пришлось подниматься. Иенсен позвонил. Безрезультатно. Позвонил еще несколько раз, потом дал один резкий продолжительный звонок и даже подергал ручку. Заперто. Из-за двери не доносилось ни звука. Он постоял немного в молчании. Тем временем за дверью зазвонил телефон. Тогда Иенсен вернулся в машину, открыл блокнот, пропустил в нем пять чистых страниц и на шестой написал: «№ 5, журналист, холост, 52 года, срок службы истек в соответствии с контрактом».

На сей раз ему повезло: нужная улица находилась в этом же районе, всего через каких-нибудь пять кварталов.

И дом очень напоминал тот, в котором Иенсен побывал десять минут назад: длинное, жалюзное пятиэтажное здание, стоящее под углом к улице. Весь район был застроен точно такими же панельными домами.

На дверях висела дощечка с именем владельца. Имя было составлено из газетных букв. Часть букв стерлась, некоторые отклеились, и прочесть имя было несложно. Звонок работал, и в квартире за закрытой дверью кто-то возился, но открыли дверь не раньше чем через несколько минут.

Открывший казался старше своих лет и, судя по всему, совершиенно за собой не следил: всклокоченные длинные волосы и густая седая щетина на лице. На нем была грязная кремовая рубашка, брюки, съехавшие ниже пояса, и стоптанные черные ботинки. Иенсен нахмурил брови. По нынешним временам плохо одетые люди стали музейной редкостью.

— Я Иенсен, комиссар шестнадцатого участка, я веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места работы.

Значок он показывать не стал.

— Предъявите документы, — немедленно отозвался хозяин, и Иенсен показал ему свой эмалированный жетончик.

— Входите, — сказал хозяин. Он держался очень уверенно, чтобы не сказать заносчиво.

Беспорядок в квартире производил прямо-таки сокру-

шительное впечатление. На полу валялись бумаги, газеты, книги, гнилые апельсины, набитые доверху пакеты для мусора, грязное белье и немытая посуда. Меблировку составляли несколько деревянных стульев, два полуживых кресла, один колченогий стол и диван с неубранной постелью. На столе все было сдвинуто к одному краю, вероятно, чтобы освободить место для пишущей машинки и объемистой рукописи. Поверх всего лежал толстый слой пыли. Воздух в комнате был затхлый и с явной примесью спирта. Хозяин освободил и вторую часть стола с помощью свернутой в трубку газеты. Обрывки бумаги, какая-то домашняя утварь и очистки шлепнулись на пол.

— Садитесь! — он придвинул Иенсену стул.

— Вы пьяны, — сказал Иенсен.

— Нет, не пьяны, а под хмельком. Я ни разу в жизни не был пьяны, а под хмельком я почти всегда. Но между первым и вторым имеется существенная разница.

Иенсен сел. Небритый хозяин наклонился к нему.

— А вы наблюдательны, иначе бы вы ни за что этого не заметили. Большинство не замечает.

— Когда вы ушли оттуда?

— Два месяца назад. А почему вы спрашиваете?

Иенсен положил блокнот на стол и начал его перелистывать. Когда он дошел до той страницы, где был записан номер третий, хозяин заглянул через его плечо:

— Ого, я очутился в изысканном обществе, — сказал он.

Иенсен молча перелистывал блокнот.

— Меня удивляет, что вы побывали у этой ведьмы и сохранили рассудок, — сказал хозяин и обошел вокруг стола. — Вы у нее были дома? Вот уж ни за что бы не рискну!

— Вы ее знаете?

— Ну еще бы. Я уже работал в журнале, когда она пришла. Ее назначили главным редактором. И я усидел на месте в течение года.

— Усидели?

— Ну, я был тогда сильней и моложе.

Он сел на диван, запустил правую руку под груду грязных одеял, простынь и подушек и достал бутылку.

— Раз вы все равно догадались, дальнейшее не играет никакой роли. Кроме того, как уже говорилось, я не пьянею. Я только становлюсь более решительным.

Иенсен не сводил с него глаз.

Хозяин глотнул из бутылочки, отставил ее и спросил:

— А чего вам, собственно говоря, нужно?

— Некоторые сведения.

— О чем?

Иенсен не ответил.

— Если вы желаете получить некоторые сведения об этой старой стерве, вам повезло. Мало кто знает ее лучше, чем я. Я мог бы написать ее биографию.

Хозяин умолк, но, видимо, не потому, что ждал ответа. Он, прищурясь, взглянул на посетителя, потом обратил взгляд к окну, мутному от грязи. Несмотря на опьянение, взгляд у него был цепкий и внимательный.

— А вы знаете, как она сделалась главным редактором крупнейшего журнала в стране?

Иенсен промолчал.

— Жаль, — задумчиво пробормотал хозяин. — Очень жаль, что об этом почти никто не знает. А ведь ее вступление в должность представляет собой переломный момент в истории печати.

Наступила тишина. Иенсен без тени любопытства смотрел на хозяина и крутил между пальцами авторучку.

— Вы знаете, кем она работала, прежде чем податься в главные редакторы?

Хозяин гаденько захихикал.

— Уборщицей. А вы знаете, где она убирала?

Иенсен изобразил маленькую пятиконечную звездочку на чистой странице блокнота.

— В святая святых. На этаже, где помещается дирекция концерна. Как она туда прорвалась, я вам не скажу, но, уж конечно, не по воле случая.

Он нагнулся, поднял бутылку.

— Она могла и не такое устроить. Понимаете, она была обаятельна, до чертиков обаятельна. Так думал каждый, пока не знакомился с ней.

Он сделал глоток.

— В то время уборка производилась после рабочего дня. Уборщицы приходили к шести. Все, кроме нее. Она приходила на час раньше, когда шеф, как правило, сидел у себя в кабинете. Шеф обычно отпускал секретаршу в пять часов, чтобы оставшийся час без помех заняться чем-то другим. Не знаю, чем именно. Но могу догадаться, — добавил он и поглядел в окно.

Уже смеркалось. Иенсен посмотрел на часы. Четверть седьмого.

— Точно в четверть шестого она открывала дверь его кабинета, заглядывала туда, говорила: «Ах, простите», — и снова закрывала дверь. Когда он уходил домой или просто шел в туалет или еще куда-нибудь, он всякий раз успевал заметить, как она скрывается за углом коридора.

Иенсен раскрыл было рот, хотел что-то сказать, но тут же передумал.

— Особенno соблазнительной казалась она со спины. Я хорошо помню, как она выглядела. Она носила голубую юбку, белую косынку, белые туфли на деревянной подметке — только на босу ногу. Должно быть, она кое-что пронюхала. Помнится, про шефа ходили разговоры, что он не может равнодушно видеть подколенные ямки ни у одной женщины.

Хозяин встал, волоча ноги, подошел к выключателю и зажег свет.

— С тех пор как шеф начал повсюду натыкаться на нее, дело двинулось вперед семимильными шагами. Он у нас славился по этой части. Говорили также, что он любит знакомиться по всем правилам. Вот пижон, верно? И знаете, что было дальше?

Лампочка под потолком была окутана толстым слоем пыли и светила сквозь него робко и неверно.

— Она ему толком не отвечала. Пробормочет что-то смиренное и невразумительное и уставится на него глазами лани. И так все время.

Иенсен добавил к первой вторую звездочку. Шестикопечную.

— После этого она накрепко засела у него в голове. Он рыл землю носом. Он пытался выяснить ее адрес. Не вышло. Черт ее знает, где она обитала в ту пору. Говорили даже, что он посыпал людей высследить ее, но она ускользала от них. Потом она начала приходить на пятнадцать минут позже срока. А он все сидел. Она приходила с каждым днем позже и позже, а он по-прежнему сидел у себя в кабинете и делал вид, будто чем-то занят. И вот как-то раз...

Он умолк. Иенсен терпеливо ждал полминуты. Потом он поднял глаза и без всякого выражения посмотрел на рассказчика.

— Можете себе представить, что шеф совершиенно ошалел. Однажды она вообще заявилась в половине девя-

точного, когда остальные уборщицы давно ушли. В кабинете у него было темно, но она прекрасно знала, что он еще здесь, потому что видела на вешалке его пальто. И вот она начала расхаживать по коридору, грохоча деревянными подметками, а потом вдруг взяла свое ведро, вошла к нему и захлопнула за собой дверь.

Он рассмеялся громко и с клекотом.

— Чего бы-ло! — сказал он. — Шеф стоял, притаившись за дверью, в одной рубашке, он взвыл и как набросится на нее; содрал с нее платье, опрокинул ведро, повалил ее на пол. Она, конечно, отбивалась, и вошла, и...

Рассказчик перебил себя на полуслове и поглядел на слушателя с нескрываемым торжеством.

— ...и как, по-вашему, чем это все кончилось?

Иенсен упорно созерцал какой-то предмет на полу, и определить, слушает ли он, было затруднительно.

— В эту секунду почной вахтер, в форме, конечно, и со связкой ключей на животе, распахнул дверь и посветил своим фонарем. Когда он увидел такую картину, он до смерти напугался, быстро захлопнул дверь, и давай бог ноги. А шеф пропустил за ним. Вахтер — в лифт, а шеф за ним — успел вскочить, прежде чем закрылись двери. Он думал, что вахтер поднимет страшный шум, а бедняга просто до смерти перенесся и решил, что его прогонят с работы. Уж конечно, она все наперед рассчитала и знала с точностью до секунды, когда вахтер делает обход и засекает время на контрольных часах.

Рассказчик прямо забулькал от подавляемого смеха и самозабвенно зацуркал руки в сбитые простины.

— Итак, вообразите: шеф концерна садится в лифт в одной нижней рубашке, а вместе с ним едет окаменевший от страха вахтер в полной форме, даже при головном уборе, с фонарем, дубинкой и болтыней связкой ключей. Ну, доехали они почти до бумажного склада, тут кто-то из них спохватился, остановил лифт, нажал другую кнопку, и они снова поехали вверх. Но пока они добрались доверху, вахтер успел из вахтера превратиться в коменданта здания, несмотря на то, что за все время не издал ни звука.

Рассказчик умолк. Огонь в его глазах погас, он сразу спокойствовал.

— Прежний комендант получил отставку за неумение подбирать кадры.

Потом начались переговоры, и уж тут она разыграла

все как по потам, потому что ровно через неделю мы узнали из приказа по редакции, что наш главный редактор отстранен от должности, а еще через пятнадцать минут в редакцию заявилась она, и тут пошла такая свистопляска...

Рассказчик вдруг спохватился, что у него есть бутылка, и отхлебнул из нее.

— Понимаете, журнал у нас был неплохой, но расходился он плохо. Хотя мы писали исключительно о принцессах и о том, как наилучшим образом печь пряники, — для широких читательских кругов он был все-таки чересчур сложен, и шел даже разговор о том, чтобы прикрыть его. Но тут...

Он испытующе поглядел на Иенсена, чтобы установить лучший контакт с аудиторией, но поймать его взгляд так и не сумел.

— Она учинила форменный погром. Практически она разогнала почти всех сотрудников и набрала на их место самых феноменальных идиотов. Ответственным секретарем редакции она назначила одну парикмахершу, которая даже не подозревала о том, что на свете существует точка с запятой. Когда ей первый раз попалась на глаза пишущая машинка, она зашла ко мне спросить, что это такое, а я так дрожал за свое место, что не смел даже огрызнуться. Помнится, я ответил, что, должно быть, мы имеем дело с очередной выдумкой всяких там интеллигентов.

Он задвигал беззубыми челюстями.

— Эта гадина ненавидела все причастное к интеллигентности, а с ее точки зрения интеллигентностью считалось решительно все, начиная с умения связно излагать свои мысли на бумаге. Я смог усидеть единственno потому, что «вел себя не так, как другие, — не умничал». И потому, что взвешивал каждое свое слово. Я помню, как один репортер из новеньких сдуру рассказал ей историю о другом главном редакторе, нарочно, чтобы выслушаться. История была подлинная и до чертиков смешная. Вот послушайте: какой-то сотрудник идеологического отдела явился к редактору отдела культуры в одном из крупнейших журналов и сказал, что Август Стриндберг — мировой писатель и что картину «Фрекен Юлия» можно, без сомнения, напечатать в иллюстрациях, если предварительно слегка переработать ее, убрать из нее классовые различия и другие непонятные места. Редактор глубоко

комысленно нахмурился, затем переспросил: «Как, ты говоришь, его зовут?» А идеолог ему и отвечает: «Август Стриндберг, будто сам не знаешь». И тогда редактор сказал: «Не возражаю. Скажи ему, чтоб он забежал завтра в «Гранд-отель» часиков около двенадцати. Мы с ним позавтракаем и перетолкуем насчет гонорара». Ну, репортер, стало быть, все это ей и рассказал. А она смерила его ледяным взором и говорит: «Не нахожу в этом ничего смешного». И спустя два часа он уже собирая свои манатки.

Рассказчик снял захихикал себе под пос. Иенсен поднял глаза и без выражения посмотрел на него.

— Сейчас начнется самое пикантное. Эта ведьма благодаря своей уникальной глупости сумела вдвое увеличить тираж за полгода. Журнал заполонили фотографии собак, и детей, и кошек, и цветов, и гороскопы, и френология, и как надо гадать на кофейной гуще, и как поливать герань, и ни одной запятой не было там, где положено, а народ его покупал. То малое, что имеловалось текстом, было так ничтожно и так пакивно! Оно вполне могло выдержать конкуренцию с тем, что пишется сегодня. Мне, черт меня подери, не разрешали написать слово «локомотив», не объяснив, что это, мол, такой аппарат на колесах, он ходит по рельсам и тянет за собой вагоны. А для нашего шефа это была великая и знаменательная победа. Все в один голос превозносили его беспримерную дерзость и дар предвидения и утверждали, что этот маневр произвел революцию в журнальном деле и заложил основы современной журналистики.

Он еще раз приложился к бутылке.

— Все складывалось блестяще. Только одна ложка дегтя портила бочку меду — наш вахтер. Он так загордился своей новой должностью, что не мог утаить, как она ему досталась. Но скоро этому пришел конец. Через полгода он погиб, вылезая из кабины неизрывающего лифта. Кабина застряла, не достигнув этажа, а когда он начал вылезать из нее, снова тронулась. И его просто-напросто разрезало пополам. Поскольку все знали, как он глуп, проще всего было предположить, что это произошло по его собственной вине.

Рассказчик прижал ладонь к тубам и долго, натужно кашлял. Когда кашель улегся, он продолжал:

— А она свирепствовала дальше. Она пообтесалась, и претензии у нее с каждым годом становились все без-

удержнее. Журнал был забит фасонами каких-то немыслимых платьев. Ходили слухи, что она получает взятки от фабрикантов. Наконец ее удалось спровадить, но за большую цену. Шефу пришлось выложить четверть миллиона наличными, чтобы она согласилась раньше срока уйти на покой — с полной пенсии.

— А почему ушли вы?
— Какое это имеет отношение к делу?
— Почему ушли вы?

Бутылка была пуста. Хозяин передернул плечами и возбужденно объяснил:

— Меня устранили. Без разговоров. И не выплатили ни единого эре в награду за все эти годы.
— По какой причине?

— Просто хотели избавиться от меня. Должно быть, мне не хватало виличий импозантности. Я не мог достойно представлять издательство. А кроме того, я исписался и не мог выjść из себя ни одной строчки, самой дурацкой. Так кончаем мы все.

— Это и послужило официальным поводом?

— Нет.

— Что же послужило официальным поводом?

— Я выпивал прямо в редакции.

— И вы сразу же ушли?

— Да. То есть формально меня не уволили. Мой контракт был составлен так, что давал им возможность в любое время выставить меня за дверь.

— Вы протестовали?

— Нет.

— Почему?

— Бесмысленно. Им посчастливилось подобрать такого директора по кадрам, который раньше возглавлял профсоюз журналистов и до сих пор заправляет там по своему усмотрению. Он знает все ходы и выходы. Ни один простой смертный не может с ним тягаться. Захочешь пожаловаться, к нему же и попадешь. Как он решит, так оно и будет. Хитро придумано, но так обстоят дела повсюду. Их юрисконсульты по налогам одновременно состоят на жалованье в министерстве финансов. И если раз в пять лет раздается какая-нибудь критика по адресу еженедельников, можете не сомневаться, что они сами сочинили ее для своих же ежедневных выпусков. Но так обстоят дела повсюду.

— И от этого вы ожесточились?

— Не думаю. Это время уже миновало. Кто в наши дни способен ожесточиться?

— Вы получили диплом, когда уходили?

— Не исключено. Внешне там комар носу не подточит. Директор по кадрам знает толк в таких делах. Он улыбается и протягивает вам сигару одной рукой, а другой хватает вас за глотку. Вообще-то он похож на жабу.

Хозяин уже явно не мог сосредоточиться.

— Вы получили диплом или нет?

— Какое это имеет отношение к делу?

— Вы получили диплом или нет?

— Может, и получил.

— Вы сохранили его?

— Не знаю.

— Покажите.

— Не могу и не хочу.

— Он здесь?

— Не знаю. Даже если здесь, мне его не найти. А вы сами могли бы здесь что-нибудь найти?

Иенсен огляделся, потом захлопнул блокнот и встал.

— До свиданья.

— Но вы мне так и не сказали, зачем вы приходили.

Иенсен не ответил. Он надел фуражку и вышел из комнаты. Хозяин продолжал сидеть среди грязных простынь. Он казался серым и попошенным, и взгляд у него был сонный-сонный.

Иенсен включил селектор, вызвал полицейский автобус и указал адрес.

— Злоупотребление алкогольными напитками на дому. Доставьте его в шестнадцатый участок. И поживей.

На другой стороне улицы Иенсен увидел телефон-автомат, зашел в кабину и позвонил начальнику патруля.

— Домашний обыск. Срочно. Что нужно искать, вам известно.

— Да, комиссар.

— Затем идите в участок и ждите. Его не выпускайте впредь до получения дальнейших распоряжений.

— Под каким предлогом?

— Под каким хотите.

— Понял.

Иенсен вернулся к машине. Едва он отъехал на каких-нибудь пятьдесят метров, ему встретился полицейский автобус.

Сквозь почтовую щель пробивался слабый свет. Иенсен достал блокнот и еще раз пробежал глазами свои заметки: «№ 4. Художественный директор. 20 лет. Не замужем. Ушла по собственному желанию». Потом он спрятал блокнот в карман, достал значок и нажал кнопку звонка.

— Кто здесь?

— Полиция!

— Будет заливать! Я ведь уже сказала раз и навсегда, что это вам не поможет. Я не хочу.

— Откройте.

— Ни за что. Я не хочу!

— Откройте!

— Убирайтесь отсюда! Оставьте меня, ради бога, в покое. И передайте ему, что я не хочу.

Иенсен дважды ударил в дверь кулаком.

— Полиция! Откройте!

Двери распахнулись. Она смерила его недоверчивым взглядом.

— Нет, — сказала она. — Нет, это уже заходит слишком далеко.

Иенсен шагнул через порог и показал ей свой жетон.

— Я Иенсен, комиссар шестнадцатого участка. Я веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и прежнего места работы.

Она вытаращила глаза на эмалированный значок и поняла, что ее изменили.

Она была совсем молоденчая, черноволосая, с серыми глазами чуть навыкате и упрямым подбородком, а одета в клетчатую рубашку навыпуск, брюки цвета хаки и резиновые сапоги. И еще она была длинноногая, с очень тонкой талией и крутыми бедрами. Когда она сделала шаг, сразу стало заметно, что под рубашкой у нее ничего не надето. Коротко остриженные волосы были не расчесаны, и косметики она явно не употребляла.

Чем-то она напоминала женщин на старинных картинах.

Трудно было определить выражение ее глаз. В них одинаково читались злость и страх, отчаяние и решимость.

Брюки у нее были измазаны краской, в руках она держала кисть. На полу среди комнаты лежали разостланые

газеты, на газетах стояла качалка, явно предназначенная для окраски.

Иенсен обвел комнату глазами. Остальная мебель тоже выглядела так, словно ее нарочно сгребли в кучу, чтобы потом раскрасить в радостные цвета.

— Оказывается, вы говорили правду, — сказала она. — С него сталося натравить на меня полицию. Только этого еще не хватало. Но я должна вас заранее предупредить: вы меня не запугаете. Можете посадить меня, если найдете подходящий повод. На кухне у меня хранится бутылка вина. При желании можете прицепиться к этому. Мне все равно. Лучше что угодно, чем так, как сейчас.

Иенсен достал блокнот.

— Когда вы ушли оттуда?

— Две недели назад. Не явилась на работу — и все. У вас это считается преступлением?

— А сколько вы там проработали?

— Две недели. Более дурацких вопросов вы не могли придумать, чтобы мучить меня? Я ведь уже сказала, что это ни к чему не приведет.

— Почему вы ушли?

— А вы как думаете? Потому что я не могла больше вытерпеть, чтобы ко мне приставали каждую минуту и следили за каждым моим шагом.

— Вы были художественным директором?

— Никаким не директором. Я служила в отделе оформления. У них это называется клейбарышни. Но я еще клеить толком не выучилась, когда началась эта комедия.

— В чем заключаются обязанности художественного директора?

— Не знаю. По-моему, он сидит и перерисовывает буквы, а то и целые страницы из иностранных журналов.

— Почему же вы ушли с работы?

— Господи, неужели даже полиция у них на жалование? Неужели у вас нет ни капли сострадания? Кланяйтесь тому, кто вас послал, и передайте, что ему больше пристало сидеть в сумасшедшем доме, чем валяться в моей постели.

— Почему вы ушли?

— Потому что не выдержала. Неужели так трудно понять? Он положил на меня глаз через несколько дней после моего поступления. Один знакомый фотограф упр

сил меня сняться для какого-то медицинского текста или уж не помню для чего. И он увидел этот снимок. Я без стеснения поперлась с ним в какой-то подозрительный ресторанчик. Потом я сдуру пригласила его к себе. А на следующую ночь он мне позвонил, он, значит, сам позвонил мне и спросил, не найдется ли у меня дома бутылки вина. А я послала его к черту. И тут-то все и началось.

Она стояла, широко расставив ноги, и в упор смотрела на Иенсена.

— Что вы хотите от меня услышать? Ну что? Что он сидел здесь, у меня, на полу, и три часа держал меня за ногу, и жалобно подывал? И что его чуть не хватил удар, когда я под конец вырвала у него свою ногу и просто пошла и легла спать?

— Воздержитесь от ненужных подробностей.

Она вывернула кисть в сторону кресла. Красные брызги осели на резиновых сапогах.

— Да, да, — возбужденно сказала она. — В конце концов я бы даже могла переспать с ним, если бы все было так просто. Почему бы и нет в конце концов? Должен же у человека быть какой-нибудь интерес в жизни. У меня, правда, глаза слипались, но я же не могла предположить, что он просто осатанеет, когда увидит, как я раздеваюсь. Вы себе не можете представить, в каком аду я прожила эти две недели. Ему нужна была я. Ему нужны были мои свободные, естественные инстинкты. Он собирался послать меня в кругосветное путешествие. Я должна была помочь ему восполнить какие-то потери. Он хотел назначить меня главным редактором познамо чего. Это меня-то главным редактором! «Нет, дарлинг, там ничего не нужно уметь! Тебе не интересно? Ах, дарлинг, стоит ли об этом говорить!»

— Повторяю: воздержитесь от ненужных подробностей.

Она запнулась и поглядела на него, наморщив лоб.

— А вы не от... это не он вас послал?

— Нет. Вам вручили диплом?

— Да, но...

— Покажите.

В глазах у нее застыло изумление. Она подошла к голубому секретеру, стоявшему у стены, выдвинула ящик и достала оттуда диплом.

— Только у него не совсем приличный вид, — сказала она смущенно.

Иенсен развернул диплом. Кто-то умудрился снабдить золотой текст красными восклицательными знаками. На первой странице красовалось несколько ругательств — тоже красных.

— Я понимала, что это нехорошо, но я так рассвирепела... Смех, да и только. Я проработала там всего четырнадцать дней и за эти четырнадцать дней только успела, что позволила три часа держать себя за ногу, один раз разделась догола, а потом надела пижаму.

Иенсен спрятал блокнот в карман.

— Всего доброго, — сказал он.

Когда он вышел на лестничную площадку, его скрутила боль в правом подреберье. Она началась внезапно и без предупреждений. У него потемнело в глазах, он сделал неуверенный шагок и навалился плечом на дверной косяк.

Она выскочила сразу.

— Что с вами? Вы больны? Зайдите ко мне, присядьте. Я вам помогу.

Он почувствовал ее прикосновение. Она поднирала его плечом. Он успел заметить, какая она теплая и мягкая.

— Подождите, — сказала она. — Я принесу вам воды.

Она помчалась на кухню и тотчас вернулась.

— Выпейте. Может, вам еще что-нибудь нужно? Не хотите ли прилечь? Простите, что я так по-дурацки себя вела. Я просто не сообразила, что к чему. Один из тех, кто там заправляет, я не стану вам его называть, все это время преследует меня...

Иенсен вытянулся. Боль не утихла, просто он начал привыкать к ней.

— Простите меня, — повторила она. — Я просто не поняла цели вашего прихода. Я и до сих пор ее не понимаю. Вечно я ошибаюсь. Порой мне начинает казаться, что во мне есть какой-то изъян, что я не такая, как все. Но я хочу чем-то интересоваться, хочу что-то делать и хочу сама решать, что именно. Я и в школе была не такая, как все, и вечно задавала какие-то вопросы, которых никто не понимал. А меня они интересовали. И теперь я другая, не такая, как все женщины. Я и сама это чувствую. И выгляджу-то я не так, и даже запах у меня другой. Наверно, я просто сумасшедшая или весь мир сумасшедший. Не знаю, что хуже.

Боль начала отступать.

— Советую вам держать язык за зубами, — сказал Иенсен. И, надев фуражку, пошел к машине.

На пути в город Иенсен связался по селектору с дежурным шестнадцатого участка. Люди, отправленные с обыском, еще не возвращались. В течение дня ему несколько раз звонил начальник.

Когда он добрался до центра, шел уже двенадцатый час, иссяк нескончаемый поток машин и опустели тротуары. Боль угнездилась теперь чуть пониже и стала привычной, глухой и поноющей. Во рту пересохло, и очень хотелось пить, как всякий раз после приступа. Он остановился перед небольшим кафе, благо его до сих пор не закрыли, и попросил бутылку минеральной воды. Сверкала металлическая стойка, сверкали зеркальные столы. Кроме шести парней лет по семнадцать-восемнадцать, в кафе никого не было. Они сидели за одним столом, сонно пялились друг на друга и молчали. Буфетчик читал один из ста сорока четырех журналов и зевал. Три телевизора передавали легкую развлекательную программу. Программа сопровождалась искусно смонтированными, хотя и не совсем натуральными, взрывами смеха.

Медленно, маленькими глотками Иенсен выпил минеральную воду и почувствовал, как забулькал, сокращаясь, пустой желудок. Немного посидев, Иенсен встал и проследовал в туалет. Там на полу лежал хорошо одетый господин средних лет, сунув руку прямо в каменный желоб. От господина разило спиртом, на рубашке и пиджаке виднелись следы рвоты. Глаза у него были открыты, но взгляд — невидящий и бессмысленный.

Иенсен вернулся, подошел к стойке.

— У вас в туалете лежит пьяный.

Буфетчик пожал плечами и продолжал разглядывать цветные иллюстрации.

Иенсен достал значок. Буфетчик сразу отложил журнал и подошел к телефонному аппарату для вызова полиции. Все предприятия общественного питания имели прямую связь с радиофицированным патрулем ближайшего участка.

За пьяным пришли сонные и усталые полицейские.

Когда они выволакивали арестованного, голова его несколько раз ударила о выкрашенный под мрамор пол.

Пришли они из другого участка, скорей всего из одиннадцатого, и потому не узнали Иенсена.

Когда часы показывали без пяти двенадцать, буфетчик, боязливо покосившись на посетителя, начал запирать. Иенсен вышел, сел в машину и вызвал своего дежурного. Группа только что вернулась с обыска.

— Все в порядке, — доложил начальник патруля. — Мы нашли его.

— Он целый?

— Да, в том смысле, что есть оба листа. Только между ними лежал растоптанный кружок колбасы.

Иенсен промолчал.

— Это отняло у нас много времени, — продолжал начальник патруля, — да ведь и задача была не из легких. Там такая свалка, одной бумаги десятки тысяч страниц.

— Проследите, чтобы хозяина квартиры освободили завтра с утра обычным порядком.

— Понял.

— Еще одно.

— Слушаю, комиссар.

— Сколько-то лет назад комендант Дома погиб в лифте.

— Так.

— Выясните подробности. Соберите также сведения о самом погибшем. Особенно семейные обстоятельства.

— Понял. Разрешите доложить?

— Да.

— Вас искал начальник полиции.

— Он что-нибудь просил передать?

— Нет, насколько мне известно.

— Покойной ночи. — Иенсен повесил трубку. Где-то неподалеку часы пробили полночь — двенадцать тихих, гулких ударов.

Миновал шестой день. До конца срока оставалось ровно двадцать четыре часа.

Домой он ехал не спеша. Физически он устал до предела, но знал, что все равно скоро не заснет, а времени для сна оставалось немного.

Ни одной машины не встретил он в длинном, ярко освещенном туннеле с белыми стенами. Южнее за туннелем начинался промышленный район. Сейчас он был тих и всеми покинут. Под луной серебрились алюминиевые газгольдеры и пластические крыши фабричных корпусов.

На мосту его перегнал полицейский автобус, а почти сразу же за автобусом — карета «Скорой помощи». Оба ехали на большой скорости и с включенными сиренами.

На полдороге его остановил полицейский кордон. Полицейский с фонарем в руках, по-видимому, узнал Иенсена: когда Иенсен опустил боковое стекло, тот откликнулся и доложил:

— Дорожное происшествие. Один погибший. Разбитая машина загородила проезжую часть. Через несколько минут мы расчистим дорогу.

Иенсен кивнул. Он сидел, не поднимая стекла, чтобы холодный ночной воздух беспрепятственно врывался в машину. А сам тем временем думал о том, что дорожных происшествий из года в год становится все меньше, а число погибших в результате аварий, наоборот, возрастает. Эксперты в транспортном министерстве уже давно разрешили эту статистическую загадку. Уменьшение числа дорожных происшествий и размеров материального ущерба можно объяснить улучшением качества дорог и бдительностью регулировщиков. Но важнее здесь чисто психологический фактор: люди сейчас больше зависят от своих автомобилей, а потому обращаются с ними бережнее и — сознательно или бессознательно — боятся только одного — потерять машину. Увеличение числа аварий со смертельным исходом объясняется тем, что большинство из них можно бы по праву квалифицировать как самоубийства. Но и здесь решающую роль играет психологический фактор: люди живут вместе со своими машинами и ради них, а потому хотят и умирать вместе с ними. Все это Иенсен знал из одного исследования, проделанного несколько лет назад. Конечно, оно проходило в обстановке строжайшей секретности, но высшие полицейские чины могли ознакомиться с его результатами.

Дорогу расчистили через восемь минут. Иенсен поднял стекло и включил зажигание. На бетонированном шоссе лежал чуть заметный налет изморози, а там, где

произошла катастрофа, под лучами прожекторов четко выделялись отпечатки шин. Но возникли они не от юза и не от экстренного торможения, а от столкновения машины с бетонным столбом на обочине. Сомнительно, чтобы при таких обстоятельствах можно было рассчитывать на выплату страховой премии. Хотя, как всегда, не исключалось и самое естественное объяснение: водитель устал и заснул за рулем.

Иенсен чувствовал какую-то смутную неудовлетворенность, словно что-то упустил или сделал не так, как надо. Когда он пытался проанализировать это чувство, у него вдруг от голода засосало под ложечкой. Он отогнал машину на стоянку перед седьмым домом в третьем ряду, сбежал к продовольственному автомату и нажатием кнопки извлек из него пакет синтетического молочного супа для диетпитания.

У себя он прежде всего снял и аккуратно повесил пальто и пиджак, потом зажег свет. Опустив жалюзи, он прошел на кухню, отмерил полтора ценных три десятых литра воды, налил их в кастрюлю и высыпал туда суповой порошок. Когда смесь разогрелась, он перелил ее в большую чашку и вернулся в комнату. Здесь он поставил чашку на тумбочку, сел на кровать и распинировал ботинки. Часы показывали четверть третьего, и тишина кругом стояла полная. Ему все так же казалось, будто он что-то упустил или сделал не так, как надо.

Он достал из пиджака блокнот, включил бра над кроватью и погасил верхний свет. Прихлебывая суп, он тщательно проштудировал свои заметки. Суп был густой, вязкий и к тому же безвкусный и какой-то затхлый.

Когда заметки были прочитаны, Иенсен поднял взгляд и долго рассматривал фотографии, сделанные в полицейской школе. Иенсен и себя пашел на фотографии: он стоял в заднем ряду, крайний справа, скрестив руки на груди и неуверенно улыбаясь. Судя по всему, он что-то говорил своему соседу как раз в ту минуту, когда фотограф щелкнул затвором.

Затем Иенсен встал и вышел в переднюю. Здесь он открыл двери гардероба и взял с полки одну из бутылок, что рядами лежали вдоль стены под прикрытием форменных фуражек.

Из кухни он принес стакан, почти доверху наполнил его водкой и поставил на тумбочку около чашки с супом.

Развернув список с девятью именами, он тоже поло-

жил его на тумбочку перед собой. Положил и начал разглядывать.

Электрические часы в кухне отметили время тремя короткими звонками.

Иенсен открыл чистую страницу в блокноте и записал: «№ 6, 38 лет, разведенный, отдел общественных отношений, в связи с переходом на другую работу».

Переписывая адрес, Иенсен чуть заметно покачал головой. Потом он поставил будильник на нужный час, погасил свет, разделся догола, надел пижаму и сел в постели, укрывшись одеялом. Суп разбухал в желудке как на дрожжах, и казалось, словно кто-то снизу давит на сердце.

Стакан он выпил в два присеста. Шестидесятиградусный спирт обжег язык и огненной стрелой вонзился в пищевод.

Иенсен лежал на спине, широко раскрыв глаза, и дожидался сна.

24

Иенсен так и не смог уснуть. С трех часов до двадцати минут шестого он лежал в каком-то забытьи, не в силах ни мыслить, ни избавиться от мыслей. Разбитый и мокрый от пота, встал он по звонку будильника, а спустя сорок минут уже сидел в машине.

Путь его лежал к северу, за двести километров отсюда. И поскольку день был воскресный, он рассчитывал добраться туда за три часа.

Город был тих и безлюден, пустые гаражи, голые стоянки, но система регулировки, как всегда, делала свое дело, и по дороге через центр Иенсен десять раз останавливался перед красным светофором.

Дорога была прямая, удобная, пейзаж по обеим ее сторонам незанимательный. Изредка мелькали отдаленные пригороды и тянулись к небу «самооздоровительные» участки. Между линией горизонта и автострадой торчали какие-то сухие и унылые насаждения — то искривленные деревья, то низкий колючий кустарник.

В восемь часов Иенсен свернул к бензоколонке — заправиться. Там же он выпил стакан остывшего чая и позвонил по автомату в два места.

Начальник патруля говорил сплюм, усталым голо-

сом. Должно быть, звонок Иенсена поднял его с постели.

— Это случилось девятнадцать лет назад, — доложил он. — Комендант застрял в лифте, и его разрезало пополам.

— По делу велось следствие?

— Нет, только стандартная запись в журнале. Слишком простое дело — его классифицировали как несчастный случай — элементарный обрыв на линии, из-за которого лифт остановился на несколько минут, а потом без постороннего вмешательства пришел в движение. Так что он погиб из-за собственной халатности.

— А как родственники?

— У него не было семьи. Он жил в гостинице для холостяков.

— Он что-нибудь оставил?

— Да. Довольно крупную сумму.

— Кто ее унаследовал?

— Никто из родственников не объявился в установленные сроки, и деньги отошли государству.

— Еще что?

— Пустяки, не стоящие упоминания. Он жил отшельником в отдельном номере, друзей не имел.

— До свидания.

Полицейского, который был откомандирован в архив периодических изданий, Иенсен тоже застал дома.

— Говорят Иенсен.

— Слушаю, комиссар.

— Какие результаты?

— Вы не получили мое докесение?

— Нет.

— Я вчера утром завез его.

— Доложите устно.

— Одну минуту, я попытаюсь все восстановить в памяти.

— Жду.

— Все буквы для письма взяты из одной газеты, но за разные дни. Они вырезаны из двух номеров — за пятницу и за субботу прошлой недели. Этот шрифт носит название «бодони».

Иенсен достал блокнот и записал полученные сведения на внутренней стороне обложки.

— Что еще?

Полицейский ответил не сразу.

— Еще вот что: искомое сочетание букв и текста

на второй странице встречается не во всех экземплярах газеты, а только в так называемом тираже А.

— Что это за тираж?

— Другими словами, такой подбор букв можно встретить только в тех экземплярах, которые печатаются последними. Для городских киосков и городских подиписчиков.

— Можете считать расследование законченным и вернуться к обычной работе, — сказал ему Иенсен. — До свиданья.

Он положил трубку, сел в машину и поехал дальше.

Ровно в десять он миновал по-воскресному безлюдный район застройки, где тысячи совершенно одинаковых домов правильным четырехугольником обступили фабрику. Из фабричных труб валили лохматые клубы желтого дыма. Поднявшись на несколько сот метров, они сливались в сиюшное облако отработанных газов и медленно падали вниз, на дома.

Еще через пятнадцать минут он был у цели.

Итак, время он рассчитал правильно, так как лишние пятьнадцать минут ушли на заправку и телефонные разговоры.

Перед ним был вполне современный спортивный домик: стены из стекла, крыша из рифленого пластика. Он лежал в трех километрах от автострады и был со всех сторон окружен деревьями. Внизу, под обрывом, плескалось озеро. Вода в нем была мутная, серая, а воздух пропитан дымом фабричных труб.

На бетонированной площадке перед домом стоял полный мужчина в домашней куртке и тапочках. Вид у него был заспанный и вялый, и посетителя он встретил без особого воодушевления. Иенсен показал ему свой значок.

— Я Иенсен, комиссар шестнадцатого участка. Я веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и прежнего места работы.

— Что вам угодно?

— Несколько вопросов.

— Тогда войдите.

Всевозможная мебель из стальных трубочек, пепельницы и ковры, составлявшие убранство обеих комнат, выглядели так, словно их взяли напрокат в издательстве.

Иенсен достал блокнот и ручку.

— Когда вы ушли оттуда?

Хозяин сделал вид, что подавляет зевок, и повел глазами по сторонам, словно желая от чего-то уклониться.

— Три месяца тому назад, — сказал он под конец.

— Почему вы ушли?

Хозяин перевел взгляд на Иенсена, и в его серых глазах мелькнула искра раздумья. Казалось, он раздумывает, стоит ему отвечать или нет. Наконец он неопределенно развел руками и сказал:

— Если вы хотите посмотреть мой диплом, предупреждаю: здесь у меня его нет.

Иенсен промолчал.

— Диплом остался у... у моей жены, в городе.

— Почему вы ушли?

Хозяин наморщил лоб, словно пытаясь сосредоточиться. И — опять не сразу — ответил:

— Поймите, все, что вы слышали, и все, что вы вбили себе в голову, — не соответствует действительности. Больше ничем не могу служить.

— Почему вы ушли?

Молчание продолжалось несколько секунд. Хозяин уныло подергал себя за кончик носа.

— Собственно говоря, я даже и не уходил. Правда, срок контракта уже истек, но я до сих пор связан с концерном.

— Чем вы занимаетесь?

Иенсен обвел глазами холодную комнату. Хозяин следил за направлением его взгляда.

После молчания, еще более длительного, чем предыдущее, хозяин сказал:

— Послушайте, для чего вы это затеяли? Я ничем не могу вас порадовать. А диплом остался в городе, клянусь вам.

— Почему вы думаете, что мне нужен ваш диплом?

— Не знаю. А вообще, нелепо тащиться за двести километров ради такой чепухи! — и хозяин покачал головой. — Сколько вы сюда ехали? — Он спросил это не без любопытства, но Иенсен ему не ответил, и тогда он впал в прежний тон. — Мой лучший результат — один час пятьдесят восемь минут, — мрачно сказал он.

— Телефон у вас есть?

— Нет.

— Дом принадлежит вам?

— Нет.

— А кому?

— Концерну. Я просто снял его, чтобы отдохнуть, прежде чем приступить к выполнению новых задач.

— Каких задач?

Все длинее становился промежуток между вопросом и ответом. На этот раз он, казалось, вообще никогда не кончится.

— Вам здесь удобно?

Хозяин поглядел на Иенсена, как бы что-то прикидывая.

— Послушайте, я уже говорил вам, что вы что-то путаете. Мне решительно нечем вас порадовать. Все эти истории не стоят выеденного яйца.

— Какие истории?

— А я почем знаю, какие вы слышали.

Иенсен не сводил с него глаз. Было тихо. Фабричный дым чувствовался в комнате не меньше, чем на улице.

— Кем вы были в концерне?

— Спросите лучше, кем я не был. Сперва спортивным обозревателем. Потом главным редактором в разных журналах. Потом перешел на рекламу. Много ездил, писал, но большей частью спортивные репортажи со всего света. Потом служил в филиале концерна за границей; ну и ездил повсюду, и... учился.

— Чему вы учились?

— Всему понемножку. Изучал общественные отношения и прочее.

— Что такое «общественные отношения»?

— Это трудно объяснить.

— Значит, вы много путешествовали?

— Да, я бывал почти всюду.

— Языками владеете?

— У меня нет способностей.

Теперь замолчал Иенсен. Он молчал и не сводил глаз с человека в куртке. Наконец он спросил:

— А журналы часто публикуют спортивные репортажи?

— Нет.

Вид у хозяина сделался совсем пришибленный.

— Никто в наши дни не интересуется спортом, разве что смотрят по телевизору.

— И все-таки вы путешествовали и писали спортивные репортажи?

— Я не умел писать ни о чем другом. Пробовал — не получилось.

— Почему вы ушли?

— Наверно, потому, что это слишком дорого стоило. Хозяин задумался на несколько секунд.

— Вообще-то они народ прижимистый, несмотря ни на что, — сказал он совсем уж замогильным тоном и покосился на мебель из стальных трубочек.

— Какое у вас почтовое отделение?

Хозяин растерялся, поглядел, ткнул пальцем в окно. За лесом, на том берегу озера висела над фабрикой желтая дымная туча.

— Такое же, как у них... почтальон, во всяком случае, приходит оттуда.

— А почту разносят каждый день?

— Кроме воскресений.

И опять не было слышно ничего, кроме неровного дыхания да автомобильных гудков с отдаленного шоссе.

— Вам очень нужно мучить меня? Все равно это ничего не даст.

— Вы знаете, зачем я приехал?

— Не имею ни малейшего представления.

Хозяин беспокойно задергался. Казалось, молчание угнетает его.

— Я самая заурядная личность, просто я потерпел неудачу, — сказал он.

— Неудачу?

— Да, неудачу. Все, напротив, утверждают, что я великий удачник. Но вы же сами видите, если человек сидит здесь один-одинешенек и покрываются плесенью, о какой удаче может идти речь?

— Чего же вы хотите?

— Ничего. Я просто не желаю никого обременять. Молчание, длительное, гнетущее молчание. Хозяин раз-другой покосился на Иенсена, но тут же быстро отвел глаза.

— А теперь прошу вас оставить меня, — глухо сказал он. — Клянусь вам, что диплом в городе. У жены.

— Вы, должно быть, тяготитесь своим пребыванием здесь?

— Я этого не говорил.

— А работой вы не тяготились?

— Нет, нет, конечно, нет. Да и не с чего. Я получал там все, что хотел.

Он погрузился в бесплодные размышления. Потом сказал:

— Вы ничего не поняли. Вы наслушались всяких историй и вообразили бог весть что. Нельзя верить всему, что говорят люди. Они могут сказать неправду, точнее, они не всегда говорят правду.

— Итак, все, что говорят о вас, — это неправда?

— Ну ладно, не будем спорить, шеф, конечно, струхнул и выскочил за борт. Но я здесь ни при чем.

— Когда это было?

— На прошлой регате. Вы это и сами знаете не хуже, чем я. Нечего сказать, панили сенсацию. Меня потому только и взяли, что он думал, будто я умею ходить под парусом. Ему хотелось, конечно, получить приз. А когда налетел шквал и я вскочил на панцирь, чтобы вычерпать воду, он решил, что мы сейчас перевернемся, взвизгнул да как сиганет в озеро. А мне что оставалось делать? Я пошел дальше.

Он мрачно взглянул на Иенсена.

— Если бы я умел держать язык за зубами, ничего и не случилось бы. Но я сдуру решил, что это очень забавное приключение. Вдбавок мне стало так тошно, когда я понял, что мне нарочно дают всякие интересные задания, только чтобы держать подальше от дома. И я не сумел промолчать, хотя...

Он вздрогнул и потер нос.

— Не занимайтесь вы такими делами. Обычная болтовня. Это моя жена постаралась — она всегда поступает как ей вздумается. А кроме того, мы потом разошлись. Но я не жалуюсь, ради бога, не подумайте, что я жалуюсь. — И после короткой паузы он повторил: — Нет, я не жалуюсь.

— Покажите мне телеграмму.

Хозяин с ужасом взглянул на Иенсена.

— Какую телеграмму? Нет у меня никакой телеграммы.

— Не лгите.

Хозяин сорвался с места, побежал к окну, скакал кулаки, постучал одним кулаком о другой.

— Нет, — сказал он. — Не пытайтесь подловить меня. Больше я ничего не скажу.

— Покажите телеграмму.

Хозяин обернулся. Руки у него по-прежнему были сжаты в кулаки.

— Не выйдет, — сказал он. — Нет у меня никакой телеграммы.

— Вы ее уничтожили?

— Не помню.

— Что в ней было сказано?

— Не помню.

— Кто ее подписал?

— Не помню.

— Почему вы ушли оттуда?

— Не помню.

— Где живет ваша бывшая жена?

— Не помню.

— Где вы находились в это время неделю назад?

— Не помню.

— Не здесь?

— Не помню.

Хозяин все так же стоял спиной к окну и все так же сжимал кулаки. На лице у него выступили капли пота, в глазах притаились страх и детское упрямство. А Иенсен смотрел на него без всякого выражения. Выждав с минуту, не меньше, он спрятал блокнот в карман, взял фуражку и направился к дверям. С порога он задал последний вопрос:

— Что такое тридцать первый отдел?

— Не помню.

Когда он подъехал к фабрике, часы показывали четверть двенадцатого. Он зашел в полицейский участок и позвонил оттуда начальнику патруля.

— Да, они в разводе. Узнайте ее адрес, съездите к ней и найдите диплом. Если диплом падорван, захватите его с собой.

— Понял.

— Поторопитесь. Я буду ждать вас здесь.

— Понял.

— Еще одно.

— Слушаю.

— Он вчера или сегодня утром получил телеграмму. Откомандируйте человека на почту за копией.

— Понял.

Помещение здесь было мрачное и унылое, с желтыми кирпичными стенами. На окне висели синтетические гардины. В задней части дома были расположены аре-

стантские камеры с блестящими решетками на дверях. Некоторые камеры были уже заняты.

За барьером сидел полицейский в зеленой форме и перелистывал папку с донесениями.

Иенсен сел у окна и поглядел на тихую пустынную площадь. Желтая туча, казалось, задерживает в себе тепло солнечных лучей и пропускает только свет, какой-то безжизненный и плоский. От фабрики несло удушливой вонью.

— Здесь всегда так пахнет?

— По будням еще хуже, — ответил дежурный.

Иенсен кивнул.

— Привыкнуть можно. Газ совершенно безвредный, но, по моей теории, людей это подавляет. Многие кончат жизнь самоубийством.

— Понятно.

Телефон зазвонил через пятьдесят минут.

— Она была очень любезна, — доложил начальник патруля. — И сразу же показала диплом.

— Ну и..

— В целости и сохранности. Оба листа на месте.

— У вас нет оснований подозревать, что его обменивали или подновляли?

— Подписи были не новые. Чернила уже старые.

— А в самой квартире вы были?

— Нет, она вынесла нам диплом. И встретила нас очень любезно, как я уже говорил. Словно ждала нас. Вообще, довольно элегантная молодая женщина.

— А телеграмма?

— Я послал человека на телеграф.

— Верните его.

— Копия больше не нужна?

— Нет.

Иенсен помолчал, затем добавил:

— Вероятно, она не имеет никакого отношения к делу.

— Комиссар!

— Да?

— Мне показалась странной такая деталь: один из моих ребят стоял на посту как раз перед ее домом.

— Так. Что еще?

— Вас разыскивал начальник полиции.

— Просил что-нибудь передать?

— Нет.

Движение заметно оживилось. По обочинам дороги там и тут стояли машины. Их владельцы по большей части наводили блеск на все, что только может блестеть. Но попадались и такие, которые сидели подле машин за откидными столиками на демонтированных сиденьях. На столах стояли портативные телевизоры и целлофановые пакеты с продуктами из тех, что продаются в автоматах. Чем ближе к городу, тем гуще шли машины, и до центра Иенсен добрался только без десяти пять.

А в центре было все так же пусто. Было самое что ни на есть футбольное время, и потому все, кто не возился со своими машинами, сидели дома. Футбольные матчи предназначались теперь исключительно для трансляции. Они проходили без публики, в больших отапливаемых залах телекомпаний. Команды футболистов состояли на жалование, среди них было много иностранцев. Но, несмотря на высокий, как говорили, уровень мастерства, интерес к футбольным матчам падал день ото дня. Иенсен сам редко смотрел матчи, хотя, когда он сидел дома, у него все время был включен телевизор. Он догадывался, что так делает не только он один.

С каждой минутой Иенсена все сильней давила усталость, а несколько раз у него темнело в глазах как перед обмороком. Он попытал, что это от голода, и подъехал к кафе-автомату, где получил чашку горячей воды, пакет с бульонным порошком и порцию сыра.

Дожинаясь, пока порошок растворится в горячей воде, он достал блокнот и записал: «№ 7, журналист, холост, 58 лет, ушел по собственному желанию».

Хотя Иенсен, чтобы не терять времени, даже не дал бульону остывть, когда он допил свою чашку и сел в машину, часы показывали уже половину шестого. На дороге в западный район его настигли сумерки.

До срока оставалось шесть часов.

Улица была узкая, скромно освещенная и с обеих сторон обсаженная деревьями. За деревьями шли ряды одно- и двухэтажных домов. Находилась она неподалеку от центра. Эту часть города застраивали тому лет сорок, а населяли ее главным образом чиновники, что и спасло ее от превращения в стандартный район массовой за-

стройки, каких немало возникло, когда началась ликвидация жилищного кризиса.

Иенсен поставил машину у тротуара, пересек улицу и нажал кнопку звонка. Но в окнах не было света, и на звонок никто не вышел.

Тогда Иенсен вернулся к машине, сел на свое место и принял изучать список и блокнот. Потом он спрятал бумаги, поглядел на часы, выключил в машине свет и начал терпеливо ждать.

Через пятнадцать минут он увидел на противоположном тротуаре невысокого мужчину в велюровой шляпе и сером пальто. Мужчина открыл парадное и вошел. Иенсен ждал, покуда за жалюзи не вспыхнет свет. Тогда он вторично пересек улицу и позвонил. Хозяин открыл тотчас же. Он был одет непритязательно и строго и никак не выглядел на свои пятьдесят восемь. У него было худое лицо, глаза за стеклами очков смотрели вопросительно, но приветливо.

Иенсен показал значок.

— Я Иенсен, комиссар шестнадцатого участка. Я веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места службы.

— Входите, пожалуйста, — сказал хозяин и шагнул в сторону.

Иенсен увидел просторную комнату. На полках занимавших две стены сверху донизу, лежали книги, газеты и журналы. У окна стоял письменный стол с телефоном и пишущей машинкой, а посреди комнаты — другой стол, курительный, низкий, и вокруг него — три кресла. Освещалась комната раздвижной лампой над письменным столом и плафоном в центре потолка.

В тот миг, когда Иенсен переступил порог комнаты, с хозяином произошла какая-то перемена: изменились его движения, изменился взгляд. Казалось, он выполняет какую-то привычную процедуру, которую уже не раз выполнял.

— Садитесь, пожалуйста.

Иенсен сел, достал ручку и блокнот.

— Чем могу быть полезен?

— Мне нужны некоторые сведения.

— Я к вашим услугам — если, конечно, смогу ответить на ваши вопросы.

— Когда вы ушли оттуда?

— Примерно в конце октября прошлого года.

— Вы там долго работали?

— Сравнительно. Точнее говоря, пятнадцать лет и четыре месяца.

— А почему ушли?

— Давайте пользоваться другой формулировкой: я изъявил желание оставить службу. Я оставил издательство по собственному желанию и предупредил об уходе обычным порядком.

Он держался выжидательно, голос у него был негромкий и приятного тембра.

— Не хотите ли чего-нибудь? Чай, к примеру.

Иенсен отрицательно качнул головой.

— А где вы работаете сейчас?

— Я обеспечен экономически, следовательно, мне не зачем работать ради средств к существованию.

— Чем же вы занимаетесь?

— Читаю почти все время.

Иенсен оглядел комнату. Порядок в ней был поразительный. При великом множестве книг, газет, бумаг все казалось организованным и продуманным до удивления.

— Когда вы уходили оттуда, вам вручили своего рода диплом, или, точнее сказать, прощальный адрес?

— Вручили.

— Он у вас?

— Должно быть. Хотите посмотреть?

Иенсен не ответил. С минуту, а то и больше он сидел неподвижно, не поднимая глаз, потом вдруг спросил:

— Вы признаете, что отправили руководителям концерна анонимное письмо угрожающего содержания?

— Это когда же?

— Примерно в это время, неделю тому назад.

Хозяин поддернул брюки на коленях и скрестил ноги. Он оперся левой рукой о подлокотник и медленно провел указательным пальцем по нижней губе.

— Нет, — спокойно ответил он. — Не признаю.

Иенсен открыл было рот, хотел что-то сказать, но, как видно, раздумал. И поглядел на свои часы. Девятнадцать часов одиннадцать минут.

— Надо полагать, я не первый, с кем вы беседуете на эту тему. Сколько человек вы уже... уже допросили? — Хозяин вдруг оживился.

— С десяток, — ответил Иенсен.

— Все — сотрудники издательства?

— Да.

— Воображаю, сколько вы наслушались анекдотов и всяких пикантных похождений. Поделитесь. Полупризнания, старые счеты, намеки. Фальсификация истории.

Иенсен молчал.

— Там вечно творится что-нибудь эдакое, сколько я мог понять. Хотя то же самое, наверно, происходит повсюду, — добавил он задумчиво.

— Какие обязанности лежали на вас, когда вы работали в концерне? — спросил Иенсен.

— Я ведал вопросами культуры. Все время выполнял одни и те же обязанности, говоря вашими словами.

— Вы имели возможность ознакомиться с общей структурой и деятельностью издательства?

— Вообще да, до некоторой степени. Или вы подразумеваете что-либо конкретное?

— Вы когда-нибудь слышали о так называемом тридцатом отделе?

— Да.

— Вы знаете, чем он занимается?

— Еще бы мне не знать. Я проработал там пятнадцать лет и четыре месяца.

Помолчав с минуту, Иенсен как бы невзначай спросил:

— Вы признаете, что отправили руководителям концерна анонимное письмо угрожающего содержания?

Хозяин пропустил этот вопрос мимо ушей.

— Тридцать первый, или, как его еще называют, особый отдел, является самым важным отделом концерна.

— Я уже наслышан об этом. Чем занимается тридцать первый?

— Ничем, — ответил хозяин. — Ничем он не занимается.

— Объясните.

Хозяин поднялся с места и мгновенно взял со стола лист бумаги и шариковую ручку, не нарушив при этом безупречного порядка. Затем он снова сел, положил бумагу так, чтобы ее край совпал с линией узора на скатерти, а ручку положил сверху, параллельно верхнему краю листа. Затем он пристально поглядел на посетителя.

— Ладно, — сказал он. — Попытаюсь объяснить.

Иенсен взглянул на часы: девятнадцать часов два-

дцать девять минут. В его распоряжении оставалось четыре с половиной часа.

— Вы торопитесь, господин комиссар?

— Да, очень.

— Попытаюсь быть кратким по возможности. Итак, если я вас правильно понял, вы спрашиваете, чем занимается тридцать первый?

— Да.

— Я уже дал вам вполне исчерпывающий ответ: ничем. И по мере того как я буду развивать свой ответ, он будет становиться все менее и менее исчерпывающим. Как это ни грустно. Вы поняли?

— Нет.

— Не удивительно. Надеюсь, вы все-таки поймете раньше или позже. Это вопрос жизни. И смерти.

Тут хозяин замолчал секунд на тридцать, и за это время в нем произошла какая-то перемена. Когда он заговорил снова, он показался Иенсену неуверенным и слабым, хотя и более оживленным, чем прежде.

— Проще всего, если я буду говорить о себе самом. Я вырос в интеллигентной семье, я воспитан в гуманистических традициях. Отец мой был преподавателем университета, сам я пять лет проучился в академии. И не в теперешней, а в тогданий, где гуманитарные факультеты были гуманитарными не только по наименованию. Вы хорошо представляете себе, что это значит?

— Нет.

— Ну, все я не могу объяснить. Это завело бы нас слишком далеко. Я допускаю, что вы забыли значение тех терминов, которые я употребляю, но вы не могли вообще не слышать их. И следовательно, вы рано или поздно по ходу моего рассказа вспомните их значение и уловите взаимосвязь.

Иенсен отложил ручку и прислушался.

— Как я уже говорил вам вначале, я избрал своей специальностью вопросы культуры отчасти потому, что не надеялся стать когда-нибудь настоящим писателем. Я просто не вытянул бы, хотя писать было для меня жизненной потребностью. И почти единственным увлечением.

Пауза. Мелкий дождь застучал в окно.

— Я много лет возглавлял отдел культуры в одной частной газете. На ее страницах не только печатались статьи об искусстве, литературе, музыке и тому подоб-

ном, там велись и дискуссии. Для меня, как и для многих других, важней всего были именно такие дискуссии. Они затрагивали довольно широкий круг вопросов, практически говоря, они касались всех сторон общественной жизни, причем далеко не все высказанные взгляды были так уж до конца продуманы и неуязвимы.

Иенсен сделал едва заметное движение.

— Погодите, — сказал хозяин и поднял правую руку. — Я, кажется, догадываюсь, что вы хотите сказать. Да, конечно, эти статьи могли встревожить людей, порою огорчить или раздосадовать, испугать или рассердить. Они никого не гладили по щерстке, о чем бы ни шла речь, — об идеях, общественных институтах или отдельных личностях. Мы, другими словами, я и еще кто-то, считали это правильным.

Иенсен дожел до конца прерванное движение и засек время: 19.45.

— Говорили, правда, — задумчиво продолжал хозяин, — будто критика и нападки достигали иногда такой остроты, что некоторые объекты их кончали жизнь самоубийством.

Молчание продолжалось несколько секунд. Дождь все так же стучал в окно.

— Кое-кого из нас называли радикалами от культуры, но радикалами были все мы, без исключения, независимо от того, где мы работали — в частных газетах или в социал-демократических. Я, со своей стороны, не сразу это понял. Кстати сказать, политика интересовала меня далеко не в первую очередь. И вообще, мне не внушали доверия политические деятели. Они казались мне людьми неполнценными, как в общечеловеческом плане, так и в образовательном.

Иенсен барабанил пальцами по краю стола.

— Понимаю, понимаю, вы хотите, чтобы я скорей перешел к делу, — грустно отметил хозяин. — Точно так же не внушали мне доверия еженедельные издания. И здесь я был более последователен и убежден. На мой взгляд, эти издания уже давно не приносили ничего, кроме вреда. То есть они, разумеется, выполняли какую-то свою задачу, какой бы она ни была, и, следовательно, имели право на существование, но из этого никоим образом не следовало, что они имеют право на мирное существование. Я немало потратил времени, чтобы хорощенько ударить по тому, что они называют своей идео-

логией, чтобы вскрыть ее сущность и уничтожить ее. Я посвятил этому немало статей и одну книгу дискуссионного порядка.

Он улыбнулся чуть заметно.

— Эта книга отнюдь не снискала мне расположение тех, кто протежировал еженедельной печати. Помнится, еженедельники даже называли меня врагом номер один. Но с тех пор прошел немалый срок.

Хозяин умолк и провел несколько линий, вместе напоминающих диаграмму. Линии были изящными и тонкими. Должно быть, у него была искусственная рука.

— А теперь пойдем навстречу запросам нашего времени и попытаемся коротко и просто изложить длинную и запутанную историю. Структура общества начала изменяться сперва медленно и незаметно, потом — с головокружительной быстротой. Слова «благоденствие» и «единое общество» начали произноситься все чаще, пока оба эти явления не слились в нечто цельное и не были признаны неотделимыми одно от другого. Сначала тревожные симптомы не бросались в глаза — жилищный кризис исчез, преступность падала, молодежные проблемы близились к полному разрешению. Одновременно и неотвратимо, как ледниковый период, наступала неизбежная духовная реакция. Вторично — тревожные симптомы пончалу не бросались в глаза. Только немногие из нас держались настороженно. Я думаю, вы не хуже меня знаете, что произошло потом?

Иенсен не ответил. Иное, какое-то странное чувство начало захватывать его. Чувство одиночества, изоляции, словно и он и этот маленький человечек в очках очутились под стеклянным — точнее, пластмассовым — колпаком или на стендe какого-нибудь музея.

— Для нас важней всего было, конечно, то обстоятельство, что вся публицистика начала сливаться воедино, что владельцы продавали издательство за издательством, газету за газетой концерну, и всякий раз это мотивировалось соображениями экономической выгоды. Все шло прекрасно, до такой степени прекрасно, что те, кто пытался отныне выступить с критикой, чувствовали себя в положении пресловутой собаки, которая лает на луну. И люди, считавшиеся предусмотрительными, уже начали высказываться в том смысле, что глупо поднимать дискуссию вокруг вопросов, по которым, собственно, не может быть двух мнений. Лично я думал иначе,

пусть из упрямства или фанатизма. И небольшое число работников культуры — этот термин был тогда в ходу — думало так же, как я.

Опять в комнате воцарилась тишина, и шум дождя больше не нарушал ее.

— Концерн пожрал и ту газету, где работал я. Не помню точно, когда это случилось. Во всяком случае, это явилось заключительным звеном в длинной цепи всевозможных слияний и перепродаж через подставных лиц и даже не вызвало сколько-нибудь громкого отклика. Мой отдел и без того усох до минимума. А под конец его и вовсе ликвидировали — за ненадобностью. В практическом плане это означало, что я лишился средств к существованию. Та же участь постигла моих коллег из других газет и кое-кого из наших авторов. По непонятному стечению обстоятельств работы не напислось только для наиболее упрямых и ерпистых. Причину я понял лишь много позже. Извините, я принесу попить. Вы случайно не хотите?

Иенсен покачал головой. Хозяин встал и скрылся за дверью, которая, надо полагать, вела на кухню. Вернулся он со стаканом минеральной воды и, сделав несколько глотков, поставил стакан на стол перед собой.

— Впрочем, им все равно не удалось бы сделать из меня спортивного хроникара или референта на телевидении, — сказал он вполголоса. Затем он чуть приподнял стакан, явно желая проверить, не осталось ли мокрых следов на столе.

— Прошло несколько месяцев, — продолжал он. — Практическая сторона моей жизни выглядела весьма мрачно. И вдруг, к моему великому удивлению, меня пригласили в издательство, чтобы всесторонне обсудить возможности нашего сотрудничества.

Очередная пауза. Иенсен заметил время: 20.05. После мгновенного колебания он спросил:

— Вы признаете, что отправили руководству концерна анонимное письмо угрожающего содержания?

— Нет, нет, погодите, — сердито ответил хозяин и отхлебнул из стакана.

— Попал я к ним в самом скептическом настроении и встретился с тогдашними руководителями концерна. Практически они почти все остались до сих пор на своих местах. Встретили меня очень предупредительно и сделали мне предложение, которое нескованно удивило ме-

ня. Я до сих пор еще помню отдельные формулировки слово в слово. Не оттого, что у меня хорошая память, а оттого, что я записал их. Мне сказали, что дух свободной дискуссии не должен умереть, что носители его не должны прозябать в бездействии. Что, если даже общество близится к достижению совершенства, всегда могут найтись явления, достойные дискуссии. Что свободная дискуссия, даже когда в ней нет надобности, является одним из краеугольных камней идеального государства. Что все наличные завоевания культуры независимо от формы их выражения следует тщательно взлекать, чтобы сохранить для потомства. И паконец, мне сказали, что поскольку концерн уже взял на себя ответственность за большую часть жизнеспособной гласности в нашей стране, он готов также взять на себя ответственность и за дискуссии по вопросам культуры. Что они намерены издавать первый в стране разносторонний и абсолютно независимый журнал по вопросам культуры и привлечь к сотрудничеству в нем самых лучших и самых, так сказать, драчливых журналистов.

С каждым словом рассказчик все более воодушевлялся. Он пробовал даже перехватить взгляд Иенсена и удержать его.

— Повторяю, со мной обошлись очень корректно. Они весьма почтительно отзывались о моих столь часто высказываемых взглядах на еженедельники, обменивались со мной рукопожатием, как после партии в пинг-понг, и под конец заявили, что от души радуются возможности переубедить меня. После чего мне было сделано конкретное предложение.

Он помолчал немного, отдавшись своим мыслям, затем продолжал.

— Цензура, — сказал он. — Если я не ошибаюсь, официальной цензуры в нашей стране не существует. Иенсен утвердительно кивнул.

— И несмотря на это, у нас более свирепая и придирчивая цензура, чем в любом полицейском государстве. Вы спросите: почему? Да потому, что она носит частный характер, не регламентирована законом и ведется такими методами, которые делают ее неуязвимой с юридической точки зрения. Потому, что не само право осуществлять цензуру — хорошенько заметьте разницу — не само право, а практическая возможность зависит от людей, будь то чиновники или отдельные издате-

ли, которые уверены, что их решения разумны и служат всеобщему благу, И потому, что люди в большинстве своем тоже разделяют их дурацкую уверенность и, следовательно, сами выступают в роли цензоров при каждом удобном случае.

Он быстро глянул на Иенсена, словно желая убедиться, что аудитория поспевает за ходом его рассуждений.

— Цензуре подвергается решительно все: пища, которую мы едим, газета, которую мы читаем, телевизионная программа, которую мы смотрим, радиопередача, которую мы слушаем. Даже футбол и тот проходит цензуру — из матча удаляются те моменты, где игроки получают травмы или грубо нарушают правила. И все это — на благо человека. Подобное направление в нашем развитии можно было предугадать на весьма ранней стадии.

Он вычертил на своем листке еще несколько геометрических фигур.

— Мы, то есть те, кто был занят дискуссией по вопросам культуры, очень давно начали замечать эту тенденцию, хотя первоначально она проявлялась в сфере, которая внешне не имела к нам никакого отношения. Всего очевиднее сказывалась она в нашем судопроизводстве. Началось с требования строжайшей секретности — чем дальше, тем чаще и тем строже; военщина сумела убедить юристов и политиков, что все эти мелочи чрезвычайно важны для безопасности государства. Затем мы заметили, что и другие процессы все чаще идут при закрытых дверях — метод, который всегда представлялся мне сомнительным и нелепым, даже если речь шла о рядовом преступлении против нравственности. Кончилось тем, что почти каждый ерундовый процесс стал целиком или частично недоступен для широкой публики. Объяснение давалось всегда одно и то же: оградить личность от неприятных, волнующих или пугающих фактов, которые так или иначе могут нарушить ее душевный покой. В это же время стало известно — вспоминаю, с каким удивлением я впервые констатировал сей факт, — что различные более или менее высокопоставленные государственные деятели и чиновники получили возможность налагать гриф «Совершенно секретно» на следствие и судебные процессы, касающиеся возглавляемых ими учреждений. Нелепейшие пустяки, как, например, вопрос, должны ли наши муниципалитеты сами забо-

титься о вывозке отходов, и тому подобные «проблемы» окутывались строжайшей секретностью, и никто даже ухом не повел. А в тех отраслях, которые находились под контролем частного капитала, и прежде всего в газетном деле, цензура была еще невыносимее. Порой даже не по злобе или недоброжелательству, а в силу того, что они называют моральной ответственностью.

Он допил остаток воды.

— Ну, а о моральных критериях людей, обладающих такой властью, разумеется, следует говорить шепотом.

Иенсен глянул на часы: 20.17.

— В тот момент, когда профсоюзное движение и частные работодатели достигли полного единства, создалась концентрация сил, не имеющая себе равных. И организованная оппозиция исчезла сама собой.

Иенсен кивнул.

— Да и что прикажете делать оппозиции? Все проблемы решены и ликвидированы — даже жилищный вопрос и нехватка стоянок для машин. Уровень жизни возрастает с каждым днем, число детей, рожденных вне брака, сокращается, преступность падает. Только горсточка недоверчивых людей, диспутантов по призванию, словом, таких, как я, могла осуществить оппозицию, могла подвергать критике политический фокус, на основе которого совершилось это моральное и экономическое чудо. Горсточка таких, кто был способен во всеуслышание задать ряд не идущих к делу вопросов: за счет чего мы достигли материального процветания? Почему вне брака рождается меньше детей? Почему уменьшилась преступность? И так далее.

— Ближе к делу, — напомнил Иенсен.

— Ну, разумеется, к делу, — сухо отозвался хозяин. — Мне сделали конкретное и чрезвычайно заманчивое предложение. Концерн намеревался издавать в числе прочих и этот чертов журнал. Писать для него и выпускать его будут «самые сильные, самые взрывные, самые динамичные из всех деятелей культуры, населяющих нашу страну». Я дословно помню всю фразу. Меня явно причисляли к этой категории, и — не скрою — я почувствовал себя польщенным. Мне показали список предполагаемых сотрудников редакции. Список меня изумил, ибо в нем я нашел имена людей — их было примерно двадцать пять, — составлявших, на мой взгляд, культурную и интеллектуальную элиту страны. Все мыслимые

средства будут предоставлены в наше распоряжение. Как вы думаете, удивился я, когда это услышал?

Иенсен равнодушно глянул на него.

— Ну, конечно, они выдвинули свои условия. Журнал должен быть рентабельным или по меньшей мере сводить концы с концами. Это одна из основных доктрин. Вторая — личность должна быть ограждена от зла. Ну, чтобы достичь рентабельности, необходимо как можно более точно спланировать журнал, он должен, так сказать, найти свою форму. А прежде чем он найдет свою форму, надо тщательно изучить рыночную конъюнктуру. В этой связи нам было дозволено выпускать любое потребное количество пробных номеров. Чтобы не полагаться на волю случая. Что до содержания и тематики, тут нам предоставлялась полная свобода действий как на время пробных выпусков, так и позднее, когда журнал поступит в открытую продажу.

Он с горечью улыбнулся.

— Далее мне сказали, что у них существует такое профессиональное правило, согласно которому работа над новыми журналами в период их проектирования и становления должна вестись в условиях строжайшей секретности. А иначе кто-нибудь — один бог знает, кого они имели в виду, — может похитить всю идею. Далее мне привели в пример такие-то и такие-то периодические непотребства, которые прошли через годы исканий, прежде чем занять свое место в плановой продукции издательства. Все это подкреплялось избитой истиной «типо сдечь — дальше будешь», ибо медлительность в сочетании с глубокой секретностью дает пре-восходные результаты. Напоследок мне предложили подписать уже составленный контракт. Контракт был заманчивый — просто на диво. Я должен был сам назначить себе жалованье в разумных пределах. Сумма, на которой мы остановились, начислялась с учетом всех гонораров, буквально за каждую написанную мною строчку. Но даже если гонораров не хватит для покрытия оговоренной суммы, она все равно будет выплачиваться полностью. Разумеется, сумма гонораров и выплаченного жалованья не всякий раз будут совпадать, и тогда я окажусь должником издательства — или наоборот. В таких случаях восстановление равновесия зависит от меня, и только от меня. Если мне переплатят, я должен буду некоторое время писать больше обычного, если недоплатят, я могу

воспользоваться случаем и отдохнуть. В остальном контракт состоял из стандартных условий и оговорок — меня могут уволить за явную профессиональную непригодность или умышленное причинение ущерба, я не имею права расторгнуть контракт, не выплатив долги издательству, и всякое другое в том же духе.

Он потрогал перо, не сдвинув его с места.

— Ну, я и подписал. Контракт обеспечивал мне гораздо более высокий доход, чем я когда-либо имел. Впоследствии оказалось, что и остальные подписали точно такие же контракты. А спустя несколько дней я приступил к работе в особом отделе.

Иенсен хотел что-то сказать, но подумал и воздержался.

— Да, официально он назывался особым. Прозвище «тридцать первый» возникло позднее. Дело в том, что мы расположились на тридцать первом этаже, выше всех. Первоначально на месте отдела предполагался какой-нибудь склад или чердачные помещения, так что многие даже и не подозревали о его существовании. Лифт до тридцати первого не ходит. Попасть туда можно только по железной винтовой лестнице, очень узкой. Окон там тоже нет, только на потолке два люка для света. Поместили нас туда — как нам было сказано — с двойкой целью. Во-первых, чтобы обесценить нам необходимый для работы покой, во-вторых, чтобы легче было соблюдать условия строжайшей секретности на весь организационный период. Даже часы работы у нас были другие и, кстати сказать, рабочий день значительно короче, чем у остальных сотрудников концерна. Тогда все это представлялось вполне естественным. Вы удивлены?

Иенсен не ответил.

— Итак, мы приступили к работе, и сперва у нас шла изрядная грызня. Вообразите себе две дюжины отъявленных индивидуалистов, две дюжины непокорных умов, не приведенных заблаговременно к общему знаменателю. Главным редактором у нас был абсолютно безграмотный тип, который впоследствии занял в концерне весьма видное положение. Я могу отлично пополнить имеющийся у вас запас анекдотов, если расскажу, что ему удалось сделать такую карьеру в журналистике именно потому, что он точно так же, как шеф и издатель, страдает алексией, то есть словесной слепотой.

средства будут предоставлены в наше распоряжение. Как вы думаете, удивился я, когда это услышал?

Иенсен равнодушно глянул на него.

— Ну, конечно, они выдвинули свои условия. Журнал должен быть рентабельным или по меньшей мере сходить концы с концами. Это одна из основных доктрин. Вторая — личность должна быть ограждена от зла. Ну, чтобы достичь рентабельности, необходимо как можно более точно спланировать журнал, он должен, так сказать, найти свою форму. А прежде чем он найдет свою форму, надо тщательно изучить рыночную конъюнктуру. В этой связи нам было дозволено выпускать любое потребное количество пробных номеров. Чтобы не полагаться на волю случая. Что до содержания и тематики, тут нам предоставлялась полная свобода действий как на время пробных выпусков, так и позднее, когда журнал поступит в открытую продажу.

Он с горечью улыбнулся.

— Далее мне сказали, что у них существует такое профессиональное правило, согласно которому работа над новыми журналами в период их проектирования и становления должна вестись в условиях строжайшей секретности. А иначе кто-нибудь — один бог знает, кого они имели в виду, — может похитить всю идею. Далее мне привели в пример такие-то и такие-то периодические непотребства, которые прошли через годы исследований, прежде чем занять свое место в плановой продукции издательства. Все это подкреплялось избитой истиной «типо едешь — дальше будешь», ибо медлительность в сочетании с глубокой секретностью дает пре-восходные результаты. Напоследок мне предложили подписать уже составленный контракт. Контракт был заманчивый — просто на диво. Я должен был сам назначить себе жалованье в разумных пределах. Сумма, на которой мы остановились, начислялась с учетом всех гонораров, буквально за каждую написанную мною строчку. Но даже если гонораров не хватит для покрытия оговоренной суммы, она все равно будет выплачиваться полностью. Разумеется, сумма гонораров и выплаченного жалованья не всякий раз будут совпадать, и тогда я окажусь должником издательства — или наоборот. В таких случаях восстановление равновесия зависит от меня, и только от меня. Если мне переплатят, я должен буду некоторое время писать больше обычного, если недоплатят, я могу

воспользоваться случаем и отдохнуть. В остальном контракт состоял из стандартных условий и оговорок — меня могут уволить за явную профессиональную непригодность или умышленное причинение ущерба, я не имею права расторгнуть контракт, не выплатив долги издательству, и всякое другое в том же духе.

Он потрогал перо, не сдвинув его с места.

— Ну, я и подписал. Контракт обеспечивал мне гораздо более высокий доход, чем я когда-либо имел. Впоследствии оказалось, что и остальные подписали точно такие же контракты. А спустя несколько дней я приступил к работе в особом отделе.

Иенсен хотел что-то сказать, но подумал и воздержался.

— Да, официально он назывался особым. Прозвище «тридцать первый» возникло позднее. Дело в том, что мы расположились на тридцать первом этаже, выше всех. Первоначально на месте отдела предполагался какой-нибудь склад или чердачные помещения, так что многие даже и не подозревали о его существовании. Лифт до тридцати первого не ходит. Попасть туда можно только по железной винтовой лестнице, очень узкой. Окон там тоже нет, только на потолке два люка для света. Поместили нас туда — как нам было сказано — с двойкой целью. Во-первых, чтобы обеспечить нам необходимый для работы покой, во-вторых, чтобы легче было соблюдать условия строжайшей секретности на весь организационный период. Даже часы работы у нас были другие и, кстати сказать, рабочий день значительно короче, чем у остальных сотрудников концерна. Тогда все это представлялось вполне естественным. Вы удивлены?

Иенсен не ответил.

— Итак, мы приступили к работе, и сперва у нас шла изрядная грызня. Вообразите себе две дюжины отъявленных индивидуалистов, две дюжины непокорных умов, не приведенных заблаговременно к общему знаменателю. Главным редактором у нас был абсолютно безграмотный тип, который впоследствии занял в концерне весьма видное положение. Я могу отлично пополнить имеющийся у вас запас анекдотов, если расскажу, что ему удалось сделать такую карьеру в журналистике именно потому, что он точно так же, как шеф и издатель, страдает алексией, то есть словесной слепотой.

Впрочем, тогда он не задирал нос. Первый номер был подписан в набор только месяцев через восемь, отчасти потому, что нас очень задерживал производственный отдел. Номер получился что надо — резкий, смелый, и, к нашему величайшему удивлению, он встретил самый благосклонный прием у руководителей концерна. Хотя большинство статей было написано в резко критическом тоне и подвергало критике решительно все, включая еженедельники самого концерна, по поводу содержания мы не услышали ни одного худого слова. Нам просто указали на ряд технических погрешностей и прежде всего предложили повысить темпы. Ибо пока мы не можем гарантировать выпуск двух номеров в месяц, нечего и думать об открытой публикации. И это тоже казалось вполне естественным.

Хозяин приветливо взглянул на Иенсена.

— Прошло не менее двух лет, прежде чем мы с нашими возможностями, неповоротливыми наборщиками и несовершенной печатью сумели выбрать два номера в месяц. Журнал выходил регулярно. Мы делали десять пробных оттисков каждого номера и отдавали их в переплет для архива. Из-за строжайшей секретности мы не могли взять навынос ни один номер. Ну, когда мы добились такой периодичности, руководство концерна выразило живейшее удовлетворение и, я бы даже сказал, удовольствие и заявило, что теперь осталось только одно — разработать новый макет журнала, придать журналу современную форму, которая поможет ему справиться с жесткой конкуренцией на открытом рынке. И хотите верьте, хотите нет, но лишь после того, как некая таинственная группа экспертов восемь месяцев бесплодно прозанималась поисками этой современной формы, мы начали...

— Что начали? — спросил комиссар Иенсен.

— ...начали, паконец, постигать их замысел во всей его глубине. А когда мы стали возражать, они в два счета укрутили нас обещанием увеличить тираж пробного выпуска до пятисот экземпляров, якобы затем, чтобы рассыпать их по редакциям ежедневных газет и по всяkim высоким инстанциям. Со временем мы догадались, что нас обманули, но только со временем. Когда мы, к примеру, совершенно точно установили, что название нашего журнала никому не известно, что содержание его никем не комментируется, и по этим признакам догада-

лись, что никуда его не рассыпают. Что его используют в качестве коррелята, или, другими словами, в качестве указателя, как и о чем не следует писать. Мы по-прежнему получали свои десять экземпляров. Ну, а дальше...

— Что дальше?

— А дальше сохранялось это чудовищное положение — куда ни кинь, всюду клин. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год культурная элита страны, последние из могикан, сидели в этих мрачных катакомбах и с убывающим энтузиазмом выжимали из себя очередной номер, который, несмотря ни на что, оставался единственным по всей стране журналом, достойным своего звания. И единственным во всей стране журналом, никогда не увидевшим света... За это время мы выслушали тысячи объяснений на тему, почему все должно быть именно так, а не иначе. Окончательная форма представлялась не совсем удовлетворительной, темпы выпуска — недостаточно высокими, типографских мощностей не хватало. Ну и так далее. Только содержание никогда не вызывало нареканий.

Он постучал указательным пальцем по краю стола.

— А содержание могло бы многое изменить. Оно могло бы пробудить, пока не поздно, сознание народа, оно могло бы попросту спасти некоторых. Я уверен, что это так.

Он поднял руку, как бы желая отвести непечатую реплику.

— Я знаю, вы сейчас спросите: почему мы не ушли оттуда? Нет ничего проще: мы не могли.

— Объясните.

— С удовольствием. Наш контракт был составлен так, что все мы оказались в неоплатном долгу перед концерном. Проработав всего лишь год, я уже задолжал примерно половину того, что получил. Через пять лет цифра долга соответственно выросла в пять раз, через пятнадцать лет она достигла астрономических размеров — во всяком случае, для людей с обычными доходами. Это был так называемый «технический долг». Мы регулярно получали извещение о том, на какую именно сумму он возрос. Но никто с нас не требовал выплаты долга. И не собирался требовать до той минуты, пока кто-нибудь из нас не вздумает уйти из тридцать первого отдела.

— Но вы-то ушли?

— Да, благодаря счастливой случайности. Нежданно-

негаданно я получил наследство. И хотя наследство было весьма значительное, почти половина его ушла на то, чтобы выплатить концерну задолженность. Задолженность, которая с помощью различных махинаций продолжала возрастать до той самой минуты, когда я проставил сумму на чеке. Но я вырвался. Я бы вырвался даже в том случае, если бы на это ушло все мое состояние. Если бы я знал, как это делают, я мог бы украдь или ограбить кого-нибудь, лишь бы добыть нужную сумму.

Он усмехнулся.

— Кража, грабеж — это все такие занятия, которые вряд ли пользуются в наши дни большой популярностью.

— Признаете ли вы...

Хозяин не дал ему докончить.

— Вы постигли весь смысл того, о чем я вам рассказал? Это было убийство, духовное убийство, куда более страшное и подлое, чем убийство физическое, убийство бесчисленных идей, убийство способности мыслить, убийство свободы слова. Преднамеренное убийство по первому разряду — убийство целой области нашей культуры. А причина убийства — самая гнусная из всех мыслимых причин: гарантировать народу душевный покой, чтобы приучить его покорно глотать все, чем его пичкают. Вы понимаете — беспрепятственно сеять равнодушие, вводить в организм отраву, предварительно убедившись, что в стране не осталось ни врачей, ни противоядия.

Он проговорил это взволнованно, торопливо и потом, не перевода дыхания, продолжал:

— Конечно, вы можете возразить, что в общем и целом нам жилось недурно, если не считать тех девятерых, которые помешались, умерли или покончили с собой. И что концерну недешево обошлось удовольствие регулярно вкладывать деньги в журнал, так никогда и не увидевший света. Но деньги для них — тьфу! Когда финансовые декларации составляют у них такие ловкачи и когда в налоговом управлении служат эти же... — Он не докончил и вдруг сказал с неожиданным спокойствием: — Простите, я прибегаю к недостойной аргументации. Ну, разумеется, я все признаю. Вы ведь знали с самого начала, что так оно и будет. Но, во-первых, я решил предварительно отвести душу, а во-вторых, я прошел эксперимент местного значения. Я хотел посмотреть, сколько времени можно прятнуть, не сознаваясь.

Он снова засмеялся и сквозь смех заметил мимоходом:

— Нет у меня таланта на вранье.

— Объясните, почему вы это сделали.

— Когда мне удалось живым уйти оттуда, я решил по меньшей мере привлечь к этому делу хоть какое-нибудь внимание. Но почти сразу я понял, что нечего и надеяться написать и опубликовать где-нибудь хоть строчку. И тогда я подумал, что в народе могла сохраниться способность реагировать, по крайней мере, на проявления жестокости и сенсационные происшествия. Тут я и послал письмо. Разумеется, я поступил неправильно. Как раз в тот день мне разрешили, наконец, посетить одного из моих прежних коллег, который сидел в сумасшедшем доме, что напротив концерна. И вот я стоял и смотрел, как полиция перекрывает улицу, как съезжаются пожарные машины, как персонал покидает здание. Но о событии не было сказано ни звука, не было напечатано ни слова, не говоря уже о каких-нибудь комментариях.

— Вы не откажетесь повторить свое признание в присутствии свидетелей?

— Конечно, не откажусь, — рассеянно откликнулся хозяин. — Кстати, если вам нужны вещественные доказательства, нет ничего проще. Они все здесь.

Иенсен кивнул. Хозяин встал и подошел к одной из полок.

— Сейчас я достану первое вещественное доказательство. Итак, перед вами номер несуществующего журнала. Последний из выпущенных при мне.

Журнал был превосходно оформлен. Иенсен полистал его.

— Хотя все это сломило нас, мы не настолько лишились зубов, чтобы они рискнули выпустить нас на свободу. Мы поднимали любые вопросы. Табу для нас не существовало.

Содержание журнала потрясло Иенсена, хотя лицо его по-прежнему ничего не выражало. Он принял изучать разворот, посвященный выяснению физиологической стороны вопроса: почему падает рожаемость и растет импотенция? По обе стороны текста были помечены две большие фотографии голых женщин. Женщины явно олицетворяли два различных женских типа. Одна напоминала картинки из заклеенного конвер-

та, который попался Иенсену в столе главного редактора. У нее была стройная, но не худая фигура и узкие бедра. А на втором снимке Иенсен узнал номер четырех, женщину, в квартире которой ровно сутки тому назад он стоял, прислонясь к дверному косяку, и даже выпил стакан воды. Она держалась прямо и просто, чуть расставив ноги и свесив руки. У нее были большие черные соски, широкие бедра и круглый живот.

— Это совсем недавний снимок, — пояснил хозяин. — Нам нужен был именно такой, но, пока мы его добыли, пришлось попотеть. Вероятно, сейчас этот тип встречается еще реже, чем прежде.

Иенсен продолжал перелистывать журнал, потом сложил его и взглянул на часы. 21.06.

— Соберите все, что нужно, и следуйте за мной.

Человек в очках кивнул.

В машине они продолжили разговор.

— Должен сделать еще одно признание.

— Слушаю.

— Завтра в то же самое время они получат точно такое же письмо. Я как раз ходил опускать его перед вашим приходом.

— Зачем?

— Так просто я не сдамся. Боюсь только, что на этот раз они вообще не станут заниматься моим письмом.

— Что вы знаете о взрывном деле?

— Меньше, чем первый директор издательства о Гегеле.

— Другими словами?

— Другими словами — ничего. Я не был даже на военной службе. Я уже тогда был пацифистом. Если бы в мои руки попал целый склад боеприпасов, я все равно не смог бы создать из него что-нибудь взрывчатое. Вы мне верите?

— Верю.

На полдороге к шестнадцатому участку Иенсен спросил:

— А у вас случайно не мелькала мысль и в самом деле взорвать здание?

Задержанный ответил лишь тогда, когда машина уже въехала во двор участка.

— Да, мелькала. Если бы я был в состоянии изготовить бомбу и знал наверняка, что ни один человек не

пострадает, я, возможно, взорвал бы Дом. А теперь бомба носит чисто символический характер.

Когда машина остановилась, он еще добавил, как бы для собственного сведения:

— Так или иначе, но я все выложил. И кому? Полицейскому!

Потом он повернулся к своему спутнику и спросил:

— Процесс, конечно, будет идти при закрытых дверях?

— Не знаю, — ответил Иенсен.

Он нажал кнопку на приборном щитке — выключил магнитофон, вылез из машины, обошел ее кругом и распахнул другую дверцу. Потом он отвел задержанного на регистрацию, а сам поднялся к себе в кабинет и позвонил начальнику патруля.

— Адрес записали?

— Да.

— Возьмите с собой еще двоих и выезжайте на место преступления. Соберите все вещественные доказательства, какие только сможете найти. И поторопливайтесь.

— Понял.

— Еще одно.

— Слушаю.

— Попрощайте следователя в одиночку. Пусть снимет показания.

— Понял.

Иенсен поглядел на часы. Часы показывали тридцать пять минут десятого. До полуночи оставалось два часа двадцать пять минут.

26

— Иенсен? Куда вы опять пропали?

— Заканчивал следствие.

— Я третий день вас разыскиваю. Дело приняло неожиданный оборот.

Иенсен промолчал.

— Между прочим, что вы имели в виду, когда сказали: «Заканчивал следствие»?

— Что я задержал виновного.

В трубке послышалось тяжелое дыхание.

— И он сознался?

— Да.
— И уличен?
— Да.
— Значит, это он?
— Да.

Начальник полиции явно погрузился в размышления.

— Иенсен, надо немедленно известить шефа.
— Да.

— Вот и займитесь. Я думаю, вам следует лично сообщить ему эту новость.

— Понял.

— Пожалуй, оно и к лучшему, что я не смог поймать вас вчера.

— Не понял.

— Вчера руководители концерна связались со мной. Через министра. Мне сообщили, что на данном этапе всего разумнее прекратить следствие. И что они даже готовы взять иск обратно.

— Почему?

— Мне кажется, потому, что они считают, будто следствие зашло в тупик. И потому, что ваши методы представляются им обременительными. Вы якобы действуете совершенно вслепую и напрасно беспокоите людей, невиновных и вдобавок занимающих видное положение в обществе.

— Понял.

— В общем, разговор был не из приятных. Но поскольку я, признаюсь, вам честно, не рассчитывал, что вы уложитесь в установленный срок, крыть было нечем. Министр прямо в лоб спросил меня, верю ли я, что у вас что-нибудь выйдет. И я вынужден был ответить: «Нет». Зато теперь, теперь...

— Слушаю.

— Теперь, насколько я понимаю, положение коренным образом изменилось.

— Да. И еще одно.

— Ну что там опять?

— Преступник скорей всего отправил второе письмо аналогичного содержания. Письмо должно прийти завтра.

— Это реальная угроза?

— Думаю, что нет.

— Будь наоборот, ситуация была бы поистине уни-

кальная: преступник задержан за шестнадцать часов до совершения преступления.

Иенсен промолчал.

— Да, сейчас всего важней поставить в известность шефа. Отыщите его сегодня же. Это в ваших интересах.

— Понял.

— Иенсен!

— Слушаю.

— Вы славно потрудились. До свиданья.

Комиссар Иенсен не клал трубку секунд десять, потом снова поднес ее к уху. Набирая номер, он услышал со двора истерический визг.

На то, чтобы установить местопребывание шефа, ушло пять минут. Чтобы дозвониться до загородной виллы, где находился шеф, — еще пять. К телефону подошел кто-то из прислуги.

— У меня очень важное дело.

— Хозяин просил не беспокоить его.

— И срочное.

— Ничем не могу помочь. С хозяином случилось несчастье, теперь он лежит.

— В спальне есть телефон?

— Конечно, есть.

— Соедините меня с ним.

— Очень сожалею, но это невозможно. С хозяином случилось несчастье...

— Уже слышал. Попросите к телефону кого-нибудь из членов семьи.

— Хозяйка ушла.

— А когда вернется?

— Не знаю.

Иенсен положил трубку и взглянул на часы. Четверть одиннадцатого.

Сыр и бульон до сих пор напоминали о себе изжогой, и поэтому, сняв пальто, Иенсен прошел в туалет и выпил там щепотку соды.

Загородная вилла была расположена к востоку от города, в тридцати километрах, среди почти петрунного леса, на берегу озера. Иенсен ехал быстро, включив сирены, и дорога заняла у него двадцать пять минут.

Он поставил машину перед домом и подождал не много. Когда из темноты вынырнул начальник патруля, Иенсен опустил стекло.

— Говорят, здесь случилось несчастье?

— Тоже мне несчастье. Он, правда, лег в постель, но врача я не видел. А прошло уже несколько часов.

— Точнее.

— Это было... не помню, в каком часу это было, но уже смеркалось.

— А вы могли понять, что там произошло?

— Да, почти все. Я очень удачно стоял. Меня не видно, а я могу видеть всю террасу, комнату в нижнем этаже и лестницу к его спальне. И дверь спальни.

— Так что же произошло?

— У них были гости. С детьми, наверное, ради воскресенья.

Он смолк.

— Даешь.

— Дети, говорю, были, — задумчиво продолжал рассказчик. — Играли они на террасе, а сам он сидел с гостями в большой комнате на первом этаже и что-то пил. Скорей всего водку, но не очень много.

— Ближе к делу.

— Вдруг на террасу влез барсук.

— Ну и..

— Сдуру, должно быть. Дети поднимают крик, барсук не может убежать — вокруг террасы идут такие вроде как перила; барсук мечется. Дети орут.

— Ну?

— А слуг поблизости нет. И никаких мужчин, кроме него. Ну и, конечно, меня. Вот он встает, выходит на террасу и смотрит, как мечется барсук. Дети вопят от страха. Сперва он раздумывал. А потом подошел к барсуку и подтолкнул его носком, чтобы спугнуть. Барсук пригнулся голову и цап его за ногу. А потом он напшел выход и удрал.

— А шеф?

— Шеф вернулся в комнату, но, не присаживаясь внизу, стал подниматься по лестнице. Еще я видел, как он открыл дверь в свою комнату и упал прямо на пороге. Застонал и позвал жену. Примчалась жена и уложила его в постель. Потом они закрыли дверь. Наверно, она помогла ему раздеться. Она несколько раз выходила из комнаты и возвращалась с разными вещами — принесла чашку, наверно, еще термометр — на таком расстоянии разве увидишь?

— Барсук укусил его или нет?

— Укусить не укусил. Скорее просто напугал.

А странно...

— Что странно?

— Да вот с барсуком. Ведь они спят в это время года. Я сам смотрел по телевизору передачу про зимнюю спячку барсуков.

— Воздержитесь от ненужных подробностей.

— Понял.

— С сегодняшнего дня можете вернуться к обычным служебным обязанностям.

— Понял. — Он потеребил свой бинокль. — Любопытное было задание, позволю себе заметить.

— Воздержитесь от ненужных подробностей. И еще одно.

— Слушаю.

— Ваша манера докладывать оставляет желать много лучшего.

— Понял.

Иенсен подошел к дому, и горничная впустила его. Где-то пробили часы. Одиннадцать. Иенсен стоял с фуражкой в руке и ждал. Через пять минут появилась жена шефа.

— В такое время? — спросила она надменно. — Я уже не говорю о том, что мой супруг стал жертвой несчастного случая и лежит в постели.

— Я по очень важному делу. И срочному.

Она поднялась наверх и вернулась через несколько минут.

— Вот здесь телефон, можете поговорить с ним, но недолго.

Иенсен снял трубку.

Шеф казался очень изнуренным, но голос у него был четкий и мелодичный.

— Так-так... Значит, вы его посадили?

— Он задержан.

— Где он сейчас?

— Ближайшие три дня он проведет в шестнадцатом участке.

— Чудненько. Бедняга, без сомнения, душевно-больной.

Иенсен промолчал.

— Выяснилось еще что-нибудь любопытное во время следствия?

— Нет.

— Чудненько. Всего вам наилучшего.
— Еще одно.
— Покороче, пожалуйста. Вы поздно пришли, а у меня был нелегкий день.
— Прежде чем его задержали, он успел отправить второе анонимное письмо.

— Ах та-ак. А содержание вам известно?
— Если верить его словам, оно ничем не отличается от первого.

Молчание так затянулось, что Иенсен даже счел разговор оконченным. Когда шеф заговорил снова, у него стал другой голос:

— Значит, си, как и в прошлый раз, грозит взорвать здание?

— Очевидно.
— А была у него возможность пронести в здание взрывчатку и подложить ее?

— Едва ли.
— Но можете ли вы поручиться, что это совершенно исключено?

— Конечно, не могу. И все же это представляется абсолютно невероятным.

Голос шефа отразил глубокие раздумья. Помолчав тридцать секунд, шеф завершил разговор следующими словами:

— У меня нет сомнений, что он душевнобольной. Все это крайне неприятно. Впрочем, если и принимать какие-то меры, так ведь не раньше чем завтра. Итак, покойной ночи.

Домой Иенсен возвращался на малой скорости. Пробило полночь, а ему все еще оставалось добрых пятнадцать километров до города. Тут его обогнала большая черная машина.

Она удивительно напоминала машину шефа, хотя Иенсен не мог бы сказать с уверенностью, что это именно она.

Без малого в два он подъехал к своему дому.

Он устал, проголодался и совсем не испытывал почетного приятного чувства, которое появлялось у него всякий раз после законченного дела.

Он разделился в темноте, прошел на кухню, отмерил сто пятьдесят граммов и залпом осушил стакан. Потом прямо так, голый, подошел к мойке, ополоснул стакан, вернулся в комнату и лег.

Заснул он почти сразу. Последним, что успело на границе сна промелькнуть в его сознании, было чувство одиночества и неудовлетворенности.

Едва открыл глаза, Иенсен мгновенно сняхнул остатки сна. Что-то разбудило его, он только не знал что. Вряд ли это был какой-то звук извне — телефонный звонок или выкрик. Скорей всего мирное течение сна нарушила мысль, острая и ослепительная, как вспышка магния. Но как только он открыл глаза, мысль исчезла.

Он немного полежал, глядя в потолок. Встал минут через пятнадцать и прошел на кухню. Электрочасы показывали без пяти семь, день недели — понедельник.

Иенсен достал из холодильника бутылку минеральной воды, налил полный стакан и подошел со стаканом к окну. За окном лежала серая, заросшая, унылая местность. Иенсен выпил воду и пошел умываться. Он снял пижаму и сел в ванну. Полежал в теплой воде, пока вода не остывала, после этого встал, ополоснулся под душем, слегка помассировал кожу и оделся.

Он не стал читать утренние газеты, но выпил медовой воды и съел три сухарика. Сухарики не помогли — только острей стал сосущий мучительный голод.

Машину он вел медленно и все же у моста чуть не проехал на красный свет. Пришлось резко затормозить. Сзади с единодушным укором взвыли машины.

Ровно в восемь тридцать Иенсен открыл дверь своего кабинета, а через две минуты зазвонил телефон.

— С шефом говорили?
— Только по телефону. К нему не допускают. Он лежит в постели.

— С чего это вдруг? Он болен?
— Его напугал барсук.

Начальник ответил не сразу, и Иенсен привычно ловил ухом прерывистое дыхание.

— Думаю, что это было не так уж серьезно. Во всяком случае, сегодня рано утром шеф вместе с издателем улетели на какой-то заграничный конгресс.

— И что же?
— Я звоню вам не поэтому. Скорее для того, чтобы

сообщить, что ваши тревоги подошли к концу. Материалы следствия у вас оформлены?

Иенсен полистал протоколы.

— Да.

— Прокурор занялся этим делом в срочном порядке. Его люди приедут за арестованным минут через десять и переведут его в дом предварительного заключения. Вы передадите с ними все донесения и протоколы допросов.

— Понял.

— Как только преступником займется прокуратура, вы можете закрыть дело, поставить галочку в календаре и выкинуть всю эту историю из головы. И я тоже.

— Понял.

— Вот и хорошо. Ну, до свиданья, Иенсен.

Из прокуратуры приехали точно в назначенное время. Иенсен стоял у окна и видел, как вывели арестованного. На нем были та же велюровая шляпа и серое пальто. Держался он вполне непринужденно: идя к машине, с любопытством оглядывал цементированный двор участка. Но ничего интересного во дворе не было — только шланг, да ведра, да двое полицейских в ярко-желтых комбинезонах.

Оба конвоира относились к своей задаче донельзя серьезно. Они не надели на арестованного наручники и не взяли его за руки, но вплотную зажали с обеих сторон. И еще Иенсен заметил, что один из них все время держит руку в кармане. Не иначе повичок.

Иенсен продолжал стоять у окна, когда машина давно уехала. Потом он сел за стол, достал блокнот и перечитал свои заметки. В нескольких местах он надолго задерживался или возвращался к уже прочитанному.

Когда стенные часы одиннадцатью короткими звонками напомнили ему о времени, он отложил блокнот в сторону и минут десять, не меньше, рассматривал его. Затем он положил блокнот в коричневый конверт, а конверт запечатал и, надписав на оборотной стороне номер, сунул его в нижний ящик стола.

После этого Иенсен пошел в буфет, механически отвечая по пути на приветствия подчиненных. Он заказал стандартный завтрак целиком, получил тесно уставленный поднос и прошел к угловому столику, который всегда за ним числился. Завтрак состоял из трех ломтиков колбасного фарша, двух обжаренных луковиц, пяти раз-

варенных картофелин и кудрявого салатного листа. Сверху все это было полито густым и клейким молочным соусом. Далее к завтраку полагалась бутылка пастеризованного цельного молока, четыре куска черствого хлеба, порция витаминизированного растительного жира, плавленый сырок, стакан черного кофе, скользкий пряник с сахарной корочкой и джемом.

Он ел медленно, жевал тщательно, с таким отсутствующим видом, словно весь этот прием пищи не имел к нему решительно никакого касательства.

Разделавшись с завтраком, он долго и старательно ковырял в зубах. А потом некоторое время сидел неподвижно, выпрямившись и сложив руки на краю стола. Казалось, он никуда не смотрит, и те, кто проходил мимо, не могли поймать его взгляд.

Через полчаса он вернулся в свой кабинет и сел за стол. Просмотрел обычные сообщения — о самоубийствах, об алкоголиках; наугад извлек из кучи донесений одно, пытаясь прочесть его внимательно, но дело не клеилось.

Пот лился с него ручьями, мысли разбегались, не поддаваясь контролю, а это с ним бывало редко.

Завтрак оказался непосильной нагрузкой для его желудка.

Иенсен отложил донесение, встал, пересек коридор и открыл дверь уборной.

Он притворил за собою дверь. Его вырвало. Он стоял спиной к двери и думал, что в любую минуту суда может кто-нибудь войти и выстрелить ему в затылок. Если у вошедшего хороший револьвер, выстрел разнесет голову, он, Иенсен, повалится лицом на унитаз, так его потом и найдут.

Когда спазмы в желудке прекратились, мысли обрели прежнюю четкость.

Иенсен умылся, смочил затылок и руки холодной водой, причесался, почистил пиджак и вернулся к себе в кабинет.

28

Иенсен только успел сесть за стол, как зазвонил телефон. Он поднял трубку и по старой привычке глянул на часы: 13.08.

— Иенсен!

- Слушаю.
- Они только что получили письмо, как вы и предсказывали.
- Да?
- Мне звонил первый директор. Он в беспокойстве и сомнении.
- Почему?
- Как я уже сообщил вам утром, оба главы концерна — шеф и издатель — находятся за границей. Вся ответственность тем самым ложится на него, а он, сколько я понимаю, не получил никаких указаний на этот счет.
- На какой счет?
- Насчет мер, которые он должен принять. Его, по-видимому, не информировали заблаговременно о письме. И оно было для него равносильно взрыву бомбы. Мне кажется, он даже не знал, что преступник арестован.
- Понимаю.
- Он несколько раз меня переспрашивал, можем ли мы гарантировать на все сто процентов, что бомбы нет. Я ответил ему, что риск, во всяком случае, ничтожный. Но гарантировать что бы то ни было, да еще на сто процентов... Вот вы можете?
- Нет.
- Так или иначе, он просит выделить ему несколько человек на всякий случай. Мы не можем отказать ему в столь законной просьбе.
- Понимаю.
- Начальник полиции откашлялся.
- Иенсен!
- Слушаю.
- Вам незачем брать это на себя. У вас и без того была нелегкая неделя, к тому же на этот раз мы имеем дело со случаем почти заурядным. А кроме того...
- Короткая пауза.
- ...кроме того, директор не выразил особого восторга от возможности новой встречи с вами. Не будем уточнять почему.
- Слушаю.
- Вышлите те же силы, что и в прошлый раз. Ваш непосредственный помощник в курсе всех дел. Пусть он и командует.
- Понял.
- Если вам хочется, вы можете, разумеется, управлять операцией по радио. Словом, поступайте по собственному усмотрению.
- Понял.
- Не считите мои слова за попытку дезавуировать вас. Я думаю, вам не нужно это объяснять. Но с другой стороны, у нас нет оснований не пойти навстречу человеку, когда можно.
- Понимаю.
- Отдавая распоряжения начальнику патруля, Иенсен включил сигнал тревоги.
- Держитесь в тени. Не привлекайте внимания.
- Слушаю, комиссар.
- Иенсен положил трубку и прислушался к звонкам в помещениях нижнего этажа.
- Через одну минуту тридцать секунд машины выехали со двора. Часы показывали 13.12.
- Иенсен прошел минуту, пытаясь сосредоточиться. Потом он встал и спустился к селектору. Полицейский вскочил из-за контрольного стола и взял под козырек. Иенсен сел на его место.
- Где вы находитесь?
- За два квартала от площади Профсоюзов.
- Выключите сирены, когда проедете площадь.
- Понял.
- Голос у Иенсена звучал спокойно, как всегда. На часы он не смотрел. Расчет времени был и так ясен до последней секунды.
- Начальник патруля должен подъехать к Дому в 13.26.
- Прошли площадь. Вижу Дом.
- Ни одного человека в форме внутри Дома и перед ним.
- Понял.
- Пикет разделите на две части и поставьте в трехстах метрах от дома. Перекройте оба подъездных пути.
- Понял.
- Увеличить дистанцию между автомобилями.
- Сделано.
- Следовать схеме прошлой недели.
- Понял.
- Сообщите мне сразу, как только оцените обстановку.
- Разговор на время прервался. Иенсен разглядывал распределительный щит.
- Дом принадлежал к числу самых высоких в стране и благодаря своему положению просматривался из лю-

бой части города. Он всегда был перед глазами, и, откуда человек ни ехал, Дом виднелся в конце его пути. Дом имел тридцать один этаж и стоял на квадратном фундаменте. На каждой стене было по четыреста пятьдесят окон и белые часы с красными стрелками. На облицовку пошла глазированная плитка, темно-синяя у основания Дома, но чем выше, тем светлей. При первом взгляде на Дом через ветровое стекло начальнику патруля показалось, будто Дом пробивается из-под земли, как неслыханных размеров колонна, и вонзается в холодное, по-весеннему безоблачное небо. Дом разрастался, заслоняя горизонт.

— Мы у цели. У меня все.

— У меня тоже.

Комиссар Иенсен взглянул на свои часы: 13.27.

Телефонист повернул выключатель.

Иенсен не шелохнулся и не оторвал взгляда от часов.

Секундная стрелка заглатывала время короткими торопливыми рывками.

В комнате стояла полная тишина. Лицо у Иенсена стало напряженное и сосредоточенное, зрачки уменьшились, вокруг глаз побежали морщинки. Телефонист испытующе поглядел на начальника.

13.34... 13.35... 13.36... 13.37...

В селекторе что-то затрещало.

— Комиссар?

— Да.

— Я видел письмо. Ясно, что его составил тот же человек. Буквы такие, все такое. Только бумага другая.

— Дальше.

— Тот, с кем я говорил, ну, этот директор издательства, ужасно волнуется. Дрожит, наверно от страха, как бы чего не вышло в отсутствие шефов.

— Ну?..

— Они эвакуируют здание, совсем как в прошлый раз. Четыре тысячи сто человек. Эвакуация уже началась.

— Где вы сейчас?

— Перед главным входом. Ну и народу!

— Пожарные?

— Вызваны. Одна машина. Думаю, хватит. Прощу прощения... Надо перекрыть улицу. Потом доложу.

Иенсен слышал, как начальник патруля отдает кому-то приказания. Потом все стихло.

13.46. Иенсен сидел все в той же позе. И выражение лица у него не изменилось.

Телефонист пожал плечами и подавил зевок.

13.52. В селекторе опять треск.

— Комиссар?

— Да.

— Народу стало меньше. В этот раз у них получилось быстрей. Должно быть, уже выходят последние.

— Доложите обстановку.

— Все в исправности. Перекрытие полное. Говорим, что лопнула теплоцентраль. Пожарная машина уже здесь. Все хорошо.

Он казался уверенным и невозмутимым. Говорил свободно, и голос его действовал успокаительно.

— Господи, ну и народищу! Прямо как вшей. Вышли все.

Глаза Иенсена следили за секундомером. Круг, другой, третий. 13.55.

Телефонист зевнул.

— Хорошо хоть, дождя нет, — сказал начальник патруля.

— Воздержитесь от...

Тут Иенсен вздрогнул и приподнялся со своего места.

— Все покинули Дом? Отвешайте немедленно!

— Конечно, все, кроме маленького отдела, особого. Они там сидят в полной безопасности, да и не эвакуируешь их за такое короткое...

Кадры замелькали с лихорадочной быстротой. Он увидел все до мельчайших подробностей, словно при вспышке магния. И опустился на стул, не дослушав.

— Где вы сейчас?

— Перед главным...

— Немедленно в вестибюль. Помедленно!

Вспышка не кончалась. Теперь Иенсен знал, какая мысль мелькнула у него в ту долю секунды, когда сегодня утром он открыл глаза.

— Выполнено.

— Срочно в будку вахтера. К телефону. Наберите номер тридцать первого отдела. Там есть список всех телефонов.

Молчание. 13.56.

— Телефон... телефон не работает. А номер — вот он...

— Лифты?

— Ток отключен по всему Дому. И телефоны и все...
— А если по лестницам? Сколько понадобится?
— Не знаю. Десять минут... Не знаю...
— Есть в Доме ваши люди?
— Двое, но не выше пятого этажа.
— Отзовите. Не отвечайте. Некогда.

13.57...

— Они спускаются.
— Где стоит пожарная машина?
— Перед входом. Мои уже спустились.
— Пусть пожарная машина отъедет за боковое крыло здания.

— Выполнено.

13.58...

— Позаботьтесь о своей безопасности. Немедленно за крыло. Бегом!

Тяжелые шаги, пыхтение.

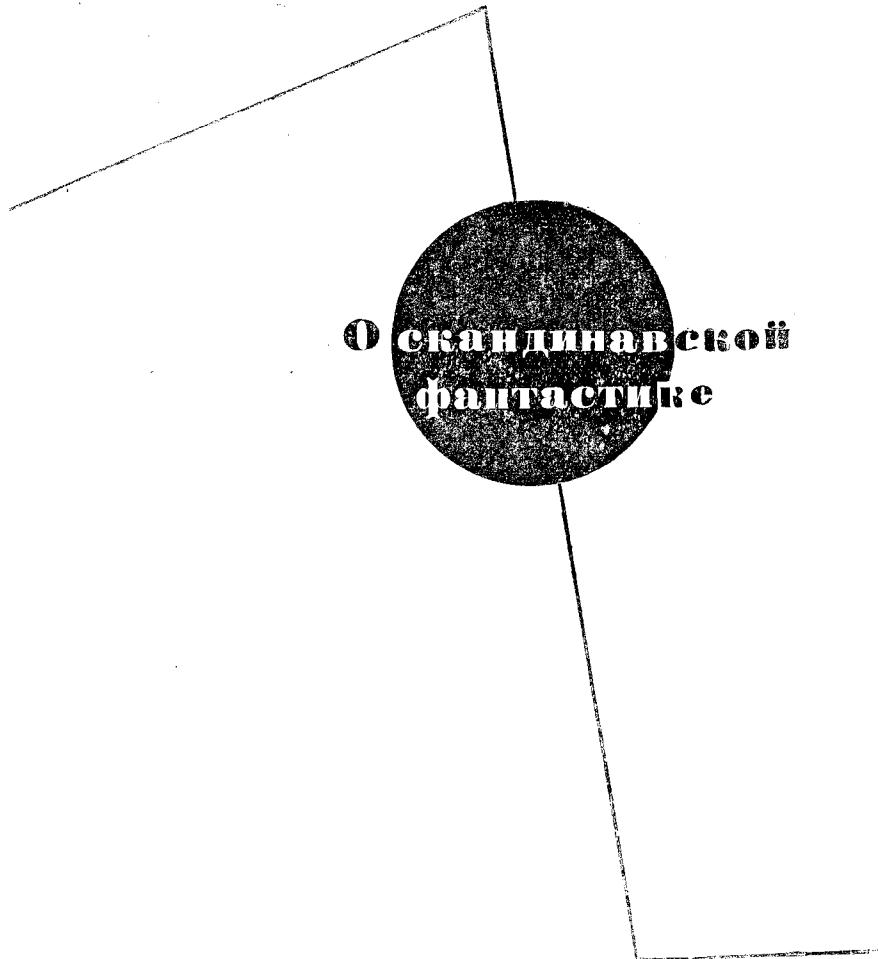
— В Доме — никого?
— Да... кроме этих... из тридцать первого...
— Знаю. Прижмитесь к стене, в углу, надо укрыться от падающих предметов. Откройте рот. Расслабьте мускулы. Следите, чтобы не прикусить язык. У меня все.

13.59...

Иенсен снова повернул выключатель.

— Дайте сигнал тревоги, — сказал он телефонисту. — Не забудьте про вертолетную службу. И поскорей.

Тут Иенсен встал и вернулся в свой кабинет. Он сел за стол и начал ждать. Он ждал тихо, а про себя думал, будет ли слышен взрыв в его кабинете.



О скандинавской фантастике

МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

Открытие Колумбом Нового Света и открытие воображаемого острова Утопии Томасом Мором почти совпали во времени. И вот уже скоро пять столетий, как оба эти великие открытия (хотя и каждое в своем роде) оказывают поистине неизгладимое влияние на историю человечества. Открытие Америки, как известно, положило начало так называемому первоначальному накоплению, без которого не было бы капитализма. Открытие же Утопии содержало в себе отрицание всякого антагонистического общества и предвосхищало грядущее торжество социальной справедливости, коммунизма. Каждый знает, что многое из того, что совершалось с тех пор в нашем мире, зависело от событий, происходивших в Америке. Но ведь и то, что случалось в воображаемой Утопии, впоследствии оказавшейся целым утопическим архипелагом, тоже не проходило бесследно для человечества.

Как ни парадоксально, но эфемерные утопические страны оказали на общественный прогресс и современную цивилизацию несравненно большее влияние, чем многие реально существовавшие в истории государства, вроде Австро-Венгрии, Королевства обеих Сицилий или Отоманской империи. И в этом нет ничего удивительного, ибо выдающиеся утописты, как подчеркивал Ленин, «смотрели в ту же сторону, куда шло и действительное развитие; они действительно опережали это развитие». Больше того, они «гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно» (Ф. Энгельс). Многие социальные идеалы,

правственные и законодательные нормы, системы образования и педагогики были впервые провозглашены и введены именно в Утопии. Из утопических государств заимствовали свои конституции первые буржуазно-демократические республики в Европе и Америке. Волонтеры-утопийцы сражались под знаменами Кромвеля и Гарибальди, революционного Конвента и Парижской коммуны; икарьицы, фаланстерцы, прометейцы помогли демократическому Северу сокрушить рабовладельческий Юг во время гражданской войны в Соединенных Штатах. Вот почему мы можем смело сказать, что наш мир не был бы похож на современный, если бы не была открыта Утопия, или удивительная страна Нигде. Так или иначе, но «Вести Ниоткуда» (как назвал свою утопию Вильям Моррис) — это вполне реальные известия, часто гораздо более важные, чем сообщения телеграфных агентств об очередных «сensationах» в разных частях света.

Некоторые из этих вестей, привезенных в разное время из Утопии скандинавскими писателями, как раз и составляют очередной том библиотеки современной фантастики. Надо сказать сразу, что среди них преобладают печальные известия. В наш бурный век идиллическая Утопия, увы, также не избежала социальных потрясений. Силы международной реакции добрались и до отдаленного утопического архипелага; они и там плетут заговоры, устраивают перевороты, разжигают войны и вражду, насаждают тираннию, нетерпимость, мракобесие. И если прежде вести Ниоткуда обычно были вдохновляющим примером для читателей, то теперь они все больше служат предупреждением отнюдь не о мнимых, а о вполне реальных опасностях и препятствиях на пути общественного прогресса.

Сообщая нам об этом, прогрессивные, демократически настроенные писатели, право же, не испытывают ни радости, ни удовольствия. И в этом состоит их принципиальное отличие от проповедников социального зла, каких сейчас немало на капиталистическом Западе. Первые предостерегают читателя, чтобы побудить его на борьбу за мир, свободу и социальную справедливость; вторые же пытаются запугать и заставить примириться с воюющими несправедливостями антагонистического общества. Когда Рей Брэдбери рассказывает о том, как в Утопии сжигают книги, то делает он это с целью помешать их сожжению в реальном мире. Когда Флетчер Нивел повествует о фан-

тастическом военном перевороте и президенте-параноике в Соединенных Штатах, то для того, чтобы предотвратить реальный переворот и помешать избранию безответственного политического деятеля. Когда Невил Шют описывает гибель цивилизации в результате термоядерной войны, то для того, чтобы не допустить ее в действительности. И когда, наконец, Карин Бойе показывает нам бесчеловечное лицо торжествующего фашизма, то это ради того, чтобы он никогда не восторжествовал в окружающем мире.

Именно озабоченность судьбами человечества и цивилизации объединяет все произведения, включенные в этот том, столь разные по стилю, содержанию и характеру. Рассказы датского писателя Нильса Нильсона, которого справедливо называют «скандинавским фантастом № 1», своей лирической теплотой и жизнеутверждающим человеколюбием чем-то напоминает уже завоевавшего симпатии советского читателя Брэдбери. «Запрещенные сказки» — этот внешне бесхитростный рассказ во многом символичен и служит своего рода прологом ко всему сборнику. Рассказ «Играйте с нами» бросает вызов литературе космических ужасов, которая меряет все разумные существа на арии капиталистической морали. В «Никудышном музыканте» высмеивается псевдопопулярная культура, насаждаемая на Западе.

Рассказы молодых норвежских писателей Юха Бинга и Тура Оге Бринсвярда проникнуты воинствующим гуманизмом, их герои восстают — один против несправедливости природы, другой против расовой дискриминации. И если «Буллимар» покоряет жизнелюбием, неотделимым от стремления приносить пользу людям, то «Бумеранг» впечатляет не столько парадоксальностью сюжета, сколько реалистическим изображением чувства социального протesta, овладевшего негритянским населением США.

Роман Пера Валё «Гибель 31-го отдела» представляет собой блестящую и по форме и по содержанию сатиру на пресловутую «свободу печати». Социальная направленность романа раскрывается в монологе одного из журналистов. Вкладывая в уста журналиста свои собственные мысли, Пер Валё развенчивает миф об обществе «всеобщего благоденствия» как несостоительную альтернативу социалистическому обществу. Мнимое мещанское благополучие, выразительно описанное в романе, на поверку

оказывается моральным и духовным вырождением общества, которым манипулирует горстка plutokratov.

«— Здесь всех настолько ослепило сознание собственного превосходства, все головы были настолько забиты верой в успех так называемой практической политики (грубо говоря, у нас считали, что нам посчастливилось примирить и чуть ли не соединить марксизм с plutokратией), что наши социалисты сами признали социализм излишним».

Начинающийся как всякий детектив роман Пера Валё перерастает в своеобразный фантастический антидетектив, в ходе которого автор не только обнажает систему прямого и косвенного подкупа в буржуазной печати, но и призывает читателя избавиться от пассивности, от страха перед жизнью и бегства от действительности, проявляющихся в алкоголизме, самоубийствах, распаде семьи.

Роман «Каллокайн» принадлежит перу Карин Бойе, одной из наиболее видных шведских писателей нашего века. Сподвижница Анри Барбюса, она отдала много сил сплочению прогрессивных писателей в борьбе против фашизма и войны. Талантливая поэтесса, прекрасный рассказчик, Бойе написала пять романов, затрагивающих острые социальные проблемы своего времени. «Каллокайн» — ее последнее произведение, написанное в самом начале второй мировой войны, когда гитлеровская Германия находилась в зените своего могущества. «С исключительной остротой писательница обнажила и выделила основные черты духовной атмосферы 1940 года. Она подвергла исследованию целое учение, и ее фантазия, подобно инъекции каллокайна, явила нам скрытые в нем тенденции» — так оценивала роман шведская газета «Нью Даглигт Аллеханда» сразу же после его выхода.

Всем своим содержанием «Каллокайн» обличает фашистский тоталитарно-корпоративный режим, предостерегает читателя об опасностях для человечества и цивилизации в случае победы «нового порядка». Роман обладает очевидными художественными достоинствами, которые проявляются в построении сюжета, в реализме описаний, в глубоком психологическом анализе мотивов поведения не только основных, но и эпизодических персонажей. Все это ставит роман К. Бойе в один ряд с такими классическими произведениями этого жанра, как «Железная пята» Д. Лондона, «Остров пингвинов» А. Франса, «Война с саламандрами» К. Чапека, «Конец вечности» А. Азимова и

«451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери. Именно с этой последней книгой у «Каллокайна» больше всего общего и по замыслу, и по содержанию, хотя у Брэдбери действие происходит в утопическом «обществе изобилия», тогда как у Бойе — в столь же утопическом «обществе скудости».

На первый взгляд может показаться, что роман описывает совершенно безысходную ситуацию, некий общественно-исторический туник, в который фашизм заводит человечество и из которого нет выхода. Даже если бы это и было так, замысел автора был бы оправдан, ибо побуждал читателя с тем большей истерпимостью бороться против фашизма. Однако в романе, бесспорно, дает себя знать присущий Бойе исторический оптимизм. Ибо каллокайн — препарат, изобретенный для увековечивания безраздельного господства фашизма, по замыслу автора, таит в себе скрытую причину его неминуемой гибели. В самом деле, одной из основ, на которых покоятся тоталитарно-корпоративный строй, изображенный в «Каллокайне», является скрытие правды. Подавляющее большинство людей настроены критически в отношении существующих порядков, но поскольку всякая гласность отсутствует, постолку каждыи опасается, что он чуть ли не единственный противник полицейского государства, и боится делиться с другими «опасными мыслями». Изобретение каллокайна в перспективе делает бессмыслицами подобные опасения. Люди оказываются вынужденными говорить то, что думают, даже под угрозой смерти. А в этом случае рано или поздно они обнаружат, что подавляющее большинство думает так же, как и они. И коль скоро имгрозит смерть, то они, в конце концов, скорее предпочтут встретить ее в борьбе против лепавистского режима, чем безропотно погибнуть, как телята на бойне. Именно эта мысль звучит со страниц книги в ходе допроса Риссепа, который под воздействием каллокайна пророчески заявляет:

«— Я здесь, чтобы сказать правду. Можете ли вы слушать правду? Люди не настолько искрни, чтобы выслушать правду, это очень грустно. А ведь правда могла бы стать тем мостом, что связывает человека с человеком, но только пока она добровольна, пока дается и принимается как дар. Разве не удивительно, что все на свете, даже правда, теряет свою ценность, как только становится принужденным? Нет, вы, конечно, не замечали этого, потому что тогда вам пришлось бы попять и то, что вы

нищие, ограбленные, что у вас отнято все, — а кто же потерпит такое? Кто захочет созерцать собственное убожество добровольно, без принуждения?»

Так в беспрসветность врывается просвет. Вот почему авторы «Истории шведской литературы» Шукк и Варбург с полным основанием писали: «Каллокайн» стал выразительным завещанием Карин Бойе. Несмотря на мрачный конец, роман в целом выражает упрямую веру в будущее человечества. В самую суровую пору жизнь найдет выход, человек отыщет отдушину, только бы не было поздно начинать сначала».

Романы «Гибель 34-го отдела» и «Каллокайн» во многих отношениях отражают весьма типичные умонастроения широких слоев демократической интеллигенции на современном Западе, зажатой, как они сами полагают, в тиски между двумя альтернативами в развитии государственно-монополистического капитала. С одной стороны, Сцилла — угроза террористической диктатуры, аналогичной фашизму, которая сохраняет всю свою реальность; с другой — Хариба, или пресловутое «общество изобилия», мнимого мещанского благополучия, засилья потребительской психологии и изощренного манипулирования сознанием и поведением масс. Обе эти опасности обычно рассматривают изолированно друг от друга, как будто одна угроза исключает другую. В действительности, однако, это ложная альтернатива: человечеству угрожает вовсе не *или* Сцилла фашизма, *или* Хариба манипулирования, а *и* Сцилла *и* Хариба. Это одна и та же угроза, и нельзя бороться с одной, не борясь одновременно с другой.

Вскоре после окончания второй мировой войны один американский журналист остроумно заметил, что если фашизм и победит когда-нибудь в Соединенных Штатах, то это произойдет под флагом защиты свободы и демократии. Это предсказание, в свое время воспринимавшееся как парадокс, получает теперь подтверждение в деятельности воинствующих антикоммунистов, всякого рода «ультра». Впрочем, могло ли быть иначе? Слишком свежи еще в памяти народов преступления, совершенные гитлеровцами, слишком дороги людям демократические права, свобода личности и национальная независимость, которые они отстояли ценой героической борьбы, невероятных жертв и страданий, чтобы реакция отважилась на риск прямого повторения гитлеровского эксперимента. Фашизм в его традиционной форме безнадежно скомпрометировал

себя в глазах мирового общественного мнения. Вот почему современные последователи Гитлера не ополчаются на «прогнившую буржуазную демократию», а рядятся в тогу «защитников демократических свобод». В подобной поспешной смене декораций, собственно говоря, и состоит ныне главный тактический прием государственно-монополистической олигархии.

Это начинают понимать и представители демократических кругов на Западе. Недаром Дж. Гаррисон, прокурор из Нью-Орлеана, тщетно пытавшийся расследовать убийство президента Кеннеди, заявил в одном из интервью: «...Мы в Америке находимся перед угрозой большой опасности — постепенно становимся фашистским государством. Это будет другой тип фашистского государства, чем создали немцы. Оно выросло из кризиса и обещало хлеб и работу, тогда как наше, к удивлению, возникнет, кажется, из процветания... Мы не будем строить Дахау и Освенцим. Хитрая манипуляция средствами массовой информации создает концентрационный лагерь для мышления, который обещает быть во много раз более эффективным для удержания населения в повиновении».

Концентрационные лагеря, гестапо, пытки, полицейские шпиги и доносы — все это для фашизма лишь средства, целью же была и остается безраздельная власть монополистической олигархии над трудящимися массами. Эта олигархия не станет цепляться за старые средства захвата и поддержания власти, коль скоро появятся более изощренные и эффективные новые средства, использующие достижения естествознания и техники, психологии и социологии. Аппараты для подслушивания стали ныне столь совершенными, миниатюрными и действующими на большом расстоянии, что в Соединенных Штатах уже никто не считает себя вне пределов их досягаемости. Так называемая «частная жизнь», по признанию американского социолога А. Ф. Уэстина, становится просто мифом. Благодаря повсеместному внедрению кредита и кредитных карточек плата наличными выходит из употребления. Но вместе с ней исчезает и анонимность покупок; всякая траты в кредит, будь то в магазине или ресторане, за проезд или гостиницу, регистрируется электронными вычислительными машинами и автоматически снимается с личного счета в банке. Это очень удобно, но и очень опасно. «Тот, кто управляет электронной вычислительной машиной, может узнать, когда данное лицо въехало на

машине на автостраду и когда ее покинуло; сколько бутылок виски или вермута оно приобрело в магазине спиртных напитков; кто оплатил счет за девицу в № 4Б; кто посетил кинотеатр между двумя и четырьмя часами полудни в рабочий день; кто обедал у «Луиджи» или в «Четырех временах года» во вторник 15 сентября, а также отель, в котором провела миссис Смит дождливый день в прошлое воскресенье», — пишет Уэстин. В самом деле, кредитная карточка позволяет контролировать каждый шаг ее обладателя гораздо проще и эффективней, чем десять шпиков. Отказаться от кредита, заплатить наличными — значит немедленно навлечь на себя подозрение.

Опасности, о которых пишут шведские писатели-фантасты, следовательно, не мифические, а их предостережения не напрасны и как нельзя более своевременны.

Прошлое, настоящее, будущее...

Кое-кому, быть может, настоящее кажется просто хрупкой, неуловимой, непрерывно перемещающейся границей между подавляющей громадой прошлого, находящегося вне нашей власти, и полностью детерминированным, предопределенным будущим. На самом деле настоящее — это буриящий котел, в котором из продуктов прошлого мы готовим свое будущее. Объективные закономерности и тенденции, определяющие ход истории, отнюдь не проходят сквозь настоящее как сквозь стекло, а фокусируются и преломляются в нем, как в гигантской линзе, от свойств которой зависит, что и как будет спроектировано на экран будущего. Научная фантастика, в том числе и социальная, в сущности, призвана не столько пассивно предвидеть уготованное людям будущее, сколько активно влиять на их деятельность в настоящем и посредством нее на ход событий в будущем.

«Тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее; тот, кто контролирует настоящее, контролирует и прошлое». Приводя этот афоризм, прогрессивный американский социолог Артур Уоскоу заключает: наши усилия сводятся к тому, чтобы показать, что тот, кто освобождает будущее, освобождает тем самым настоящее. А что значит «освободить будущее»? Только одно — помочь людям выбрать такое будущее, которое больше всего отвечает их интересам, стремлениям, надеждам. Это и делает в меру своих сил научная фантастика.

Эрнест Генри

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА



та книга — сборник фантастических повестей и рассказов. Я не литературный критик и потому не могу претендовать на право оценки ее художественных качеств. Но художественная и научная фантастика наших дней, если она серьезна и талантлива, где-то неизбежно переходит в политику, и тогда историк-публицист вправе высказать свои впечатления. Больше того, грани между фантастикой и действительностью теперь так часто стираются — не только в науке и технике, но и в политике, — что публицист волей-неволей то и дело вынужден вмешиваться как будто не в свое дело. Ему приходится писать о том, как великое и грандиозное в современной истории соприкасается с чудовищным.

Это не так просто. Времени оглянуться позд и всмотреться в безбрежную даль, осмыслить происходящее до конца, глядеть через грани столетий у публициста, как правило, нет. То, что пишешь, и по глубине, и по широте взгляда далеко отстает от того, что надо бы написать. Идти в ногу с захватывающей дух действительностью конца XX века трудно; приходится не идти, а нестись. Многое еще не видишь, измерить другое еще нельзя. Но кое-что сказать о чем-то важном в современной западной фантастике все же стоит.

В этот сборник входят два романа и несколько рассказов. Не все они одного жанра, и не все одинаково талантливы. Что-то общее почти во всех тем не менее есть; чем больше вчитываясь, тем больше общее бросается в глаза. Постепенно начинаешь понимать: из кни-

ги западных писателей сквозит страх перед научно-технической революцией.

Страх перед той самой революцией, которая, по мнению большинства философов и политиков современного буржуазного мира, должна стать для него золотым дождем, разрешить его противоречия, открыть для него эру невиданного благоденствия. Страх перед чем же? Перед тем, куда эта революция может завести старое классовое общество. Вот почему данный сборник можно считать не только художественной, но и политической литературой.

Перед нами, например, два рассказа датского писателя Нильса Нильсена, считающегося ведущим скандинавским фантастом. Один из них — о действующей в третьем тысячелетии нашей эры в городе А-14 (бывшем Брюсселе), в некоем «универсальном автоматизированном государстве», «размножительной фабрике». Фабрика принадлежит к системе «министерства нормирования людей» и механическим способом, сотнями тысяч, производит стандартных мальчиков и девочек. Дети еще в зародыше проходят мозговую стерилизацию, лишены способности самостоятельно мыслить, полностью утратили силу воображения; не умеют играть, не умеют плакать, не знают слова «неповиновение». Воспитывают их электронные няньки-роботы. Читателю становится страшно. Он видит двигающийся, говорящий, но духовно мертвый мир. Наука накормила и даже перекормила человека, но она же его и убила. Не лучше ли жить без науки, без стремления идти вперед, без мечтаний?

Другой рассказ того же автора — о концерте, который в 2144 году дает последний существующий на Земле живой музыкант. Вся музыка уже давно автоматизирована, играют одни машины и роботы, великие классики совершенно забыты. Исполняются только ходячие, предельно несложные танцевальные мелодии вроде «Умба-ум» или «Би-ба-бу». Последний живой музыкант играет скрипичный концерт Бетховена. Играет — и после короткого оцепенения в зале вызывает у публики гомерический смех, переходящий в свист и шиканье. Его не могут понять. Машины побеждают. Люди «автоматизированного государства» умеют танцевать, но разучились чувствовать.

Действие еще одного произведения — «Гибель 31-го отдела» — происходит уже не в далеком будущем, а, видимо, еще в нашем веке. Под видом фантастического

детектива описывается нынешнее высокоразвитое «индустриальное общество» Запада. Автор этого выделяющегося своей динамической сжатостью и злой сатирической остротой романа — шведский писатель Пер Валё. Он пишет о нашем времени. Но и у него тот же испуг перед автоматизацией жизни в его мире.

В глаза читателю глядит еще одно чудовище: гигантский пресс-концерн, захвативший всю печать и все издательское дело в своей стране и уже не знающий конкуренции. Свобода слова существует теперь только для него одного; газет и журналов, ему не принадлежащих, больше нет. Он и есть общественное мнение. Печать еще не так стандартизована, как музыка и воспитание детей в рассказах Нильсена, но дело идет именно к этому. Исполнительская психологическая машина душит все. Последние самостоятельно мыслящие писатели, журналисты, критически настроенные публицисты, ищущие подлинные факты, репортеры еще живы, но и их покупают — и обманывают. Загнанные на чердачный этаж занимаемого пресс-концерном небоскреба, они все еще лихорадочно пишут, критикуют, обвиняют, все еще пытаются говорить правду — но уже только для самих себя. Им платят, и платят немало, их статьи набирают, но не печатают. В конце концов концерн их убивает.

Машина ломает человека и тут. По сути дела, и Валё, и Нильсен говорят об одном и том же: о том, что когда-нибудь придет, если руль научно-технической революции останется в руках капитала и его общества. Придет конец настоящей культуры.

Особняком в сборнике стоят рассказы двух норвежцев, известных своими прогрессивными взглядами, — Юна Бинга и Тура Оге Бригсвирда: первый рассказ («Буминмар») — о судьбе изуродованного лучами солнца космонавта, второй («Бумеранг»), искрящийся воображением рассказ о придуманном негритянским ученым небывалом способе мести расистам. И в том и в другом рассказах меньше пессимизма, нет испуга перед действительностью.

Но центральное место в сборнике занимает другое произведение. Это — последний роман шведской писательницы Карин Бойе «Каллокайн», написанный тридцать лет назад. Захватывает он с первых же слов, и сегодня он не менее актуален, чем в то время, когда писался.

Карин Бойе умерла в 1941 году. В Советском Союзе ее

до сих пор знают только как поэтессу и автора небольших рассказов. Против ее книги можно выдвинуть ряд возражений, и я тоже их выдвину. Тем не менее я считаю, что это одно из наиболее сильных произведений западной литературы за последние десятилетия. Совершенно бесспорно, во всяком случае, что «Каллокайн» — крупнейшее антифашистское произведение. Шведская писательница обладала большой внутренней мощью.

Карин Бойе пишет о некой тоталитарной Мировой Империи, существующей неизвестно где и неизвестно когда. Многое в ней напоминает идеи Гитлера о «тысячелетнем райхе» и корпоративные идеалы Муссолини. Карин Бойе писала эту книгу в год, когда Гитлер ринулся на западную половину Европы — Францию, Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию — и готовился к тому, чтобы наброситься на другую половину, начав покорение мира. Весь Запад в то время дрожал перед ним, считая его непобедимым. Очевидно, это отразилось и на шведской писательнице.

Но Мировая Империя Карин Бойе затмевает тогдашний гитлеровский рейх. Это роман не о раннем фашизме; не о том фашизме, который видело наше поколение, который еще только борется за мировое господство, но не побеждает. В книге Бойе изображен фашизм, доведенный до конца; вросший в почву, расправившийся с врагами, достроивший свое царство; фашизм, который мы не увидели. Каков он?

Карин Бойе пишет спокойно, задумчиво, даже тихо; нигде не пажимает па педаль, никогда не вскрикивает. Стенаний и проклятий у нее не найти. Эта писательница в полной мере владеет тем литературным приемом, который англичане называют «силой недоувлечения»: умением удваивать впечатление, понижая голос. Ошибочно считать, что ее повесть — сатира или гротеск, как говорится в одной из шведских работ по истории литературы Швеции; она ни то, ни другое. Скорее всего ее можно назвать сновидением глубоко испуганного человека. И о сне этом рассказывает кто-то, кто сам взят из сна. Герой повести, от имени которого ведется рассказ, — вначале фашист, и даже преданный, убежденный фашист. Он искренне считает тоталитарное корпоративное государство, в котором живет, естественным и разумным. «Так надо, так хорошо», — думает он. Тем страшнее то, о чем он рассказывает.

Это чудовищное государство. Смутно говорится о том, что возникло оно после какой-то «великой войны» (не после второй ли — снится писательнице?), знаменуя конец «цивильно-индивидуалистической эпохи». Новый, военно-корпоративный порядок действует уже много лет. Он прост. Со всеми свободами покончено навсегда. Каждый житель подчинен строжайшей казарменной дисциплине, все города, как дивизии, под номерами. Есть города химиков, города текстильщиков, обувщиков, мукомолов. Каждый город закрыт для остального мира и по краям опутан колючей проволокой. Выехать из одного в другой простым жителям нельзя.

Когда население какого-то города из-за нехватки рабочей силы или нарушения предписанного соотношения полов приходится пополнить за счет населения из другого места, отобранные властями переселенцы покидают своих близких навсегда; больше они их не увидят и едва ли о них услышат. Всех вновь прибывающих в город сопровождает полиция. Право на разъезды (иод особым наблюдением) имеют только служащие транспортных лиц, но и те живут в специальных городах. Люди на все времена разделены на не соприкасающиеся друг с другом профессии.

Вся жизнь, с утра до утра, проходит под ежеминутным надзором фашистской полиции. Надзор не утаивается. На стенах в каждой квартире висят аппараты «ухо полиции» и «глаз полиции», работающие при свете и в темноте. Полиция видит все, слышит все, знает все, и это уже норма. Введены и другие правила. Каждый обязан доносить на другого: жена на мужа, сын на отца, сосед на соседа. Так и живут. Все горничные па службе полиции; каждую неделю они подают рапорт о семье, в которой живут. Им же дано право вскрывать все письма. Почтовая связь между людьми, однако, почти прекращена. Цензура пропускает только письма, содержащие короткие, деловые и проверенные сообщения.

На всех жителей заведены досье. Здания с секретными картотеками занимают огромные пространства. На организованных властями собраниях — других не бывает — в каждом из четырех углов сидит наблюдатель.

Изобретен новый способ допроса: укол препаратом каллокайн, после чего у людей сразу и совершенно безболезненно развязывается язык. Изобретатель каллокайна — он же герой романа — с удовлетворением отмечает:

«Мысли, чувства больше не будут принадлежать нам однажды, наконец-то будет покончено с этой нелепостью!.. Как могут они быть личным делом каждого?» Вслед за изобретением каллокайна издается закон о «преступных помыслах» и «антиимперском складе характера». Закон с обязательной силой применяется при следствии и в судопроизводстве. Газеты извещают население: «Мысли могут быть наказуемы».

Но на мысли времени почти не остается. Каждый час в жизни человека распределен с математической точностью. Все для него решено — на время после работы тоже. Пять вечеров в неделю он или она является на военную или полицейскую службу. Отсюда такие гигантские масштабы официальной полиции: каждый — полицейский против другого. Один вечер проводится на фашистских собраниях и торжествах. В последний вечер недели можно оставаться дома и вести семейную жизнь. Но любви между супругами — той, которую люди знали в «цивильно-индивидуалистическую эпоху», — уже нет или почти нет. Есть только сожительство, также совершающееся под непрерывным наблюдением «глаза полиции». Брак все еще нужен для деторождения, точнее — для пополнения имперских людских резервов. Любовь помимо и сверх этой цели считается ненужной и даже опасной романтикой, пережитком каменного века. «Среди нас бродят неандертальцы», — говорят фашисты о тех, кто еще думает о любви в старом смысле.

Нет больше в семейной квартире и детей — по крайней мере, детей старше семи лет. По достижении этого возраста мальчики и девочки отделяются от родителей и переводятся в Унгдомслэгер, где их делают дисциплинированными солдатами. Дети до семи лет, оставаясь с семьей, воспитываются на детских площадках, где их учат взрывать игрушечные бомбы, поджигать игрушечные дома и играть с игрушечными торпедными катерами.

Личную жизнь заменяет фашистская казарма. Все ходят в форме. Все живут по инструкциям. Каждый — точно приложенный винтик одной гигантской, неизвестно куда и неизвестно зачем движущейся машины. Можно только работать, служить и плодить потомство. Ради чего, знает только невидимая, всемогущая верховная власть фашистов. Имена главных властителей даже не называются, на виду только их помощники, чиновники и полицейские.

Тоталитарная фашистская олигархия царствует, как не

царствовал до нее еще никто. Ее главные орудия — техническая наука, фашистская пропаганда. Власть невидима, но всем видим террор. Каждый знает и постоянно думает о нем. Это поощряется. Террор уже так же привычен, как ночь. Людей судят и уничтожают как «неполноценных» не за какие-либо антигосударственные действия — таких как будто в действительности уже не бывает, — а за то, что они в чем-то не похожи на полноценного робота.

Таков порядок Мировой Империи. Но главное уже даже не это.

Завершенный фашистский деспотизм не только отнял последние остатки свобод у людей. Он же только нагло замуровал страну, лишив ее света, не только убил культуру и покончил с личной жизнью каждого. Нет, говорит видящая этот сон Карин Бойе, он сделал и другое: произвел античеловеческий переворот в психике людей. Это и становится главным.

Человек, сохранившийся в тоталитарном фашистском государстве, будет умственно и нравственно искалечен. Переодевшись, он сделается таким, каким хотят его видеть фашисты.

Вот, по словам Карин Бойе, мысли и ощущения такого исковерканного, подвергнувшегося фашистской стерилизации человека: «Империя — это все, отдельная личность — ничто... Никто не может считать, что его жизнь представляет ценность сама по себе...»

«Что за бессмысленное ребяческое желание — непременно иметь кого-то, кому можно доверить все... Священная и необходимая основа существования Империи — это взаимное и обоснованное недоверие друг к другу... Некоторые люди опасны и тогда, когда молчат, — даже их взгляды, их движения источают яд и заразу... Никто старше сорока лет не может похвальиться чистой совестью».

«Тот, кого никто не боится, не может вызвать уважения, потому что уважение строится на признании силы, власти, могущества, а сила, власть и могущество всегда опасны для окружающих... Страх, который действительно время от времени появляется буквально у каждого, вполне может быть обращен на пользу».

Таково лицо прошедшего через фашистскую машину человека. Рисуя его облик, взятый как будто из галлюцинации автора «Майн кампф», Карин Бойе по-прежнему

не повышает голоса, все еще старается казаться только тихим рассказчиком-летописцем. Но ей уже трудно сдержать себя. «Пустота и холод, мертвящий холод, полный ненависти, — записывает ее герой. — Одиночные производят еще более одиночных, запуганных — еще более запуганных... Силы смерти распространяются все шире...»

Мир мертв, но дышит.

Ради чего? Опять встает тот же вопрос. В чем цель тех, кто владеет таким миром? По-видимому, в том, чтобы вести войны и захватывать чужие страны. Роман «Каллокаин» кончается тем, что соседнее с Мировой Империей другое, тоже тоталитарное государство, внезапно нападает на родину героя, захватывает страну в течение нескольких часов (великая тоталитарная империя оказывается трухлявой) и насижает свой собственный порядок — не лучше, чем был, но под другим флагом. Становится ясно, что непрерывные военные упражнения и колоссальные вооружения, над производством которых из года в год по указу фашистов трудилось все население, были бесполезны. Виновный враг, еще более сильный, еще более безжалостный, побеждает. Один фашизм сменяет другой. Где и когда кончается дорога в Никуда? Герой повести этого не знает. Запертый в глубокую подземную тюрьму, он продолжает работать над новыми инструментами смерти и террора, теперь уже для врага.

Карин Бойе написала сильную, волнующую книгу. Она была крупным писателем, и шведская литература вправе ею гордиться. Ее фантастика близка к исторической действительности, молнии которой мы увидели на горизонте в 40-х годах. И все же в чем-то важном я, как антифашист, не могу с ней согласиться.

С большой художественной силой, с глубокой, сдержанной, то есть самой сильной страстью, она восстает против царства смерти, которое намеревался создать на земле Гитлер и о котором и сегодня мечтают его ученики в разных странах. Но сама Карин Бойе тоже заражена страхом, хотя и не перед полицией, а перед чем-то другим: страхом перед будущим. Ее гнетет неверие в людей.

На Западе этот страх уже давно стал модой. Многие писатели и философы находят свое призвание в том, чтобы его распространять и отстаивать. Читая их книги, замечаешь, что это занятие доставляет им какое-то неврастеническое удовлетворение и что кое-кто из них даже сам собой любуется. Любоваться нечем — король гол.

Культура страха всегда была характерна для угасающего общества и его эстетов. Те, кто не движется вперед, боятся смерти.

Карин Бойе не принадлежала к числу легковесных писателей, щеголяющих своим пессимизмом. Она была искренним и прогрессивным человеком. Она хотела предупредить современников о нависшей над ними угрозе. Тем не менее она испугалась своей собственной фантастики. Говорят, что с некоторыми эмоциональными людьми, захваченными своими видениями, это бывает. Но дело здесь, конечно, в чем-то более глубоком и принципиальном, чем в личных особенностях и настроениях автора. На этом нужно остановиться.

2

Нельзя сказать, что Карин Бойе, рисуя призрак чудовищного фашистского общества, не оставляет людям никаких надежд, то есть, по существу, отказывается от них, как делают сейчас многие на Западе. Это не так. Она все-таки чего-то впереди ждет и на что-то надеется.

На восстание, бунт? Нет. Это, судя по всему, она исключает. Люди в законченной тоталитарной империи на это, по ее мнению, уже не способны, их переделали. Большинство стало полуавтоматами. Они не живут, а функционируют, не думают, а боятся, не мечтают, а доносят. С ними делают что хотят, и они свыклились с этим. Но есть, говорит Карин Бойе, и другие.

Они тоже не сопротивляются деспотизму политическим оружием, тоже не помышляют о бунте. Но где-то в тайниках их душ, неясно даже для них самих, тлеют остатки естественных, неискаченных человеческих чувств: любовь к близкому, искажда счастья, стремление к творческой свободе, наконец, элементарная порядочность. Каким-то чудом в Мировой Империи к изумлению родителей все еще подчас вырастают неунитарные, своеобразные дети. Неожиданно жена вдруг отказывается доносить на мужа. Кто-то что-то скрывает. Таких людей хватают и увозят. Но подымутся ли они на тиранов? Карин Бойе считает, что нет. Все, на что они способны, говорит она, — это тихий мистицизм.

Такое видит в будущем Карин Бойе. Верит ли она в некое религиозное возрождение в тоталитарной империи? Вполне возможно. Известно, что писательница инте-

рессовалась проблемами христианской философии. Ясно, во всяком случае, что в своей книге она мучительно ищет хоть проблеска надежды для «тотализированного» человека. Изобретатель каллокаина кончает свои записки словами: «Я не могу, не могу изгнать из своей души веры в то, что вопреки всему, когда-нибудь я еще буду среди тех, кто создает новый мир». Но это только робкая надежда. На книге Карин Бойе лежит отпечаток глубокой, безысходной тоски. Она боялась...

И ее можно понять. В дни, когда она писала «Каллокаин», фашизм находился в зените своей мощи. Гитлер стоял у ворот ее собственной страны. Как уже говорилось, книга вышла в Швеции в 1940 году. Норвегия и Дания, близайшие к Швеции страны, были захвачены, в соседней с востока стране, Финляндии, господствовала объединившаяся с гитлеровской Германией реакция, все европейское небо было черно от туч. Квислинги шевелились и в самой Швеции. Многие люди — как много тогда их было! — считали, что противостоять нацизму вообще невозможно, что он придет и останется на столетия. А жить ему оставалось пять лет.

Карин Бойе не могла этого знать. Едва ли это аргумент. Как умная, страстная антифашистка, она могла бы это предвидеть или хотя бы предчувствовать, и тогда в ее книге не было бы столько тихого отчаяния.

Мы не хотим ее винить. Научно-политическое мышление было, вероятно, ей чуждо. Хотя в свое время Карин Бойе была генеральным секретарем основанного Барбюсом объединения прогрессивных писателей «Клартэ», в левом рабочем движении она не участвовала. Написав «Каллокаин», она сделала для антифашизма все, что было в ее силах, — и это было немало. Ее роман, несомненно, еще будет приносить свою пользу. Книга хороша как предостережение. Но мы должны помнить о другом. Идеология страха, идея почти полного человеческого бессилия перед лицом тоталитарной угрозы, как и перед лицом угрозы термоядерной войны, — это не наша идеология. Тех, кто ею заражен, она действительно ведет если не к капитуляции, то к гибели. Никакой религиозный или полурелигиозный мистицизм их не защитит.

В какой бы маске фашизм ни появлялся, он победим. Если бы шведская писательница прожила еще несколько лет, она сама убедилась бы в этом. Если бы она углубилась в историю мира, из истоков которой и рождается

художественная литература, она увидела бы, что передовой, стремящийся ввысь человек уже тысячу раз побеждал античеловека-мракобеса, какими бы армиями, полициями и машинами тот ни обладал. Таков закон истории, отменить который никому не удастся. В конечном счете история говорит именно за оптимизм, а не за пессимизм, хотя и требует за это немало крови и очень часто покрываются сплошь черными тучами. Человек выживает и продолжает идти вперед.

Надо учесть, что таких писателей, как Карин Бойе, на Западе немало и теперь. Это хорошие и галантливые писатели. Они искренне ненавидят фашизм, задыхаются, когда представляют себе жизнь под его властью, и всей душой стоят за демократию и гуманизм. Таковы и их книги.

Но одного этого мало. Надо не только показывать лицо врага, но и сдирать с него маску непобедимости. Аположения страха никогда не определяла вершину таланта.

Я считаю нужным подчеркнуть эту мысль, и вот почему. Эпоха, в которой мы живем, самая бурная в истории и, вероятно, еще долго будет такой. Тишины, безмятежного спокойствия ждать не приходится. Принимая разные формы, надевая разные маски, в том числе и псевдореволюционные, старый мир будет и вредно стараться устрашать людей, грозить им атомными бомбами, строить тиранические тоталитарные системы. Это не литературная фантастика, а политическая действительность эпохи конца классового общества. Иначе, без бурь и катаклизмов, переход к бесклассовому обществу, очевидно, совершиться не может. Те, кто грезил о плавном, спокойном, идиллическом переходе к нему, плохо разбирались в диалектике времени. Чем технически совершеннее цивилизация, тем более грозен динамизм классовой борьбы.

Учитывать это нужно не только политикам, социологам, философам. Не может стоять в стороне от бурь и современная литература. Писатель, который делает вид, что ничего не замечает или который действительно ничего не видит, не может быть хорошим писателем. Бегство от действительности — нечтo, кстати, совершенно чуждое писательнице Бойе — никуда его не приведет. Эпоха все равно заставит его глядеть на нее; глядеть и по-своему — мыслями, образами, строфами — пересказывать увиденное читателю. То, что он перескажет и как

перескажет, вызовет ли испуг, уныние или решимость действовать, важно для всего общества. Давно известно, что к писателям и поэтам оно особенно прислушивается, хотя и не всегда само знает об этом.

Сегодня над миром все еще нависают тучи. К старым прибавились новые. Мы знаем, что фашизм не умер. Он готовится еще раз испробовать эксперимент Гитлера, на этот раз с усовершенствованными средствами и с неизмеримо более страшным оружием. Когда-то, еще в начале нашего века, в романе «Когда спящий проснется» это предугадал великий фантаст Герберт Уэллс. Мы знаем, что лагерь крайнего империализма не отказывается от плана атомного покорения мира.

Угрозы с горизонта не сходят, буря не утихает. Но люди, стремящиеся к бесклассовому обществу, были и останутся сильнее фюреров. Никакой каллоакайн и никакая термоядерная бомба тиранам не поможет. Настоящие писатели знают это. Только те из них — будь то прозаики, фантасты или лирики, — кто не теряет веру в человека, в его искупротимость, в его будущее, по-настоящему служат его делу. Страх никогда никому не помог. Без смелости жизнь не жизнь.

Для советского читателя предлагаемый сборник представляет, на мой взгляд, немалый интерес. Тот фантастический мир, который в нем изображается, нашему человеку чужд и глубоко непонятен. Это не жизнерадостная, смелая, оптимистическая фантастика советских писателей, в которой почти всегда ощущаешь некое влекущее, конструктивное начало; фантастика, которая своими истоками исходит еще от Жюля Верна и Герберта Уэллса. Но зато трагическая фантастика западных авторов интересна другим: социальной критикой действительности на их собственной территории. Бойе, Валё, Нильсен пишут на деле не столько о будущем нашей планеты, сколько о том, во что, по их мнению, может выродиться современный капиталистический мир.

Их фантастика отражает реальное психическое состояние многих честных людей Запада. Страх перед машиной; страх перед наукой; страх перед организацией; страх перед всем, что в руках социалистического общества превращается в великое дело для людей. Классическая марксистская мысль о том, что капитализм, вступая на определенной ступени своего развития в неразрешимое, зловещее противоречие с прогрессом, становится

смертельным врагом общества, подтверждается по существу, пусть и в зеркале утрированной утопии, в каждом из этих романов и рассказов.

Это, конечно, никак не значит, что их авторов надо в какой-то мере отождествлять с их миром. Напротив. Они восстают против него, изобличают его, и не только в его предугадываемом ими завтрашнем виде, но и в его нынешнем состоянии, ибо будущее всегда и везде строится настоящим. Они продолжают бороться за человека так, как могут; мучительно ищут в нем что-то здоровое и не преодолимое, способное хоть как-нибудь, внутри него самого, противиться мертвой хватке чудовищного строя общества (девочка и музыкант в рассказах Нильсена, последние публицисты в романе Валё, сам изобретатель каллоакайна в романе Бойе). Не всегда, может быть, сами сознавая это, они атакуют капитализм не менее страстно, чем марксисты. Пусть они делают это не так или не совсем так, как революционеры, связавшие свою судьбу с идеей коммунизма; многое не видят, многое не учитывают, многое даже не понимают. Пусть в их произведениях читатель не находит четких, ясных, уверенных мыслей о том, как же по-настоящему, всерьез сопротивляться, как предотвратить пришествие этого страшного мира, который побуждает их содрогаться. Уже то, что они рисуют этот мир так талантливо, зажигая гнев у людей, позволяет нам видеть в них союзников. Кто против прессы концерна в «Гибели 31-го отдела» Валё и фашистской Империи «Каллоакайна», тот с нами. Вот почему политический публицист вправе рекомендовать этот сборник фантастических произведений советскому читателю.

Содержание

ОБ АВТОРАХ

Нильс Е. Нильсен (родился в 1924 году), Дания. Первая его книга вышла в 1950 году. Шведские критики называют его «скандинавским фантастом № 1». Им написано более двадцати романов, много рассказов. Рассказы нашей «Антологии» взяты из сборника «Вот так чепуха!» 1964 года. В Советском Союзе раньше не издавался.

Тур Оге Брингсвярд (родился в 1939 году), *Юн Бинг* (родился в 1944 году) — норвежские писатели-фантасты. В 1966 году они вместе составили и опубликовали свою первую книгу — сборник фантастиков прогрессивных писателей мира. В 1967 году в Осло был опубликован совместный сборник их первых фантастических рассказов под названием «Хоровод вокруг Солнца». Рассказы из этого сборника, опубликованные в «Антологии», — первая публикация произведений этих молодых авторов в Советском Союзе.

Пер Валё (родился в 1926 году), Швеция. Его первый роман «Небесная коза» был опубликован в Швеции в 1959 году. В настоящее время Валё является автором девяти книг. Некоторые из них написаны в соавторстве с женой — Майей Шёвал. Роман «Гибель 31-го отдела» был издан в СССР в 1968 году.

Карин Бойе (1900—1941), Швеция. Известная прогрессивная писательница. Ею написано несколько романов, рассказы, стихи. Первый поэтический сборник вышел в 1923 году. На русском языке в 1964 году опубликованы ее рассказы «Пай-девочка» и «Вне жизни» в сборнике «Шведская новелла». «Каллокайн» (1940 год) издается у нас впервые.

РАССКАЗЫ

Нильс Нильсен	7
(Перевод с датского Л. Жданова)	
Запретные сказки	18
Играйте с нами!	29
Никудышний музыкант	40
Продается планета	

Тур Оге Брингсвярд	52
(Перевод с норвежского Л. Жданова)	
Бумеранг	

Юн Бинг	61
(Перевод с норвежского Л. Жданова)	
Буллимар	

РОМАНЫ

Карин Бойе	69
(Перевод со шведского И. Дмоховской)	
Каллокайн	

Пер Валё	213
(Перевод со шведского С. Фридлянд)	
Гибель 31-го отдела	

О СКАНДИНАВСКОЙ ФАНТАСТИКЕ

Эдвард Араб-Оглы	361
Междур Сциллой и Харидой	

Эрнст Генри	369
Стерилизация человека	

Об авторах	382
----------------------	-----

АЛГОЛОГИЯ СКАНДИ-
НАВСКОЙ ФАНТАСТИКИ.
Рассказы, романы, М., «Мо-
лодая гвардия», 1971.
384 с. («Б-ка современной
фантастики», т. 20)

И

Редактор *Б. Клюева*.
Художественный редактор
Л. Степанова. Технический
редактор *И. Соленов*. Кор-
ректоры *А. Стрепихеева*,
Г. Василёва

Сдано в набор 21/VIII
1970 г. Подписано к печати
30/XII 1970 г. Формат
84×108¹/₃₂. Бумага № 1.
Печ. л. 12 (усл. 20,46).
Уч.-изд. л. 21,1. Тираж
215 000 экз. Цена 1 р. 33 к.
Заказ 1628. Типография
издательства ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия». Москва,
А-30, Сущевская, 21.

1800-1801